

**Иммануэль
ВАЛЛЕРСТАЙН**

ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА



УРСС

Annotation

Книга выдающегося американского социолога Иммануэля Валлерстайна «После либерализма» является итогом многолетней работы автора над историей капиталистической миросистемы и одновременно политическим прогнозом, основанным на анализе глобальных экономических и политических процессов 1990-х годов. Вопреки идеологам либеральной глобализации, Валлерстайн убежден, что буржуазная миросистема находится в глубочайшем кризисе, на пороге перемен, которые могут привести к возникновению совершенно нового миропорядка.

Рекомендуется политологам, социологам, историкам, философам, экономистам, а также всем интересующимся проблемами политико-экономических процессов в мире.

<http://fb2.traumlibrary.net>

- [Иммануэль Валлерстайн](#)
 - [После либерализма](#)
 - [Введение. После либерализма?](#)
 - [Часть I. 90-е годы и далее: можем ли мы перестроиться?](#)
 - [Глава 1. Холодная война и третий мир: добрые старые времена?](#)
 - [Глава 2. Мир, стабильность и законность 1990–2025/2050 годы](#)
 - [Глава 3. На что надеяться Африке? На что надеяться миру?](#)
 - [Часть II. Становление и триумф либеральной идеологии](#)
 - [Глава 4. Три идеологии или одна? Псевдобаталии современности](#)
 - [Мировоззрение и идеология](#)
 - [«Предмет» идеологии](#)
 - [Идеологии и государство](#)
 - [Сколько существует идеологий?](#)
 - [За пределами идеологий?](#)
 - [Глава 5. Либерализм и легитимация национальных государств: историческая интерпретация](#)

- [Глава 6. Концепция национального развития, 1917–1989: элегия и реквием](#)
 - [Часть III. Исторические дилеммы либерализма](#)
 - [Глава 7. Конец какой современности?](#)
 - [Глава 8. Непреодолимые противоречия либерализма: права человека и права народов в геокультуре современной миросистемы](#)
 - [Глава 9. Геокультура развития или трансформация нашей геокультуры?](#)
 - [Глава 10. Америка и мир: сегодня, вчера и завтра](#)
 -
 - [Сегодня](#)
 - [Вчера](#)
 - [Завтра](#)
 - [Концепция американской исключительности](#)
 - [Часть IV. Смерть социализма, или Капитализм в смертельной опасности](#)
 - [Глава 11. Революция как стратегия и тактика трансформации](#)
 - [Глава 12. Марксизм после крушения коммунистических режимов](#)
 - [Глава 13. Крах либерализма](#)
 - [Глава 14. Агония либерализма: что обещает прогресс?](#)
- [\[139\]](#)
- [Выходные данные](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)

- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)

- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)

- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)

- [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
 - [144](#)
 - [145](#)
 - [146](#)
 - [147](#)
 - [148](#)
-

Иммануэль Валлерстайн
После либерализма

После либерализма

Введение. После либерализма?

Разрушение Берлинской стены и последующий развал СССР были с радостью встречены как падение коммунистических режимов и крах марксизма-ленинизма — одной из идеологических сил современного мира. Очевидно, так оно и есть. Эти события также отмечались как окончательная победа идеологии либерализма. Такое утверждение означает совершенно неверное восприятие действительности. Совсем наоборот, именно эти события *еще в большей степени* свидетельствовали о крахе либерализма и решительном вступлении мира в эпоху «после либерализма».

Эта книга посвящена подробному изложению данного тезиса. В нее вошли очерки, опубликованные в период с 1990 по 1993 гг. Они были написаны в период величайшего идеологического смятения, когда поначалу охвативший многих наивный оптимизм начал сменяться все более широко распространявшимися и нарастающими страхом и тревогой, вызванными наступающим всемирным хаосом.

О том, что произошло в 1989 г., много писали как о завершении периода 1945–1989 гг., считая его датой поражения СССР в холодной войне. В этой книге утверждается, что эту дату полезнее было бы рассматривать как конец периода 1789–1989 гг., иначе говоря, времени победы и поражения, взлета и постепенного упадка либерализма как глобальной идеологии — я называю ее геокulturой — современной миросистемы. Таким образом, 1989 г. знаменует собой окончание политико-культурной эпохи — эпохи впечатляющих технических достижений, — на протяжении которой большинство людей верили в то, что лозунги Французской революции отражают непреложную историческую истину и если не сейчас, то в самом ближайшем будущем они обязательно должны воплотиться в жизнь.

Либерализм никогда не был учением левых сил; по сути своей, он всегда оставался доктриной центристов. Его сторонники были уверены в собственной сдержанности, мудрости и гуманности. Они выступали одновременно и против архаического прошлого с несправедливостью его привилегий (которое, по их мнению, олицетворяла собой идеология консерватизма), и против безрассудного уравниательства, не имевшего оправдания ни в добродетели, ни в заслугах (которое, как они считали, было представлено социалистической/радикальной идеологией). Либералы

всегда стремились дать определение той части политического спектра, к которой они не принадлежали, как состоящей из двух крайностей, в то время как сами они занимали в нем золотую середину. В 1815–1848 гг. они заявляли, что в равной мере выступают как против реакционеров, так и против республиканцев (или демократов); в 1919–1939 гг. — против фашистов и коммунистов; в 1945–1960 гг. — против империалистов и радикальных националистов; в 80-е гг. — против расистов и шовинистов.

Либералы всегда заявляли, что либеральное государство — реформистское, строго придерживающееся законности и в известной степени допускающее свободу личности — является единственным типом государства, которое может быть гарантом свободы. И для относительно небольшой группы людей, на страже свободы которых стоит такое государство, это, возможно, так и было. Но, к сожалению, группа эта всегда оставалась меньшинством, неизменно стремящимся стать подавляющим большинством. Либералы всегда заявляли, что только либеральное государство может гарантировать порядок без репрессий. Критики справа отвечали на это, что либеральное государство в своем нежелании прослать репрессивным допускало — а по сути поощряло — беспорядок. Критики слева, напротив, всегда утверждали, что на самом деле главной заботой стоящих у власти либералов является порядок, и что они прибегают к самым настоящим репрессиям, лишь слегка их вуалируя.

Дело не в том, чтобы вновь говорить о достоинствах или ошибках либерализма как исходной основы справедливого общества. Скорее, наша задача рассмотреть историческую социологию либерализма. Нам надлежит всесторонне проанализировать его историческое становление после Французской революции; его ослепительный взлет к победе в качестве господствующей идеологии сначала лишь в нескольких государствах (хотя и наиболее могущественных), а потом и в миросистеме в целом; и его столь же внезапный упадок в последние годы.

Происхождение либерализма в эпоху политических потрясений, начатых Французской революцией, широко обсуждались в специальной литературе. Утверждение о том, что либерализм стал основным символом веры, исповедуемой геокulturой миросистемы, несколько менее очевидно. В то время как большинство специалистов согласится с тем, что либерализм победил в Европе к 1914 г., некоторые станут утверждать, что в то время начался его упадок, я же считаю, что апогей его расцвета приходился на период после 1945 г. (вплоть до 1968 г.) — эпоху гегемонии США в миросистеме. Более того, моя точка зрения о том, как либерализм победил — его теснейшие связи с расизмом и европоцентризмом, — будет

многими оспариваться.

Тем не менее, я полагаю, что основное желание поспорить вызовет тезис о том, что крах коммунистических режимов представляет собой не окончательный успех либерализма как идеологии, а решительный подрыв способности либеральной идеологии продолжать играть свою историческую роль. Чтобы убедиться в этом, достаточно сказать, что одна из версий данного тезиса оспаривается пещерными правыми во всем мире. Однако, многие из них либо циники, манипулирующие лозунгами, либо безнадежные романтики, тоскующие по утопии мира, вращающегося вокруг домашнего очага, который на деле никогда не существовал. Многие другие просто напуганы надвигающейся ломкой мирового порядка, которая, как они отчетливо понимают, сейчас и происходит.

Отрицание либерального реформизма сейчас имеет место в Соединенных Штатах под лозунгом Контракта с Америкой^[1], одновременно оно силой насаждается во всех странах мира через посредство помощи Международного валютного фонда. Не исключено, что эта открыто реакционная политика вызовет ответную политическую реакцию в самих Соединенных Штатах, как это уже происходит в Восточной Европе, поскольку такая политика скорее ухудшает, нежели улучшает, непосредственное экономическое положение большинства населения. Но эта ответная реакция не приведет к возврату веры в либеральный реформизм. Она будет означать лишь то, что навязываемая сейчас воспрянувшими духом реакционерами доктрина, сочетающая притворное пресмыкательство перед рынком с законодательством, направленным против бедных и чужаков, не может предложить реальной альтернативы невыполненным обещаниям реформизма. В любом случае, мои доводы — иные. Мои тезисы созвучны позиции, которую в одном из очерков я назвал «современностью освобождения». Мне кажется, нам пора трезво взглянуть на историю либерализма, чтобы увидеть, что можно спасти после его краха, и понять, как можно бороться в трудных условиях неопределенности того наследия, которое либерализм завещал миру.

Я далек от мысли рисовать реальность лишь в мрачных тонах. Но мне бы совсем не хотелось восхвалять ее и писать о ней заезженные банальности. Я верю в то, что период, который наступит после либерализма, станет временем острой политической борьбы, более важной, чем любые другие баталии последних пяти столетий. Я вижу силы, цепляющиеся за привилегии, которые прекрасно знают, что «все должно меняться ради того, чтобы ничего не изменилось». Они умело и изобретательно работают над тем, чтобы воплощать этот принцип в жизнь.

Я вижу силы освобождения, которые выдохлись в прямом смысле этого слова. Им застилает взгляд историческая тщетность политического проекта, которому они отдали 150 лет борьбы — проекта общественных преобразований через достижение государственной власти в одном государстве за другим. Они уже вовсе не уверены в том, что существует альтернативный проект. Но прежний проект — стратегия мировых левых сил, потерпел крах, прежде всего потому, что был насквозь пропитан либеральной идеологией, настоян на ней, даже его наиболее ярко выраженные антилиберальные, «революционные» варианты, такие как ленинизм. Пока не будет внесена ясность в вопрос о том, что же все-таки произошло между 1789 и 1989 гг., XXI в. не сможет выдвинуть никакого убедительного проекта освобождения.

Но даже в том случае, если мы себе уясним, что же произошло между 1789 и 1989 гг., и даже если мы согласимся с тем, что грядущий период протяженностью в двадцать пять — пятьдесят лет будет временем системного беспорядка, распада и острой политической борьбы за то, какую именно новую миросистему (системы) следует создавать, подавляющее большинство людей будет озабочено только одним вопросом: «А что же делать сейчас?» Люди растеряны, раздражены, запуганы *сейчас*, иногда они даже в отчаянии, но вовсе не пассивны. Ощущение необходимости политических действий все еще сильно повсюду в мире, несмотря на столь же сильное ощущение тщетности политических действий «традиционного» типа.

Теперь выбор уже не определяется вопросом «реформа или революция». Более столетия мы вели споры об этой иллюзорной альтернативе только для того, чтобы выяснить, что в большинстве случаев реформисты были лишь реформистами поневоле, революционеры были лишь чуть более воинственными реформистами, а те реформы, которые *были* проведены, в итоге привели к гораздо более скромным результатам, чем те, на которые рассчитывали их инициаторы и которых опасались их противники. На самом деле это явилось необходимым результатом тех структурных ограничений, которые налагал на нас господствующий либеральный консенсус.

Какую же политическую позицию нам следует занять, если для того будущего, которое грядет, распад — более уместный термин, чем революция? Я вижу лишь две возможности, причем обе они должны быть использованы одновременно. С одной стороны, общей для почти всех нас непосредственной заботой является то, как совладать с растущим напором повседневных жизненных проблем — материальных, социальных и

культурных, моральных или духовных. С другой стороны, меньшее число людей, хотя их и достаточно много, озабочено вопросами того будущего, которое не за горами — стратегией преобразования. В прошлом столетии ни реформистам, ни революционерам не удалось достичь поставленных целей, потому что ни те, ни другие не понимали, насколько важно одновременно работать над решением как краткосрочных, так и долгосрочных проблем, хотя эта работа носит совсем разный (порой даже взаимоисключающий) характер.

Современное государство было *par excellence* реформистским инструментом, помогающим людям справляться со своими проблемами. Конечно, это была не единственная функция государства, даже, возможно, не главная его функция. И не только действия государства составляли механизм помощи людям. Тем не менее, факт остается фактом — действия государства были неотъемлемым элементом этого процесса, причем стремление простых людей решить свои проблемы вполне обоснованно и закономерно вынуждало государство действовать соответственно. Несмотря на беспорядок, смятение и продолжающийся распад, такое положение остается характерным и для наших дней. Государства могут усиливать или облегчать положение людей через распределение ресурсов, защиту прав граждан и вмешательство в социальные отношения между различными группами населения. Было бы просто глупостью считать, что кого-то больше не волнует вопрос о том, что происходит в государстве, где он живет, и я не верю, что найдется много людей, которые хотели бы вообще перестать обращать внимание на действия своего государства.

Государства для всех своих граждан могут сделать жизнь немного лучше (или немного хуже). У них есть выбор между увеличением помощи простым людям и созданием условий для еще большего процветания верхней страты населения. Тем не менее, это все, что могут сделать государства. В краткосрочном плане такое положение, несомненно, играет большую роль, но в долгосрочной перспективе оно абсолютно никакого значения не имеет. Если мы хотим достаточно решительно повлиять на ход переживаемых нами серьезных сдвигов во всей миросистеме с тем, чтобы они происходили более в одном направлении, нежели другом, здесь государство *не* является главной движущей силой прогресса. На деле, оно скорее представляет собой главное препятствие на этом пути.

Осознание того факта, что государственные структуры стали (или всегда были?) главным препятствием на пути трансформации миросистемы даже тогда (или особенно тогда), когда их контролировали реформисты (называющие себя «революционерами»), составляет исходную базу

широкого недовольства государством в странах третьего мира, бывших социалистических странах и даже в «государствах всеобщего благосостояния» ОЭСР^[2]. При нынешнем развале преходящей словесной разменной монетой стали лозунги «рынка», навязываемые новой агрессивной когортой (западных) консервативных экспертов и политических лидеров. Поскольку, тем не менее, государственная политика, связанная с «рынком» как лозунгом, скорее затрудняет, чем облегчает людям решение стоящих перед ними проблем, во многих странах уже начало шириться недовольство правительствами, ориентирующимися на рыночные приоритеты. Тем не менее, это недовольство выражается не в обновленной вере в способность государства изменить мир. В той мере, в которой это происходит, подобного рода недовольство отражает здравую мысль о том, что государство нам пока еще нужно, чтобы помогать гражданам решать свои насущные проблемы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что одни и те же люди сегодня обращаются к поддержке государства (за помощью в решении проблем) и одновременно отвергают государство и политику в целом как понятия не только бесполезные, но даже гнусные (с точки зрения перестройки мира в том направлении, в котором, как они надеются, он будет развиваться).

Что же будут, что могут делать такие люди, стремясь как-то повлиять на направление этого перехода? Здесь возникает другой обманчивый лозунг призыв к упрочению, расширению и реконструкции «гражданского общества». Этот призыв столь же тщетный. «Гражданское общество» может существовать лишь постольку, поскольку существуют государства, достаточно сильные, чтобы поддерживать то, что называют «гражданским обществом» — ведь по существу оно означает ни что иное, как организацию граждан в рамках государства с целью осуществления узаконенной им деятельности и вовлечения в не прямые (то есть, непартийные) политические отношения с государством. Развитие гражданского общества было основным инструментом создания либеральных государств, стало новым хребтом внутреннего и миросистемного порядка. Кроме того, гражданское общество использовалось в качестве объединительного символа для создания структур либерального государства там, где они раньше не существовали. Но, прежде всего гражданское общество исторически служило средством как сдерживания потенциально разрушительного насилия со стороны государства, так и усмирения опасных классов.

Создание гражданского общества активно проводилось в государствах Западной Европы и Северной Америки в XIX в. Постольку, поскольку

государственное строительство оставалось в повестке дня миросистемы на протяжении первых двух третей XX столетия, можно было вести речь о создании гражданских обществ в большем числе государств. Но по мере упадка государств, гражданское общество неизбежно будет тяготеть к дезинтеграции. И действительно, именно эту дезинтеграцию оплакивают либералы, и ее же втайне приветствуют консерваторы.

Мы живем в эпоху «группизма» — образования групп, имеющих защитный характер, каждая из них стремится к достижению самосознания, на базе которого упрочивается солидарность и борьба за выживание одновременно с борьбой против других таких же групп. Политическая проблема такого рода объединений состоит в том, чтобы не превратиться в еще одну организацию, помогающую людям справляться с проблемами (что в политическом плане весьма двусмысленно, поскольку они поддерживают существующий порядок, заполняя ту лакуну, которая возникла в связи с крахом государств), а стать на деле организацией, вовлеченной в проведение преобразований. Но чтобы этого достичь, они должны четко определиться со своими эгалитарными целями. Борьба за групповые права, как один из аспектов борьбы за равноправие, очень отличается от борьбы за права группы «догнать других» и пробиться в лидеры (что для большинства групп в любом случае составляет недостижимую задачу).

В период нынешнего всемирного переходного периода наибольший эффект принесет работа как на местном, так и на всемирном уровне, поскольку деятельность в рамках национального государства носит весьма ограниченный характер. Имеет смысл стремиться к достижению либо краткосрочных, либо долгосрочных целей, поскольку достижение среднесрочных целей неэффективно, так как предполагает наличие непрерывно движущейся вперед и хорошо функционирующей исторической системы. Такую стратегию применить непросто, поскольку соответствующую ей тактику неизбежно надо будет приспосабливать к быстро меняющимся и часто непредсказуемым обстоятельствам в высшей степени неопределенного будущего. Если, тем не менее, мы будем исходить из того, что сейчас мы живем в мире, где либеральные ценности уже не являются более господствующими, и где существующая историческая система более не в состоянии обеспечивать тот минимальный уровень личной и материальной безопасности, который необходим для ее приемлемости (не говоря уже о легитимности), тогда мы по всей вероятности сможем двигаться вперед с достаточной долей надежды и доверия, но, конечно, без всяких гарантий.

Время заносчиво-самоуверенной либеральной идеологии ушло в прошлое. Вновь поднимают голову консерваторы, оживившиеся после периода полуторавекового самоуничтожения, прикрывавшегося в качестве идеологических суррогатов благочестием и мистицизмом. Но полностью очиститься им от этого не удастся. Будучи у власти консерваторы надменны, а если им что-то грозит или хотя бы слегка их пугает, они впадают в ярость и становятся мстительными. Тем, кого раньше выталкивали на обочину современной миросистемы, пришло время наступать на всех фронтах. Сегодня перед ними уже не стоит легкая цель достижения государственной власти. Им предстоит сделать нечто гораздо более сложное: обеспечить создание новой исторической системы, одновременно действуя и на местах, и в глобальном масштабе. Это трудно, но достижимо.

Часть I. 90-е годы и далее: можем ли мы перестроиться?

Глава 1. Холодная война и третий мир: добрые старые времена?

Начнем ли мы очень скоро тосковать по недавнему прошлому? Боюсь, что придется. Мы вышли из эпохи господства Соединенных Штатов в миросистеме (1945–1990 гг.) и вступили в постгегемонистскую эру. Как бы ни было сложно положение стран третьего мира в ту эпоху, мне кажется, что в будущем их ждут гораздо более тяжелые времена. Время, недавно отошедшее в прошлое, было временем надежд, и хотя эти надежды, по правде говоря, часто бывали обманутыми, тогда они еще были. А обозримое будущее чревато тревогами и сражениями, которые разразятся не от веры, а скорее от отчаяния. Используя старые образы западной цивилизации, которые в данном случае, видимо, не вполне уместны, можно сказать, что грядет время чистилища, исход из которого пока неясен.

Мне хотелось бы изложить свою точку зрения, выделив в ней две части: краткий очерк той эпохи, из которой мы выходим, и соображения о том, как мне видится время, идущее ей на смену, и те исторические возможности, которые нас в нем ожидают.

I

Мне представляется, что основные черты периода 1945–1990 гг. можно суммировать в следующих четырех тезисах.

1. Соединенные Штаты были господствующей державой в однополярной миросистеме. Их могущество, основанное в 1945 г. на необычайно мощном производственном потенциале и на союзе с Западной Европой и Японией, достигло апогея приблизительно в 1967–1973 гг.

2. Соединенные Штаты и СССР были вовлечены в четко определенный, тщательно сдерживаемый формальный (но не сущностный) конфликт, условия которого неукоснительно соблюдались, причем СССР выступал в нем в качестве субимпериалистического агента Соединенных Штатов.

3. Третий мир привлекал к себе неблагоприятное внимание Соединенных Штатов, СССР и Западной Европы, требуя расширения своих прав в более сжатые сроки, чем предполагали или на то рассчитывали страны Севера. Как их политическая сила, так и крайняя слабость, заключались в оптимистической вере в то, что они одновременно смогут решить двойную задачу: достичь самоопределения и продвинуться по пути национального развития.

4. 1970–1980 гг. были периодом глобального экономического застоя, сопротивления Соединенных Штатов надвигающемуся упадку и разочарования в странах третьего мира избранной стратегией.

Теперь мне бы хотелось остановиться на каждом из этих тезисов более подробно.

1. Огромное экономическое преимущество Соединенных Штатов в 1945 г. — в производстве и производительности — явилось следствием совокупности трех факторов: постоянной концентрации национальной энергии Соединенных Штатов с 1863 г. на расширении производства и введении технических новшеств; отсутствии серьезных расходов на военные нужды, по крайней мере, до 1941 г., действенной мобилизации сил на нужды войны с 1941 по 1945 гг., и того обстоятельства, что экономическая инфраструктура страны не была разрушена в военные годы; колоссальных разрушении инфраструктуры и потерь огромного числа человеческих жизней во всей Евразии в период с 1939 по 1945 гг.

Соединенные Штаты сумели очень быстро придать этому преимуществу институциональную форму, иными словами, создать такую систему собственного господства, которая позволила им контролировать или играть определяющую роль в процессе принятия практически всех значительных решений в области политического и экономического развития всего мира на протяжении примерно четверти века. Их господство распространялось также на сферы идеологии и культуры.

Двумя ключевыми факторами, лежавшими в основе этого господства, были система союзов с ведущими уже прошедшими путь индустриализации державами мира, с одной стороны, и национальная интеграция государства благосостояния в области внутренней политики, с другой. И тот, и другой факторы носили прежде всего экономический и идеологический характер, роль политики в них сводилась к чисто номинальной.

Экономическая привлекательность такого курса для стран Западной Европы и Японии состояла в экономическом восстановлении, сопровождавшемся в Соединенных Штатах существенным увеличением

реальных доходов среднего класса и квалифицированной части рабочих. Такое положение обеспечивало как их удовлетворенность политическим курсом, так и существенное расширение рынка для производственных предприятий Соединенных Штатов.

Идеологической основой этого курса являлось обязательство впервые полностью воплотить в жизнь политические обещания либерализма двухсотлетней давности: обеспечения всеобщего избирательного права и создания функциональной системы представительной демократии. Это было достигнуто в ходе борьбы с коммунистическим «тоталитаризмом», и потому *de facto* означало лишение коммунистов политических прав.

Формально странам Западной Европы и Японии, с одной стороны, и рабочему классу этих стран как самостоятельной силе — с другой, был обещан допуск к процессу принятия коллективных политических решений. На самом деле на протяжении приблизительно четверти века все основные политические решения в рамках миросистемы принимались лишь небольшой группой элиты Соединенных Штатов. Это называлось лидерством Соединенных Штатов. Западная Европа и Япония играли в этом процессе второстепенную роль, как, впрочем, в большинстве случаев и движения рабочего класса.

2. Точно так же, отношения между Соединенными Штатами и СССР внешне выглядели совсем не тем, чем являлись по сути. Внешне Соединенные Штаты и СССР оставались идеологическими противниками, ведущими между собой холодную войну, причем на самом деле не с 1945, а с 1917 г. Они отстаивали разные концепции социального блага, исходящие из различных представлений об исторической реальности. Социально-политические структуры двух стран были совершенно различны, а в некоторых отношениях — диаметрально противоположны. Более того, оба эти государства во весь голос заявляли о глубине этих существующих между ними противоречий и призывали все другие народы и страны четко определять свои позиции и присоединяться либо к той, либо к другой стороне. Достаточно вспомнить знаменитое изречение Джона Фостера Даллеса: «Нейтралитет аморален». Аналогичные заявления делались и советскими руководителями.

Тем не менее, в действительности дело обстояло иначе. Европа была разделена примерно по той линии, на которой советские и американские войска встретились в конце Второй мировой войны. К востоку от нее располагалась зона советского политического господства. Соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и СССР широко известно и совсем несложно. СССР мог делать все, что ему заблагорассудится в

восточноевропейской зоне (то есть, насаждать там зависимые от себя режимы). Но при этом существовали два рабочих условия. Во-первых, обе зоны должны были неукоснительно соблюдать мир между государствами в Европе и воздерживаться от каких бы то ни было попыток изменять или свергать правительства в другой зоне. Во-вторых, СССР не должен был ни получить помощь от Соединенных Штатов на свое экономическое восстановление, ни рассчитывать на такую помощь в будущем. СССР мог брать, что сочтет нужным в Восточной Европе, а правительство США сосредотачивало свои финансовые ресурсы (весьма значительные, но, тем не менее, ограниченные) на поддержке Западной Европы и Японии.

Это соглашение, как мы знаем, работало прекрасно. Мир в Европе был нерушимым. В Западной Европе никогда не возникала угроза коммунистического восстания (за исключением Греции, где СССР посеял смуту среди коммунистов, а потом бросил их на произвол судьбы). Со своей стороны, Соединенные Штаты никогда не поддерживали многочисленные попытки восточноевропейских государств ослабить советский контроль или положить ему конец (1953, 1956, 1968, 1980-81^[3]). План Маршалла был рассчитан только на Западную Европу, а СССР создал нечто подобное в виде СЭВа.

СССР можно рассматривать в качестве субимпериалистической державы по отношению к Соединенным Штатам постольку, поскольку он поддерживал порядок и стабильность в своей зоне влияния, что на самом деле увеличивало способность Соединенных Штатов к поддержанию собственного мирового господства. Сама напряженность той идеологической борьбы, которая, в конечном итоге, не имела большого значения, играла на руку Соединенным Штатам и была для них серьезным политическим подспорьем (как, несомненно, и для руководства СССР). Кроме того, как мы увидим далее, СССР служил Соединенным Штатам своего рода идеологическим прикрытием в странах третьего мира.

3. Третий мир никогда не спрашивали — ни в 1945 г., ни позднее, — нравится ли ему и согласен ли он с тем миропорядком, который был установлен Соединенными Штатами, выступавшими в тайном сговоре с СССР. Им, естественно, в этом миропорядке была отведена не самая желанная роль. В 1945 г. странам третьего мира было предложено совсем немного в сфере политики, и еще меньше — в сфере экономики. Со временем они смогли получить чуть больше, но уступки им всегда предоставлялись крайне неохотно, и лишь за счет их боевитости и непокорности.

В 1945 г. никто всерьез не воспринимал третий мир как политическую

силу на мировой арене — ни Соединенные Штаты, ни СССР, ни старые колониальные державы Западной Европы. К любым жалобам относились с удивлением, а тем, от кого они исходили, советовали хранить терпение, приводя доводы теории «получения благ сверху» в ее всемирном варианте.

Чтобы в этом вопросе не оставалось сомнений, следует отметить, что Соединенные Штаты имели собственную программу для стран третьего мира. Она была провозглашена Вудро Вильсоном в 1917 г. под названием самоопределения наций. Со временем каждый народ должен был получить коллективные политические права на суверенитет, точно так же, как каждый гражданин получал индивидуальное политическое право участия в выборах. Эти политические права позднее предоставили бы странам третьего мира возможность для самосовершенствования, чего-то, что после 1945 г. стали называть национальным развитием.

Ленинизм в идеологическом плане принято считать прямой противоположностью вильсонизму. Однако на самом деле он во многом явился воплощением в жизнь концепции Вильсона, программа которого для стран третьего мира была попросту переведена Лениным на марксистский жаргон — ее стали называть антиимпериализмом и построением социализма. Такое положение наглядно отражало реальные различия в подходе к вопросу о том, кто будет контролировать политические процессы на периферии миросистемы, но в действительности программы были идентичны по форме: сначала должны были произойти политические изменения с целью достижения суверенитета (в колониях впервые, и *действительно* впервые в тех странах третьего мира, которые уже были независимыми); затем должны были следовать экономические изменения, подразумевающие создание эффективной государственной бюрократии, улучшение процесса производства («индустриализация») и создание социальной инфраструктуры (в частности, в области образования и здравоохранения). Результат, который обещали как сторонники Вильсона, так и приверженцы Ленина, состоял в том, чтобы «догнать» более развитые государства, сократив разрыв между богатыми и бедными странами.

Страны третьего мира пошли по тому пути, который предложили ему вильсонизанцы ленинисты. Но, очевидно, ему не терпелось пройти этот путь как можно быстрее. Поскольку схема состояла из двух частей, естественно, страны третьего мира начали с первой из них. Эта часть пути должна была быть пройдена в антиколониальной борьбе в колониях и аналогичных политических революциях в тех государствах, которые некогда были метко названы полуколониями. После 1945 г. ритм развития

третьего мира повсеместно ускорился. Китайские коммунисты маршировали в Шанхае. Народы Индокитая и Индонезии отказались смириться с возвращением их колониальных господ. Индийский субконтинент требовал немедленного предоставления независимости. Египтяне свергли монархию и национализировали Суэцкий канал. Алжирцы отказывались мириться с мыслью о том, что их страна составляла часть Франции. Начиная с 50-х гг. по всему африканскому континенту прокатывались волны освободительных движений. Политические революции потрясали страны Латинской Америки, особое влияние на которые оказала победа «Движения 26 июля»^[4] на Кубе. И, конечно, Бандунгская конференция в 1955 г.^[5]

Главное, что мне хотелось бы подчеркнуть во всех этих политических событиях, состояло в том, что все они с самого начала были по природе своей проявлениями местных стремлений, направленных против Севера. Колониальные державы резко выступали против этого ускорения политических процессов, делая все от них зависящее, чтобы остановить их или замедлить. Они, конечно, применяли для этого разную тактику, причем англичане в этом плане были значительно более гибкими, чем остальные, а португальцы оставались наиболее консервативными. Несмотря на теоретический антиколониализм вильсонизма, Соединенные Штаты стремились по мере возможности поддерживать европейскую тенденцию к замедлению процесса, но в итоге лишь ограничивались призывами к «умеренным» руководителям продвигаться по пути деколонизации не так быстро. Отношение к происходившим событиям со стороны СССР мало от этого отличалось. Ленинизм, очевидно, представлял собой более энергичную и воинственную форму антиколониальной борьбы, чем вильсонизм. И, конечно, СССР оказывал материальную и политическую поддержку многим антиимпериалистическим движениям. Но в очень многих критических обстоятельствах он тоже пытался ограничить или снизить темп происходивших изменений. Особенно в этом плане показательна его роль в Греции и совет, данный Мао Цзэду. Но тем, кто внимательно следил за развитием событий во всем мире, хорошо известно, что с предоставлением советской помощи никогда особенно не торопились, и нередко получить ее было крайне сложно; часто Советский Союз вообще отказывался ее предоставлять.

Тем не менее, нам, конечно, хорошо известно, что основные политические битвы были выиграны странами третьего мира. К концу 60-х гг. процесс деколонизации (или аналогичные процессы в тех государствах,

которые уже стали независимыми) был практически повсеместно завершен. Наступила очередь второго этапа — национального развития. Но именно тогда, когда пришло это время, миросистема вступила в период фазы «Б» экономического цикла по Кондратьеву^[6]. В большинстве государств задачи второго этапа так и не были решены.

4. К 70-м гг. Соединенные Штаты достигли апогея и пределов своего могущества. Сократившийся золотой запас страны вынудил их отказаться от золотого паритета доллара. Экономическое развитие Западной Европы и Японии проходило столь стремительно, что к этому времени они уже догнали Соединенные Штаты, и даже начали опережать их в области производительности, причем именно тогда, когда мир вступил в фазу «Б» кондратьевского цикла. Точнее говоря, именно всемирное развитие производства и явилось главной причиной такого поворота событий. Вьетнам показал не только то, что Соединенные Штаты должны были следовать в соответствии с провозглашенным Вильсоном курсом, даже несмотря на протесты многочисленных групп собственных граждан; он свидетельствовал еще и о том, что если они будут действовать по-другому, позиции правительства США внутри страны смогут существенно пошатнуться. А всемирная революция 1968 г. подорвала фундамент всего идеологического консенсуса, возведенного Соединенными Штатами, включая его козырного туза — прикрытие советским щитом.

На протяжении последующих двадцати лет Соединенные Штаты только тем и занимались, что латали прорехи. Каждая заплатка замедляла расползание по швам, но сама основа в конце концов изнашивалась все больше и больше. Никсон полетел в Китай и блестяще наложил очередную заплату, заставив китайцев вернуться в лоно установленного мирового порядка. Он уменьшил потери США, признав поражение во Вьетнаме. Другая очень удачно наложенная заплатка состояла в том, что Соединенные Штаты помогли организовать (а, может быть, даже организовали) резкий подъем цен на нефть странами ОПЕК. Выставив свою инициативу напоказ как символ воинствующего духа стран третьего мира, ОПЕК в результате добилась того, что значительная часть мирового прибавочного продукта (включая, естественно, и тот, который был произведен в странах третьего мира) перекечевала в западные (главным образом, американские) банки через страны-производители нефти (которые, несомненно, не преминули урвать свою долю). Деньги эти вернулись в страны третьего мира (и государства советского блока) в форме государственных займов, которые дали им возможность незамедлительно сбалансировать бюджеты и продолжать импортировать западные товары. Время платить по этим

счетах настанет в 80-е г.

А на протяжении 70-х Соединенные Штаты стремились в основном к тому, чтобы все было спокойно. Они предложили Западной Европе и Японии создать систему трехсторонних отношений, как бы давая им аванс на более активное участие в процессе принятия решений в области мировой политики. Советскому Союзу они предложили курс на разрядку — то есть, снижение уровня идеологической полемики, что для брежневской бюрократии было как бальзам на сердце на гребне шоковой волны 1968 г. Простым американцам они также предложили снижение напряженности времен холодной войны, своего рода повышение потребительского спроса на культуру, включавшем расширение либеральных ценностей и позитивных действий. А третьему миру они предложили поствьетнамский синдром, нашедший свое выражение в таких акциях, как доклад комитета Черча о ЦРУ, поправка Кларка по Анголе^[7] и прекращение поддержки Сомосы и шаха.

Мне представляется, что администрации Никсона, Форда и Картера можно рассматривать как проводившие единый политический курс, который может быть назван «приниженной позицией», о чем президент Картер заявил в известном обращении к американскому народу, соглашаясь на ограничение могущества США. Такая политика, казалось, была вполне успешной, пока третий мир вновь не стал играть с огнем. «Приниженная позиция» наткнулась на неожиданное препятствие в лице аятоллы Хомейни. Его оказалось трудно провести. В приниженной позиции или нет, Соединенные Штаты продолжали оставаться сатаной номер один (а СССР — номер два).

Стратегия Хомейни была достаточно простой. Он отказался принять правила игры — как правила того мирового порядка, которые США навязали после 1945 г., так и правила системы межгосударственных отношений, существовавшей уже на протяжении пяти столетий. Непосредственный результат его стратегии был столь же прост. Соединенные Штаты были глубоко оскорблены, Картер вышел в отставку, а Рейган пришел к власти под лозунгом отрицания «приниженной позиции» во всех возможных ее толкованиях. Стратегия Рейгана-Буша была направлена на то, чтобы кардинально ее изменить на более жесткий курс — жесткий с союзниками, жесткий с Советским Союзом, жесткий во внутренней политике и, конечно, жесткий в отношениях со странами третьего мира.

В экономическом плане теперь настало время, когда мир оказался перед необходимостью платить по счетам за те заплаты, которые были

поставлены в 70-х гг. — вплотную надвинулся долговой кризис, впервые наглядно проявившийся в Польше в 1980 г., и официально признанный в Мексике в 1982 г. В результате, страны третьего мира и советского блока вошли в штопор экономической спирали, швырнувший их вниз. Он не тронул лишь новые промышленные государства Восточной Азии, которым удалось перенести промышленное производство из центра на полупериферию системы за счет более низкой нормы прибыли. Теперь, когда возможности ОПЕК по откачке средств из ослабленной мироэкономики существенно снизились, Рейган полагался на военное кейнсианство^[8] США, беря огромные займы у своих бывших союзников, ставших ныне экономическими соперниками, — Японии и Западной Европы. К середине десятилетия стало очевидно, что скоро по этим счетам надо будет платить, как третий мир должен был расплачиваться за займы 70-х гг.

Можно ли было в этих обстоятельствах еще что-то залатать? Видимо, господин Горбачев первым понял, что скорее всего таких возможностей больше не осталось. СССР был сверхдержавой прежде всего в силу своих особых отношений с Соединенными Штатами, вошедших в историю под названием холодной войны. Если Соединенные Штаты не могли больше играть роль господствующей державы, холодная война теряла смысл, и теперь СССР рисковал оказаться в положении, когда его начнут рассматривать как еще одно полупериферийное государство мировой капиталистической экономической системы. Горбачев стремился сохранить за Россией/СССР возможность остаться мировой державой (или, по крайней мере, сильным полупериферийным государством) за счет триединой программы: одностороннего прекращения холодной войны (в высшей степени успешного); освобождения СССР от ставшей теперь ненужной и чрезвычайно обременительной квазиимперии в Восточной Европе (в высшей степени успешного); и перестройки Советского государства с таким расчетом, чтобы оно могло эффективно функционировать в постгегемонистскую эпоху (завершившейся провалом).

Поначалу Соединенные Штаты пришли в замешательство от такого маневра, но вскоре решили попытаться представить это сознательное низложение установленного ими мирового порядка в качестве громкой победы. Эта последняя попытка пустить в глаза пыль рекламной шумихи могла бы помочь Соединенным Штатам протянуть еще лет пять, если бы третий мир вновь не нанес им удар, на этот раз в лице Саддама Хуссейна. Саддам Хуссейн видел слабость Соединенных Штатов, особенно явственно проявившуюся в развале коммунистических режимов советского блока, и

их неспособность навязать Израилю процесс регионального урегулирования (как и в Индокитае, Южной Африке, Центральной Америке и на Ближнем Востоке), которые были составной частью прекращения холодной войны. Саддам Хуссейн решил, что настало время решительных действий. Он вторгся в Кувейт и, вполне вероятно, готовился двигаться дальше на юг.

Мне представляется, что он строил свои расчеты на четырех переменных факторах. Одним из них был всемирный кризис задолженности; Саддам Хуссейн понимал, что страны третьего мира не получают серьезных льгот при выплате долгов. Наконец, он нашел решение этой проблемы для себя — завладеть накопленной кувейтцами рентой. Второй составляющей его расчетов было прекращение мирных переговоров Израиля с ООП. Если бы переговоры продолжались, вторжение нанесло бы удар делу освобождения Палестины, которое все еще составляет основное содержание национальных чувств арабов. Но как только переговоры бы прекратились, Хуссейн вполне мог полагать, что станет последней надеждой палестинцев, играя на национальных чувствах арабов, на что он и рассчитывал. Но эти два соображения, в конечном счете, играли второстепенную роль. Гораздо большее значение имел крах коммунистических режимов. С позиций третьего мира его значение рассматривалось двояко. Во-первых, Саддам Хуссейн знал, что СССР его *не* поддержит, и это освобождало его от автоматических ограничений урегулирования Соединенными Штатами и Советским Союзом всех противоречий, чреватых ядерной эскалацией. И, во-вторых, крах коммунистических режимов одновременно явился окончательным крахом идеологии национального развития. Если даже СССР оказался не в состоянии воплотить ее в жизнь, имея в своем распоряжении ленинскую модель развития во всей ее полноте, то, конечно, ни Ирак, ни какое бы то ни было другое государство третьего мира, не смогут догнать развитые страны на основе программы коллективной взаимопомощи в рамках существующей миросистемы. Вильсонианцы лишились, наконец, ленинистского щита, направлявшего нетерпение третьего мира в русло такой стратегии, которая, с точки зрения господствующих на международной арене сил, в минимальной степени угрожала той системе, против которой выступал третий мир.

Освободившись от иллюзий всех альтернатив, уверенный в слабости Соединенных Штатов, Саддам Хуссейн принял в расчет четвертый фактор. В случае нападения у него была половина шансов на успех. Но у Соединенных Штатов была стопроцентная вероятность потерпеть

поражение. Соединенные Штаты вполне могли оказаться в безвыходной ситуации. Если бы они смирились с вторжением, то превратились бы в бумажного тигра. А если бы выступили против, политические последствия кровавой бойни неизбежно должны были бы привести к отрицательным для позиции США последствиям — на Ближнем Востоке, в Европе, в самих Соединенных Штатах, и, в конечном счете — повсюду.

II

Куда же мы направляемся теперь? Поскольку я считаю, что международная система движется в направлении даже большей, чем раньше, поляризации между Севером и Югом, сначала я остановлюсь на том, каким образом будет реструктурирован Север, и к каким последствиям для Юга, как мне кажется, приведут эти изменения; потом я изложу свои соображения относительно возможностей политического выбора, который предстоит сделать странам Юга. И в заключение я попытаюсь связать это с будущим мировой капиталистической экономики как таковой.

В настоящее время мы находимся в конце фазы «Б» очередного кондратьевского цикла, которая проходит с 1967-73 гг. Мы вступаем в ее завершающий и, возможно, наиболее драматичный виток. Он аналогичен ситуации, которая имела место на протяжении фазы «Б» кондратьевского цикла в 1893-96 гг., продолжавшегося с 1873 по 1896 гг. На разные регионы Севера влияние этой ситуации будет неодинаковым, но для разных областей Юга оно, возможно, окажется очень сильным. Тем не менее, пройдя через все потрясения, мироэкономика оправится, и мы вступим в начало продолжительной фазы цикла «А». Сначала, как уже неоднократно отмечалось, ее развитие будет питаться новым производственным циклом новых ведущих отраслей промышленности (микропроцессоры, биогенетика и т. п.); тремя ведущими центрами производства этой продукции станут Япония, ЕЭС и Соединенные Штаты. Они вступят в острую конкурентную борьбу за достижение квази-монополистического контроля мирового рынка их специфического варианта этих продуктов, но достичь своей цели полностью не смогут.

Сейчас ходит много разговоров о распаде мирового рынка на три части. Я в это не верю, поскольку при такой острой конкурентной борьбе трехчленное дробление уступает место двухчленному. Ставки слишком высоки, и слабейший из трех конкурентов будет стремиться к союзу с одним из двух других из страха вообще быть вытесненным с рынка. И

сегодня, и уж конечно, через десять лет слабейшим из трех, с точки зрения эффективности производства и национальной финансовой стабильности, есть и будут оставаться Соединенные Штаты. Их естественным союзником является Япония. Достижение компромисса между ними очевидно. Япония сейчас занимает сильные позиции в сфере производственных процессов, и у нее богатые инвестиционные возможности. Соединенные Штаты сильны в сфере исследовательских разработок, научного потенциала, они обладают мощным сектором услуг в целом, военным могуществом и достаточными накопленными средствами для дальнейшего развития емкого внутреннего рынка. Вновь объединенная Корея могла бы присоединиться к союзу Японии и Соединенных Штатов, что, скорее всего, сделала бы и Канада. Япония и Соединенные Штаты вовлекут в сферу своих интересов Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. Кроме того, они предпримут максимальные усилия для того, чтобы найти в новой структуре отношений надлежащее место для Китая.

Европа уже давно готовится к наступлению такой ситуации. Вот почему соглашения 1992 г. не только не расстроились, но, наоборот, продолжают и далее успешно развиваться после воссоединения Германии и ухода Тэтчер в отставку. Европе предстоит в деталях отработать свою стратегию; либо частичное развитие ЕС, либо широкомасштабная конфедерация. Ключевой проблемой здесь является Россия, которая должна быть включена в сферу этих отношений, чтобы Европа обрела достаточную силу перед лицом союза Японии и Соединенных Штатов. Европа будет напряженно работать над тем, чтобы противостоять распаду СССР, и поскольку Япония, Китай и Соединенные Штаты в силу других причин также опасаются этого процесса, есть вероятность, что СССР как-то сможет выдержать шторм.

Второй стадией для каждого из этих объединений Севера станет создание их собственных основных полупериферийных зон (Китай — для одного, Россия — для другого), чтобы получить дополнительные возможности для развития производства, более емкий рынок и поставщиков дешевой рабочей силы. В настоящее время центры системы напуганы перспективой нашествия из России и Китая. Но в 2005 г., когда экономика там будет на подъеме, а демографические показатели будут продолжать снижаться, возможно, приток гастарбайтеров станет весьма желательным в том случае, если он будет проходить «упорядоченно».

А что же случится с остальной частью третьего мира? Там хорошего будет мало. Конечно, возникнут многие анклавные, связанные с одной из двух зон Севера, но в целом доля Юга в мировом производстве и мировом

богатстве будет снижаться, причем я думаю, что мы станем свидетелями изменения там нынешних тенденций развития социальных показателей (таких, как образование и здравоохранение), то есть тех тенденций, которые в период 1945–1990 гг. развивались там относительно благополучно. Более того, Юг будет лишен основного политического инструмента 1945–1990 гг. — национально-освободительных движений. АНК в Южно-Африканской Республике станет последним крупным движением, пришедшим к власти. Все эти движения были направлены на достижение одной исторической цели — обретения самоопределения, — но ни одному из них не удалось достичь другой исторической цели — национального развития. Нынешняя изживающая себя иллюзия, что «рынок» даст им то, чего не смогла дать проводимая государством индустриализация, не продержится долго в условиях резкого ухудшения положения в ближайшие пять лет. Падение Мазовецкого^[9] — предвестник того, что стоящие там у власти силы будут испытывать все большую беспомощность.

Какие возможности выбора существуют в этой ситуации? На самом деле, их совсем немного, причем ни одна из них не укладывается в рамки мировоззрения, господствовавшего в мире в вильсонианско-ленинистскую эпоху. Начнем с той возможности, которая представляет собой кошмар для Севера именно потому, что в странах третьего мира могут решить, что положение безвыходное. Это — возможность типа Хомейни. Ее обычно называют угрозой исламского фундаментализма, но такое название делает акцент совсем не на том, что здесь важно по существу. Эта возможность не обязательно связана с исламом. И не обязательно она связана с фундаментализмом, если это понятие означает возврат к религиозной практике былых времен.

Возможность типа Хомейни представляет собой, прежде всего, наивысшую степень гнева и ужаса, вызванных современной миросистемой, и гнев этот направлен против тех, кому она несет наибольшие выгоды и кто ее прежде всего отстаивает — против Западного центра капиталистической мирэкономки. Она обличает Запад, включая и особенно заостряя внимание на ценностях эпохи Просвещения, представляемых в качестве воплощения зла. Если бы такой подход носил лишь тактический характер, являясь одним из способов мобилизации масс, его можно было бы каким-то образом использовать. Но поскольку он представляет собой подлинный выбор, путей для переговоров или решения проблемы здесь не существует.

Сколько времени может продлиться такой взрыв гнева? Как далеко он может пойти? Трудно сказать. Похоже, что накал страстей в хомейнистском

Иране идет на спад, в направлении возвращения страны в культурную орбиту миросистемы. Если, тем не менее, завтра возникнут другие движения в других странах Юга, причем их будет несколько, и многие из них вспыхнут одновременно в условиях менее стабильной миросистемы, смогут они продлиться дольше и зайти дальше? Смогут ли они оказать значительное влияние на развитие процесса развала существующей миросистемы, результатом которого они явятся сами?

Вторая возможность — возможность типа Саддама Хуссейна. Здесь тоже надо разобраться в том, что она собой представляет. Это не тотальное отрицание ценностей современной миросистемы. Партия Арабского социалистического возрождения (БААС) была типичным движением за национальное освобождение, причем движением сугубо светского характера.

Мне представляется, что возможность типа Саддама Хуссейна есть не что иное, как возможность типа Бисмарка. В том смысле, что экономическое неравенство является результатом политического *rappports deforces*^[10], и потому экономические изменения требуют применения военной силы. Конфликт между Ираком и Соединенными Штатами представляет собой первую подлинную войну Севера и Юга. Все войны за национальное освобождение (скажем, во Вьетнаме) имели ограниченную и вполне определенную цель: самоопределение. С точки зрения Юга, все эти войны развязывал Север, и завершиться они могли бы тогда, когда Север оставит Юг в покое. В случае кризиса в Персидском заливе война была начата Югом не с целью достижения самоопределения, а для изменения мирового *rapport deforces*. А это, на самом деле, совсем не одно и то же.

Саддам Хуссейн вполне может проиграть сражение, его могут разбить, но он показывает путь новой возможности — создания более крупных государств, вооруженных не как попало, а по последнему слову техники, которые готовы к риску настоящей войны. Если это — та возможность, время которой настало, то каковы будут ее последствия? Нет сомнения в том, что это будет страшная бойня, очевидно, с применением ядерного оружия (и, вполне вероятно, химического и биологического). С точки зрения, как Севера, так и Юга, возможность типа Саддама Хуссейна гораздо страшнее, чем возможность типа Хомейни. Может быть, вам интересно, почему эта ситуация так отличается от предшествующих войн между Севером и Югом, целиком принадлежавших эпохе расширения границ современной миросистемы? Ответ заключается в том, что с моральной точки зрения, это явления одного порядка, но с политической и военной позиций, они существенно отличаются. Старые колониальные

войны носили односторонний военный характер, и ответственность за них лежала на совести агрессоров Севера. Новые войны будут иметь двусторонний военный характер, причем ответственность за них теперь не будет нести Север. Может статься, что о периоде 1945–1990 гг. будут вспоминать как о времени относительного спокойствия в отношениях Севера и Юга (несмотря на Вьетнам, Алжир и многие другие антиколониальные войны) между серией войн, вызванных европейской экспансией, и войнами Севера и Юга в XXI столетии.

Третью возможность я называю возможностью индивидуального сопротивления через физическое переселение. Как можно будет политическими методами пресечь поток массовой незаконной миграции с Юга на Север в мире усиливающейся поляризации между Севером и Югом в ситуации демографического спада Севера и бурного демографического роста Юга? Мне представляется, что сделать это будет невозможно, и такая миграция с Юга на Север превысит законную и незаконную миграцию из России и Китая. Конечно, подобное уже случалось. И, тем не менее, мне кажется, что эскалация этого процесса существенно возрастет, и в силу этого преобразует структуру общественной жизни на Севере. Здесь достаточно остановиться на двух моментах. К 2025 г. переселенцы с Юга в страны Севера вполне смогут составить от 30 до 50% населения. В такой ситуации есть высокая вероятность, что Север предпримет попытку не предоставлять выходцам с Юга избирательных прав, а это означало бы, что спустя двести лет после начала процесса интеграции рабочего класса на Севере, мы вернулись обратно к тому положению, которое существовало в начале XIX столетия, когда большая часть низшей страты трудящихся была лишена основных политических прав. Такой подход бесспорно не является лучшим рецептом для сохранения социального мира.

Эти три возможности выбора, имеющиеся ныне в распоряжении Юга, очевидно, создают политические проблемы для правящей элиты миросистемы, которая будет их решать так, как сочтет нужным. Но эти возможности также ставят перед чрезвычайно важным выбором левых всего мира, представляющих собой антисистемные силы, как на Севере, так и на Юге.

Мы уже стали свидетелями смятения в движениях левых сил Севера. Они не знали, как реагировать на Хомейни. Они не знают, как реагировать на Саддама Хуссейна. У них никогда не было четкой позиции в вопросе о незаконной миграции. В каждом случае они не хотели предложить свою полную поддержку, но также, безусловно, не хотели поддержать и репрессивные меры Севера. Вследствие этого левые силы Севера оказались

безгласными, и с ними перестали считаться. Выражая солидарность с национально-освободительными движениями, они чувствовали себя вполне уверенно. В 1968 г. они пели: «Хо-хо-хо, Хо Ши Мин». Но тогда это происходило потому, что Вьетминь^[11] и НФЛ действовали в русле вильсонизанско-ленинистских концепций. Однако теперь, когда обе доктрины — Вильсона и Ленина — умерли, когда оказалось, что национальное развитие — это иллюзия (причем иллюзия вредная), когда мы уже не придерживаемся исходной стратегии преобразований, к воплощению которой в жизнь стремились на протяжении последних 150 лет, что еще остается левым движениям Севера, кроме латания заплат?

Но разве сейчас приходится легче левым движениям Юга? Разве они готовы записаться в ряды сторонников Хомейни или Саддама Хуссейна, или ратовать за возможность миграции? Мне это представляется сомнительным. Их сейчас одолевают те же сомнения, что и левые силы Севера. Им тоже хочется потрясать основы миросистемы и признавать, что все эти три возможности, действительно, эти основы потрясут. Но также их гложут сомнения в том, что такие возможности ведут к миру равенства и демократии, за которые выступают как левые силы Юга, так и левые силы Севера.

Серьезным пока не имеющим ответа вопросом, который встанет перед нами в первой половине XXI в. (когда мировая капиталистическая экономика будет переживать глубокий и острый кризис), является вопрос о том, возникнут ли новые стремящиеся к преобразованию общества движения с новой стратегией и новой программой. Это вполне возможно, но совсем не обязательно, по той причине, что пока еще никто не выдвинул ни новых стратегий, ни новых программ, способных заменить устопычившие стратегии Вильсона и Ленина для третьего мира, которые, в сущности, сами являлись не чем иным, как простым продолжением стратегии XIX в., направленной на достижение государственной власти и применявшейся как социалистическими, так и националистическими движениями.

Однако этот вопрос представляет собой для левых сил во всем мире большую проблему. Если они не смогут ее решить достаточно быстро и основательно, крах мировой капиталистической экономики в ближайшие пятьдесят лет просто приведет к ее замене чем-нибудь столь же плохим. В любом случае, в обозримом будущем в центре политической борьбы в мире будет конфронтация Севера и Юга. Поэтому она должна быть в центре внимания как историков и социологов, так и политических деятелей.

Глава 2. Мир, стабильность и законность 1990–2025/2050 годы

Период с 1990 по 2025/2050 гг., скорее всего, будет характеризоваться недостатком мира, стабильности и законности. Отчасти причиной тому будет закат Соединенных Штатов в качестве господствующей державы миросистемы. Но еще в большей степени это произойдет из-за кризиса миросистемы как таковой.

Гегемония в миросистеме по определению означает, что в мире есть одна страна, геополитическая позиция которой обеспечивает стабильное социальное распределение власти. Это предполагает наличие достаточно протяженного «мирного» периода, что, прежде всего, означает отсутствие вооруженной борьбы, причем не любой вооруженной борьбы, а вооруженной борьбы между великими державами. Такой период гегемонии с одной стороны требует, а с другой сам порождает «законность», если понимать ее либо как одобрение основными политическими силами (включая аморфные группы, такие как «население» различных стран) существующего социального порядка, либо как одобрение того направления, в котором неуклонно и быстро движется мир («история»).

Такие периоды истинной гегемонии, когда всерьез не оспаривалась способность господствующей державы навязывать свою волю и свой «порядок» другим ведущим странам, в истории современной миросистемы были достаточно непродолжительными. С моей точки зрения, примеров тому всего три: Соединенные провинции в середине XVII в., Соединенное Королевство — в середине XIX, и Соединенные Штаты — в середине XX в. В каждом случае их гегемония, соответствующая приведенному выше определению, продолжалась от двадцати пяти до пятидесяти лет^[12].

Когда такие периоды заканчиваются, то есть, когда бывшая господствующая держава вновь становится просто одной из ведущих стран наряду с остальными (даже если в течение какого-то периода она еще продолжает сохранять превосходство над ними в военном отношении), произошедшее изменение, очевидно, сопровождается снижением уровня стабильности и, соответственно, — уровня законности. Это предполагает и состояние менее прочного мира. В этом смысле нынешний период, следующий за временем гегемонии США, по сути дела, ни чем не отличается от того, который следовал за окончанием британского владычества в середине XIX в. или голландского — в середине XVII.

Однако если бы этим и ограничивалось описание периода 1990–2025,

1990–2050 или 1990-? вряд ли возникла бы необходимость обсуждения этого времени, за исключением разве технических деталей управления шатким миропорядком (именно с такой точки зрения его и обсуждают многие политики, дипломаты, ученые и журналисты).

Тем не менее, динамика развития на протяжении ближайшей половины столетия или около того, возможно, в гораздо большей степени чревата новыми чертами великого мирового хаоса. Геополитические реалии межгосударственной системы основаны не исключительно и даже не в первую очередь на военном *rapport de forces* между привилегированными суверенными государствами, которые мы называем великими державами — теми странами, которые достаточно велики и богаты, чтобы иметь необходимые налоговые поступления для развития серьезного военного потенциала.

Прежде всего, лишь несколько государств настолько богаты, чтобы иметь такую налоговую базу, при которой это богатство было бы скорее источником, чем следствием их военной мощи, хотя, конечно, в этом процессе одно подкрепляет другое. И богатство этих государств по сравнению с другими странами определяется как их размерами, так и осевым разделением труда в капиталистической мировой экономике.

Капиталистическая мировая экономика представляет собой систему иерархического неравенства распределения, основанную на концентрации определенных типов производства (сравнительно монополизированного и потому высоко прибыльного производства) в определенных ограниченных зонах, которые именно в силу этого становятся центрами наиболее высокого накопления капитала. Такая концентрация позволяет укреплять государственные структуры, которые, в свою очередь, призваны обеспечивать выживание этих относительных монополий. Но в силу присущей монополиям уязвимости, происходит постоянное, непрерывное и ограниченное, но существенное перемещение этих центров концентрации на протяжении всего периода существования современной миросистемы.

Механизмы изменений носят циклический характер, при котором основное значение имеют два цикла. Продолжительность циклов Кондратьева составляет около 50–60 лет. Фаза «А» цикла в основном приходится на тот период, на протяжении которого наиболее крупные экономические монополии защищены от конкурентов; фаза «Б» кондратьевского цикла представляет собой период географического перемещения производства тех монополий, потенциал которых истощается, а также период борьбы за контроль над новыми перспективными монополиями. Более длительные циклы господства характеризуются

борьбой между двумя крупными государствами за то, чтобы стать преемником бывшей господствующей державы через превращение в основной центр накопления капитала. Это длительный процесс, который в итоге ведет к наращиванию военного потенциала для того, чтобы одержать победу в «тридцатилетней войне». С утверждением новой структуры господства его поддержание требует серьезных финансовых средств, что со временем неизбежно ведет к относительному упадку господствующей в данный момент державы и борьбе за положение ее преемника.

Такой тип медленных, но неизбежно повторяющихся структурных сдвигов и перемещения центров капиталистической мироэкономики был чрезвычайно эффективным. Взлеты и падения великих держав в большей или меньшей степени напоминают процессы взлетов и падений отдельных предприятий: монополии держатся достаточно долго, но в итоге их положение подрывается теми самыми мерами, которые принимаются для их поддержания. Следующие за этим «банкротства» являются очистительными механизмами, освобождая от балласта систему тех стран, динамизм которых истощился, и наполняют ее свежими силами. Благодаря всему этому, основные структуры системы остаются неизменными. Каждая монополия власти какое-то время сохраняется, но, как и в случае с экономической монополией, ее основы подрываются именно теми мерами, которые принимаются для ее поддержания.

Все типы систем (физические, биологические, социальные) зависимы от таких циклов для восстановления минимального равновесия. Капиталистическая мироэкономика оказалась достаточно жизнестойкой при самых разных исторических системах. Вот уже на протяжении пятисот лет она процветает — для исторической системы это немалый срок. Но развитие систем имеет не только циклы, но и основные тенденции, всегда углубляющие противоречия (присущие всем системам). Наступает такой момент, когда противоречия становятся настолько острыми, что начинают приводить к все более и более значительным отклонениям. На языке новой науки это означает наступление хаоса (или резкого снижения тех параметров, которые можно объяснить исходя из детерминистских уравнений), что, в свою очередь, ведет к бифуркациям, наличие которых очевидно, но контуры которых непредсказуемы по самой их природе. На этой основе и возникает новый системный порядок.

Вопрос заключается в том, вступила ли уже или вступает историческая система, в условиях которой мы живем — капиталистическая мироэкономика, в этот период «хаоса». В этой связи мне хотелось бы сопоставить некоторые доводы, поделиться предположениями о тех

формах, которые может принять такой «хаос», и обсудить действия какого характера мы сможем предпринять в этих условиях.

Я бы не хотел подробно останавливаться на составляющих, которые, с моей точки зрения, обычно определяют фазу «Б» кондратьевского цикла или фазу «Б» господства; поэтому я затрону их очень кратко^[13]. Тем не менее, мне хотелось бы отметить, что хотя цикл господства значительно более продолжителен, чем цикл Кондратьева, изменение; цикла господства совпадает с изменением цикла Кондратьева (хотя, конечно, не с каждым из них). В данном случае, такое изменение пришлось на период 1967–1973 гг.

Явления, сопровождающие обычную фазу «Б» цикла по Кондратьеву, следующие: замедление роста производства и, возможно, снижение мирового производства на душу населения; увеличение уровня безработицы трудящихся, получающих заработную плату; относительные сдвиги от производственной деятельности к финансовым операциям в центрах получения прибыли; рост государственной задолженности; перемещение «более старых» отраслей промышленности в регионы с более низкой заработной платой; рост военных расходов, оправдываемых не столько действительно военными потребностями, сколько созданием противоциклического спроса; падение реальной заработной платы в официальной экономике; рост теневой экономики; сокращение производства дешевых продуктов питания; усиление «незаконности» межзональной миграции.

К числу явлений, присущих началу процесса упадка господства относятся: возросший экономический потенциал «союзных» великих держав; валютная нестабильность; снижение значения мировых финансовых рынков при одновременном усилении роли новых центров принятия решений; финансовый кризис господствующей страны; снижение уровня организации (и стабилизации) мировой политической поляризации сил и напряженности (в данном случае — холодная война); уменьшение степени готовности людей жертвовать жизнью ради поддержания власти господствующей державы.

Все это, как я уже говорил, представляется мне «нормальным» и исторически предсказуемым. То, что могло бы произойти сейчас в ходе «нормального» циклического процесса, сводилось бы к усилению процесса структурных перемещений. В ближайшие пять или десять лет мы бы вступили в новую фазу «А» кондратьевского цикла, основанного на новом процессе монополизации ведущих производств, сконцентрированных в новых центрах. Наиболее очевидным из этих центров является Япония,

вторым — Западная Европа, а третьим — Соединенные Штаты (не исключено, что этот третий может оказаться наиболее слабым).

Наряду с этим мы стали бы свидетелями начала нового процесса борьбы за господство. По мере ослабления позиций США, медленно, но верно начали бы заявлять о своих претензиях два их потенциальных преемника. В нынешней ситуации ими могли бы стать только Япония и Европейское Сообщество. Следуя аналогии двух предшествующих переходов такого рода наследия — Англии, боровшейся с Францией за голландское наследство, и Соединенным Штатам, боровшимся с Германией за наследство Великобритании, — теоретически мы могли бы рассчитывать на то, что не сразу, но на протяжении последующих пятидесяти-семидесяти пяти лет морская и воздушная держава — Япония превратила бы ранее господствующую державу — Соединенные Штаты — в младшего партнера, и вступила бы в борьбу с наземной державой — Европейским Сообществом. Их соперничество закончилось бы «тридцатилетней (мировой) войной» и вероятной победой Японии.

Сразу же хочу оговориться, что не жду такого развития событий, точнее говоря, полагаю, что события будут развиваться в несколько ином русле. Мне представляется, что оба процесса реорганизации — миросистемы производства и мирового распределения государственной власти — уже начались, причем развиваются они по «традиционной» (или «нормальной», то есть существовавшей ранее) схеме. Вместе с тем, я полагаю, что этот процесс будет прерван или направлен в иное русло в силу возникновения новых процессов или векторов.

Для более наглядного анализа этого положения, как мне представляется, нам необходимо рассмотреть ситуацию в рамках трех временных параметров: в ближайшие несколько лет; в период ближайших двадцати пяти — тридцати лет; и в период, следующий за ними.

Положение, в котором мы находимся сейчас, в 1990-е гг., вполне «нормально». Это еще не то время, которое я бы назвал «хаотичным»; скорее на этот период приходится финальная острая субфаза (или кульминационный момент) нынешней фазы «Б» цикла по Кондратьеву — сравнимая с периодами 1932–1939, или 1893–1897, или 1842–1849, или 1786–1792 гг., и т. д. Мировые показатели безработицы высокие, а прибыльности — низкие. Существующий высокий уровень финансовой нестабильности отражает острую и оправданную нервозность, царящую на финансовом рынке, относительно краткосрочных перепадов. Возросшие социальные волнения отражают политическую неспособность правительств предложить удовлетворительные решения на краткосрочный

период, что свидетельствует об их неспособности к восстановлению ощущения безопасности. В ситуациях, при которых обычные средства, применяемые для снятия напряжения, становятся малоэффективными, все большую политическую привлекательность как в области внутренней, так и в области внешней политики приобретают решения, связанные с тем, чтобы сделать козлом отпущения своего соседа.

В ходе этого процесса большое число индивидуальных предприятий снижают активность, либо реструктурируются, либо объявляют банкротства, и в большинстве случаев больше не возрождаются. Отдельные группы рабочих и предпринимателей, таким образом, исчезают навсегда. Хотя от этого процесса страдают все государства, но распределяются эти страдания далеко не пропорционально. В конце этого процесса некоторые государства вновь обретут былую силу, другие в равной степени утратят свой экономический потенциал.

В такие периоды великие державы часто разбивает военный паралич в силу сочетания факторов внутривнутриполитической нестабильности, финансовых трудностей (и нежелания, в силу этого, нести военные расходы) и концентрации внимания на непосредственных экономических проблемах (что ведет к их изоляции от народа). Типичным примером такого паралича явился ответ мира на военные действия, вспыхнувшие после крушения Югославии. И такое положение вещей, повторяю, является «нормальным», иначе говоря, оно вполне укладывается в предсказуемые парадигмы действий капиталистической мироэкономики.

Потом, как правило, наступает период восстановления. После того, как *балласт* сброшен (сокращено потребление предметов роскоши и усилено внимание к экологическим проблемам) и покончено с тем, что мешало эффективной работе (будь то система блата, протекционизма и искусственное раздувание штатов или бюрократические препоны), в условиях воздержанности и умеренности должен наступить новый динамичный подъем новых ведущих монополизированных отраслей промышленности и заново сложиться новый контингент мировых потребителей, за счет которых увеличится платежеспособный спрос, короче говоря, — обновленное развитие мироэкономики должно будет ее повести к новой эпохе «процветания».

Тремя центрами такого развития, как уже отмечалось и как принято считать, станут Соединенные Штаты, Западная Европа и Япония. На протяжении первых лет десяти фазы «А» следующего цикла по Кондратьеву, очевидно, будет проходить острая конкурентная борьба трех этих центров за продвижение на рынки своих разновидностей новых

товаров. Как показал в своих работах Брайан Артур, вопрос о том, какие именно из этих разновидностей окажутся на высоте, никак или почти никак не связан с технической эффективностью, но связан с вопросами, имеющими отношение к власти^[14]. К власти можно было бы добавить убедительность, хотя в данной ситуации убедительность в основном является функцией власти.

Власть, о которой мы говорим, представляет собой, прежде всего, власть экономическую, хотя она опирается на власть государственную. Конечно, этот процесс образует замкнутый цикл: небольшая власть ведет к небольшой убедительности, которая в свою очередь порождает еще дополнительную власть, и т. д. Важную роль здесь играет вопрос о том, насколько страна сама стремится к лидерству и борется за него. В какой-то момент порог бывает перейден. Видеокассеты стандарта «Betamax» устареют, и появятся монополии, производящие кассеты стандарта «VHS». Мой довод крайне прост: я готов поспорить, что у Японии будет больше видеокассет стандарта «VHS», чем у ЕС, и американские предприниматели будут заключать сделки с японскими предпринимателями в надежде получить свой кусок пирога.

Вполне понятно, что от такой сделки получают предприниматели США, полностью соблюдающие условия такого соглашения, скажем, в период между 2000 и 2010 гг., — их целиком не вытеснят с рынка. Столь же очевидно и то, что получит от него Япония, а именно, три преимущества: (1) Если соединенные Штаты — партнер, значит, они уже не конкурент; (2) Соединенные Штаты в любом случае будут оставаться самой сильной военной державой, а Япония по целому ряду причин (история недавнего времени и ее воздействие на внутреннюю политику и региональную дипломатию, а также экономические преимущества от низких военных расходов) будет еще в течение некоторого времени предпочитать полагаться на военную защиту США; (3) Соединенные Штаты все еще располагают лучшей в мире научно-исследовательской структурой в мироэкономике, даже если предположить, что со временем их преимущества в этой области тоже исчезнут. Благодаря такой структуре отношений японские предприятия снизят собственные затраты.

Поставленные перед фактом столь мощного экономического союза члены ЕС отложат в сторону все свои второстепенные разногласия, если они уже давно этого не сделали. ЕС включит в свой состав страны ЕАСТ^[15], но не будет принимать страны Центральной и Восточной Европы (разве что, за исключением ограниченных зон свободной торговли,

отношения с которыми схожи с отношениями между Мексикой и Соединенными Штатами в рамках НАФТА^[16].

Европа (точнее говоря, ЕС) создаст второй экономический блок, который будет серьезным конкурентом союзу Японии и Соединенных Штатов. Остальные страны мира будут связаны с двумя ведущими зонами этого биполярного мира самыми разными способами. С точки зрения экономических центров власти, при определении степени важности остальных государств необходимо принимать во внимание три ключевых фактора: значение их промышленности для операций в ключевых производственных направлениях; значение отдельных стран для поддержания соответствующего платежеспособного спроса на товары наиболее прибыльных отраслей производства; важность отдельных стран в плане стратегических параметров (военное положение и/или власть в мире, основные источники сырья и т. д.).

Двумя государствами, которые еще незначительно или недостаточно вовлечены в две создаваемые системы, но вовлечение их является чрезвычайно важным в силу всех трех приведенных выше причин, являются Китай для союза Японии и Соединенных Штатов, и Россия для ЕС. Для того, чтобы эти две страны были должным образом интегрированы, им нужно будет поддерживать (или в случае России впервые достичь) определенного уровня внутренней стабильности и законности. Смогут ли они решить эту задачу — возможно, с помощью заинтересованных сторон, — на сегодня вопрос открытый, но мне представляется, определенная вероятность такого исхода существует.

Представим себе, что нарисованная мною картина верна: возникает биполярная мировая экономическая система с Китаем, составляющим часть японско-американского полюса, и Россией, входящей в сферу притяжения европейского полюса. Представим себе также, что с 2000 по 2025 гг. происходит новое, чрезвычайно широкое развитие мировой экономической системы на основе новых монополизированных ведущих отраслей промышленности. Чего мы сможем от этого ждать? Повторится ли на деле период 1945–1967/1973 гг., *trente glorieuses*^[17] всемирного процветания, относительного мира и — главное — неистощимого оптимизма при взгляде в будущее? Я так не думаю.

Этот период будет характеризоваться несколькими явными отличиями. Первое и наиболее для меня очевидное будет состоять в том, что миросистема будет скорее биполярной, чем однополярной. Характеристика миросистемы в период с 1945 по 1990 гг. как однополярной — подход не

очень широко распространенный. Он идет вразрез с общепринятой точкой зрения о том, что в период холодной войны мир был разделен между двумя сверхдержавами. Но поскольку холодная война основывалась на достигнутой двумя согласившимися на нее противостоящими силами договоренности о том, что геополитический баланс будет оставаться неизменным, и поскольку (несмотря на все публичные заявления о конфликте) это геополитическое соглашение никогда существенно не нарушалась ни одной из противостоящих сил, я предпочитаю рассматривать ее как организованный (а потому чрезвычайно ограниченный) конфликт. На самом деле, решения принимали США, командуя парадом, а их советские коллеги время от времени должны были ощущать на себе груз реального положения вещей.

В отличие от этого, в период 2000–2025 гг., как мне представляется, мы не сможем предсказать, кто именно будет «командовать парадом» — японцы в союзе с американцами или ЕС. Слишком сбалансированным будет их реальное экономическое и геополитическое могущество. Даже в таком простом и мало значительном деле, как голосование в международных организациях, не будет ни автоматического, ни легко достижимого большинства. В этой конкурентной борьбе, наверняка, будет совсем немного идеологических элементов. Основой ее будут почти исключительно соображения материальной выгоды. Это вовсе не означает, что конфликт станет менее острым; просто будет гораздо сложнее прикрыть его чистыми символами. Может случиться и так, что форма выражения этого конфликта будет все в меньшей мере политической и все в большей степени мафиозной.

Второе существенное различие будет определяться тем обстоятельством, что в 2000–2025 гг. в Китай и Россию может быть направлен основной поток мировых инвестиций, объемы которых могут быть сопоставимы с капиталовложениями, поступавшими в Западную Европу и Японию в период 1945–1967/1973 гг. Но это будет означать, что объем средств, предназначенных для всего остального мира, в 2000–2025 гг. должен будет отличаться от тех ресурсов, которые были ему предоставлены в указанный период. В 1945–1967/1973 гг. практически единственным «старым» центром, в который направлялись инвестиции, были Соединенные Штаты. В 2000–2025 гг. постоянные капиталовложения должны будут направляться в Соединенные Штаты, Западную Европу и Японию (а также в некоторые другие страны, такие как Корея и Канада). Вопрос в этой связи формулируется таким образом: сколько останется средств (пусть даже небольших) для остального мира, после того, как будут

осуществлены инвестиции в «старые» и «новые» регионы? Ответ на этот вопрос: очевидно, их будет существенно меньше, чем в период 1945–1967/1973 гг.

Это, в свою очередь, приведет к существенно иной ситуации для стран Юга (как бы они ни назывались). Если в 1945–1967/1973 гг. Югу еще перепали какие-то крохи прибыли от развития мироэкономики, то в 2000–2025 гг. может случиться так, что даже таких крох им не достанется. Действительно, нынешнее отсутствие инвестиций (фазы «Б» кондратьевского цикла) в большинство регионов Юга скорее продолжится, чем возобновится с наступлением фазы «А». Между тем, потребности Юга не сократятся, а возрастут. Как бы то ни было, представление о процветании центральных регионов мира и о степени разрыва между Севером и Югом сегодня значительно более отчетливо, чем пятьдесят лет тому назад.

Третье отличие связано с демографией. В настоящее время численность населения мира развивается по той же самой парадигме, которая существует уже на протяжении приблизительно двух столетий. С одной стороны, в масштабах всего мира оно увеличивается. Это происходит в связи с тем, что у более бедных пяти шестых мирового населения снижается уровень смертности (по технологическим причинам), а уровень рождаемости в такой же пропорции не снижается (из-за отсутствия достаточных социально-экономических стимулов). С другой стороны, процент мирового населения в более богатых районах мира снижается, несмотря на тот факт, что снижение там уровня смертности существенно выше, чем в менее обеспеченных регионах, поскольку уровень рождаемости там снижается еще более значительно (главным образом, в связи со стремлением семей представителей среднего класса улучшить свое социально-экономическое положение).

Такая ситуация привела к демографическому разрыву, сопоставимому (или даже превосходящему) экономический разрыв между Севером и Югом. По правде говоря, этот разрыв уже существовал в период 1945–1967/1973 гг. Но тогда он был не столь велик, поскольку на Севере еще существовали ограничения уровня рождаемости культурного характера. Теперь эти ограничения в основном отброшены, причем произошло это именно в период 1945–1967/1973 гг. Демографические показатели 2000–2025 гг. отразят это значительно более острое неравенство социального развития в мире.

В результате можно ожидать усиления позиций защитников миграции с Юга на Север. Стремление к такого рода миграции будет вполне очевидно

не только со стороны тех, кто готов к низкооплачиваемой работе в больших городах, но в еще большей степени со стороны значительно возросшего числа образованных людей в странах Юга. Кроме того, возникнет большая, чем раньше, тяга к переселению именно в силу биполярного раскола в зонах центра, а также в связи с последующим давлением, которое будут оказывать предприниматели с целью снижения затрат при найме мигрантов на работу (не только в качестве неквалифицированной рабочей силы, но и как сотрудников среднего звена).

Конечно, со стороны Севера последует (и она уже дает о себе знать) острая социальная реакция — призывы к введению более жесткого законодательства, направленного на ограничение социально-политических прав тех, кому удалось туда проникнуть. В результате *de facto* может быть, достигнут худший из всех возможных компромиссов: неспособность эффективно предотвращать въезд мигрантов в сочетании со способностью обеспечивать им политически неполноценный статус. В результате этого может так случиться, что приблизительно к 2025 г. в Северной Америке, ЕС и (даже) в Японии численность населения, в социальном плане: именуемого «южанами», будет составлять от двадцати пяти до пятидесяти процентов, а в некоторых областях и крупных городских центрах она может быть значительно выше. Но поскольку многие (возможно, большинство) этих людей будут лишены избирательного права (и, может быть, в лучшем случае они будут иметь лишь ограниченный доступ к пособию социального обеспечения), может сложиться ситуация, при которой те, кто будет иметь самую низкооплачиваемую работу в городах (и урбанизация достигнет тогда новых высот), будут лишены политических (и социальных) прав. Такого рода положение имело место в Великобритании и Франции в первой половине XIX столетия, и оно привело к вполне обоснованным опасениям того, что так называемые опасные классы камня на камне не оставят от существовавшего там порядка. В то время для преодоления этой опасности в промышленных странах было изобретено либеральное государство, гарантировавшее всеобщее избирательное право и социальное пособие для умиротворения низших слоев населения. В 2030 г. Западная Европа, Северная Америка и Япония могут оказаться в том же положении, какое сложилось в Великобритании и Франции в 1830 г. «Второй раз в виде фарса»?

Четвертое отличие между процветанием, царившем в мире между 1945 и 1967/1973 гг., и тем положением, которое может сложиться между 2000 и 2025 гг., будет в том, что средние слои в зонах центра окажутся в достаточно сложной ситуации. В период 1945–1967/1973 гг. именно они

оказались в наиболее выигрышном положении. И в абсолютном, и в относительном отношении их численность значительно увеличилась. Столь же значительно повысился и их уровень жизни. Процент рабочих мест, соответствующих «средней страте» по уровню заработной платы, также резко возрос. Средние слои превратились в основную опору стабильности политических систем, они действительно стали их мощной поддержкой. Более того, квалифицированные рабочие — следующая за средними слоями экономическая страта, стали мечтать — ни много, ни мало — о том, чтобы войти в состав средних слоев через поддерживаемое профсоюзами увеличение зарплаты, получение высшего образования их детьми и стимулированное правительством улучшение условий жизни.

Естественно поэтому, что общей ценой такого хода событий стал существенный подъем стоимости производства, постоянная инфляция и серьезные трудности с накоплением капитала. Нынешняя фаза «Б» кондратьевского цикла вселяет вполне обоснованные сомнения относительно «конкурентоспособности» и финансовых нагрузок государства. Эти сомнения не уменьшатся, а, наоборот, будут возрастать в ходе развития фазы «А» цикла, когда возникнут два остро между собой конкурирующих полюса развития. В этой ситуации можно ожидать постоянной тенденции к абсолютному и относительному снижению численности средних слоев в процессе производства, включая отрасли сферы услуг). Наряду с этим будет продолжаться нынешняя тенденция к сокращению государственных бюджетов, которая в конечном итоге несет самую большую угрозу средним слоям населения.

Политические последствия такого сокращения будут для среднего класса чрезвычайно тяжелыми. Образованные, привыкшие к удобствам представители среднего класса, оказавшись перед угрозой быть *declassified*^[18], не останутся пассивными наблюдателями таких отрицательных изменений своего статуса и дохода. Мы уже видели их оскал в ходе всемирной революции 1968 г. Чтобы умиротворить средние классы, с 1970 по 1985 гг. им был сделан целый ряд экономических уступок. Страны, которые на это пошли, расплачиваются за эти уступки теперь, причем идти на них снова будет достаточно сложно, а если, тем не менее, к подобной практике вернуться, это скажется на результатах экономической борьбы между ЕС и японско-американским блоком. Как бы то ни было, капиталистическая мироэкономика будет поставлена перед достаточно жестким выбором: либо ограничивать накопление капитала, либо испытывать на себе последствия политико-экономического бунта бывших средних классов. Выбор этот будет печальным.

Пятое различие будет касаться ограничений экологического характера. С самого зарождения нынешней исторической системы предприниматели-капиталисты жили за счет экстернализации издержек. Одной из наиболее существенных экстернализованных издержек были расходы на восстановление экологического потенциала постоянно расширяющегося всемирного производства. Поскольку предприниматели не занимались восстановлением экологии, а правительства (во всем мире) не были готовы ввести достаточное для этой цели налогообложение, экологическая база мироэкономики постоянно сокращалась. Последний и самый значительный этап развития мироэкономики, имевший место с 1945 по 1967/1973 гг. истощил те ресурсы, которые еще оставались, в результате чего возникли движения «зеленых» и всемирная озабоченность проблемами окружающей среды.

В связи с этим, дальнейшее экономическое развитие в 2000–2025 гг. будет происходить при отсутствии необходимой экологической базы.

В этой ситуации возможен один из следующих трех исходов. Либо дальнейшее развитие будет заторможено, вследствие чего произойдет политическое крушение миросистемы. Либо экологическая база будет истощена в большей степени, чем это физически допустимо для Земли, что будет чревато такими катастрофами, как глобальное потепление. Либо, чтобы этого не допустить, необходимо будет всерьез отнестись к уплате высокой социальной цены, которой будет восстановление экологии и ограничение природопользования.

Если будет избран третий путь — путь коллективной ответственности, в краткосрочном плане являющийся наименее разрушительным, сразу возникнут ограничения, налагаемые на функционирование миросистемы, Либо восстановление природы должно будет произойти за счет Юга, что еще более усилит неравенство между Севером и Югом и приведет к еще более напряженному и четко выраженному напряжению в отношениях между ними, либо расходы на это будет нести Север, что неизбежно приведет к снижению уровня благосостояния его жителей. Кроме того, какой бы путь в этом направлении ни был избран, любые шаги в направлении защиты окружающей среды неизбежно сократят уровень мировой прибыли (несмотря на то, что работа по восстановлению природы сама станет источником накопления капитала). Учитывая это второе соображение, а также острую конкуренцию между японско-американским союзом и ЕС, можно будет ожидать значительных махинаций, из-за которых будет страдать процесс восстановления природы, и в этом случае мы неизбежно вернемся либо к первому, либо ко второму исходу.

Шестое различие будет заключаться в том, что основные тенденции развития миросистемы будут характеризоваться стремлением к двум асимптотам: географической экспансии и снижению доли сельского населения. Капиталистическая мироэкономика теоретически достигла к 1990 г. такого уровня развития, который позволял включить в нее весь земной шар. Тем не менее, это прежде всего относилось к межгосударственной системе. Создание единой глобальной системы производства продуктов потребления приходится уже на более поздний период 1945–1967/1973 гг. Как бы то ни было, в настоящее время это относится и к тому, и к другому. В то же время, в рамках капиталистической мироэкономики на протяжении последних четырехсот лет происходил процесс сокращения численности сельского населения (иногда менее точно называемый пролетаризацией), причем на протяжении последних двухсот лет он развивался с нарастающей быстротой. В период 1945–1967/1973 гг. в развитии этого процесса произошел невероятный скачок — Западная Европа, Северная Америка и Япония практически лишились сельского населения, а на Юге это происходило хоть и в меньшей, но в достаточно значительной степени. Возможно, этот процесс завершится в период 2000–2025 гг.

Способность капиталистической экономики к экспансии в новые географические зоны исторически явилась основным условием для поддержания уровня прибыльности, и следовательно, накопления капитала. Это было весьма существенным средством, позволявшим противостоять постоянному повышению стоимости рабочей силы, обусловленному как ростом политического влияния рабочего класса, так и его увеличившейся ролью в процессе производства. Если бы в настоящее время ряды рабочего класса не пополнялись новыми его представителями, еще не имеющими достаточного политического влияния и не играющими достаточно важной роли в процессе производства, чтобы претендовать на значительную часть прибавочной стоимости, положение с накоплением капитала могло бы стать настолько же сложным, как и в связи с экологическим истощением. С достижением географических пределов и сокращением численности сельского населения трудности, вызванные политическим процессом снижения расходов, оказались настолько серьезными, что процесс дальнейшего накопления капитала становится уже практически невозможным. Реальные расходы на производство должны подняться во всем мире, а уровень прибыли вследствие этого должен снизиться.

Седьмое различие между наступающей фазой «А» цикла по Кондратьеву и предыдущей состоит в том, что теперь придется принимать

в расчет социальную структуру и политический климат стран Юга. С 1945 г. доля средних слоев в этих странах в пропорциональном отношении значительно возросла. Это оказалось сравнительно несложным, поскольку до сих пор их численность была там ничтожна. Если их доля повысилась всего с пяти до десяти процентов населения, значит, пропорционально она увеличилась в два раза, но если учесть при этом общий рост численности населения, значит, в абсолютном выражении она возросла в четыре или шесть раз. И поскольку речь идет о пятидесяти — семидесяти пяти процентах населения планеты, мы сейчас говорим об очень большой группе населения. Будет чрезвычайно сложно удерживать этих людей в рамках такого уровня потребления, который они считают для себя минимально выносимым.

Кроме того, выходцы из среды этих средних классов — или местная номенклатура, в большинстве своем играли большую роль в процессе «деколонизации» в 1945–1967/1973 гг. Таково было положение тех, кто жил в регионах Юга, к 1945 г. остававшихся колониями (едва не вся Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, страны Карибского бассейна и другие районы). Почти в той же степени это относилось и к тем, кто жил в «полуколониях» (Китай, часть Ближнего и Среднего Востока, Латинская Америка, Восточная Европа), где в разных формах развивались «революционные» движения, по природе своей сопоставимые с процессом деколонизации. В данной работе нет необходимости давать истинную оценку всем этим движениям. Достаточно будет остановиться на двух их характерных особенностях: в них принимало участие очень много народа, особенно представителей средних слоев. Всех этих людей переполнял политический оптимизм, приобретающий разные формы, который наиболее полно был выражен в лаконичном высказывании Кваме Нкрумы: «Ищите сначала царства политического, а все другое воздастся вам сторицей». На практике это означало, что средняя страта Юга (и *потенциальная* средняя страта) в какой-то степени была готова терпеть свой низкий экономический статус: они были уверены в том, что если им удалось прийти к политической власти за первый тридцатилетний период или около того, то они или их дети получат экономическое вознаграждение в следующие тридцать лет.

В период с 2000 по 2025 гг. не только не будут происходить процессы «деколонизации», которые раньше были в центре внимания этой «номенклатуры», внушая ей оптимизм, но и ее экономическое положение почти наверняка будет ухудшаться по причинам, о которых говорилось выше (концентрация внимания на Китае/России, увеличение в странах Юга

численности самой номенклатуры, отмечаемое во всем мире стремление экономически ослабить позиции средних классов). Отдельным представителям номенклатуры Юга, возможно, удастся избежать такого ухудшения своего положения (то есть эмигрировать на Север). Но это лишь сделает положение тех, кто остался, еще более печальным.

Восьмое и последнее самое серьезное различие между прошлым и будущей фазой «А» кондратьевского цикла носит чисто политический характер: рост демократизации и упадок либерализма. Нельзя забывать о том, что демократия и либерализм — это не понятия-близнецы, скорее эти понятия друг другу противостоят. Либерализм возник как средство для противостояния демократии. Своим возникновением он был обязан стремлению обуздать опасные классы сначала в ведущих странах, а потом в рамках миросистемы в целом. Либеральное решение проблемы состояло в том, чтобы предоставить им ограниченный доступ к политической власти и ограниченную долю экономической прибавочной стоимости, в тех пределах, которые бы не угрожали процессу постоянного накопления капитала или государственной системе, на которую он опирался.

Лейтмотивом либерального государства в национальном масштабе и либеральной межгосударственной системы — во всемирном, является апологетика разумного реформизма, направляемого в первую очередь государством. Формула либерального государства, разработанная в странах центра в XIX столетии, — всеобщее избирательное право и государство благосостояния — работала просто замечательно. В XX в. аналогичная формула была применена к межгосударственной системе в форме лозунгов самоопределения наций и экономического развития развивающихся стран. Тем не менее, в силу невозможности создания государства всеобщего благосостояния во всемирном масштабе (за что, в частности, ратовала Комиссия Брандта), применение этой формулы дало осечку. Дело в том, что воплотить эту формулу в жизнь, не затронув основополагающий процесс накопления капитала на основе капитала, невозможно. Причина этого проста: старая формула работала в государствах центра, и успех ее основывался на скрытой переменной величине — экономической эксплуатации Юга в сочетании с направленным против Юга расизмом. На мировом уровне такой переменной существовать не может, она логически не может иметь места по определению^[19].

Последствия этого для политического климата очевидны. В 1945–1967/1973 гг. либеральный реформизм достиг своего апогея: деколонизация, экономическое развитие и — самое главное — оптимистический взгляд на будущее господствовали повсеместно: на

Западе, на Востоке, на Севере и на Юге. Тем не менее, с вступлением в следующую фазу «Б» кондратьевского цикла, когда процесс деколонизации завершился, а ожидавшееся экономическое развитие в большинстве регионов превратилось в отдаленное воспоминание, былой оптимизм угас. Более того, по причинам, изложенным выше, рассчитывать на то, что экономическое развитие в странах Юга станет реальностью в наступающей фазе «А» кондратьевского цикла, больше не приходится, и былой оптимизм, как нам представляется, развеялся навсегда.

Наряду с этим, постоянно нарастало стремление к демократизации. Демократия, по сути своей, противостоит власти и авторитаризму. Она воплощает собой стремление к равному влиянию на политический процесс на всех уровнях и к равному участию в системе социально-экономического вознаграждения. Главным сдерживающим фактором этих стремлений был либерализм, обещавший неизбежное постепенное улучшение положения путем проведения разумных реформ. Вместо выдвинутого демократией требования равенства сейчас либерализм предлагал надежды на будущее. Этот вопрос достаточно обсуждался не только просвещенной (и наиболее могущественной) половиной мирового истеблишмента, но и традиционными антисистемными движениями («старыми левыми»). Основной установкой либерализма была надежда, которую он предлагал. Но в той степени, в которой мечты увядают (как «изюм на солнце»), либерализм как идеология умирает, и опасные классы вновь становятся опасными.

Вот так, тогда и туда мы, по-видимому, и направимся, когда в 2000–2025 гг. наступит следующая фаза «А» кондратьевского цикла. Хотя может создаться впечатление, что в некоторых отношениях это будет период необычайного подъема, в других областях дело будет обстоять гораздо хуже. Вот почему мне представляется, что мир, стабильность и законность будут в эти годы дефицитом. В результате воцарится «хаос», который явится ни чем иным, как расширением амплитуды обычных колебаний системы с кумулятивным эффектом.

Я полагаю, что произойдет целый ряд событий, ни одно из которых не станет явлением нового порядка. Отличием может быть неспособность к ограничению их напора с тем, чтобы заново восстановить некое равновесие системы. Вопрос здесь сводится к тому, какой степени достигнет такое отсутствие способности к ограничению этого напора?

1) Способность государств к поддержанию внутреннего порядка, возможно, снизится. Уровень поддержания внутреннего порядка всегда

колеблется, и фазы «Б» кондратьевского цикла печально известны как трудные в этом плане периоды; тем не менее, в рамках системы в целом на протяжении последних четырехсот-пятисот лет внутренний порядок неуклонно возрастал. Это явление можно назвать развитием «государственности».

Конечно, за последние сто лет имперские структуры в рамках капиталистической мироэкономики (Великобритания, Австро-Венгрия, а в самое последнее время СССР/Россия) развалились. Однако в данном случае более пристального внимания заслуживает историческое становление государств, организованных их гражданами на развалинах распавшихся империй. К числу таких стран относились Великобритания и Франция, Соединенные Штаты и Финляндия, Бразилия и Индия. Таковы также Ливан и Сомали, Югославия и Чехословакия. Распад, или крах, последней очень отличается от распада «империй».

Существует мнение о том, что развал государственности в периферийной зоне можно не принимать в расчет, поскольку он либо предсказуем, либо с геополитической точки зрения не имеет большого значения. Однако он противоречит магистральной тенденции, причем ослабление порядка сразу в слишком многих странах налагает серьезные ограничения на функционирование межгосударственной системы. Однако самую большую опасность представляет собой перспектива ослабления государственности в зонах центра. И сам факт расстройств либерального институционального компромисса, проявляющийся, как мы показывали выше, в настоящее время, означает развитие этого процесса. На государства обрушивается поток требований обеспечить как безопасность, так и благосостояние граждан, которые они политически не в состоянии удовлетворить. В результате происходит постепенный процесс приватизации как безопасности, так и благосостояния, который ведет нас вспять от того направления, в котором мы двигались на протяжении пятисот лет.

2) Межгосударственная система на протяжении нескольких сотен лет также становилась более упорядоченной и регулируемой — от Вестфальской системы^[20] через Священный Союз^[21] до ООН и входящих в нее государств. Существовало негласное мнение о том, что мы облегчаем свое положение, двигаясь в направлении создания функционального всемирного правительства. Буш в состоянии эйфории провозгласил неизбежность его образования в качестве «нового мирового порядка», и это его заявление было воспринято с изрядной долей цинизма. Угроза «государственности» и угасание реформистского оптимизма, напротив,

расшатала межгосударственную систему, фундамент которой и без того всегда был достаточно шатким.

Распространение ядерного оружия теперь стало неизбежным, оно будет происходить так же быстро, как возрастающая миграция с Юга на Север. Сам по себе этот процесс не катастрофичен. Державам среднего размера, видимо, можно «доверять» не в меньшей мере, чем крупным государствам. На самом деле, они могут обращаться с ним даже более осторожно, поскольку будут больше бояться ответного удара. И, тем не менее, по мере упадка государственности и развития техники будет все труднее сдерживать постепенное наращивание тактического ядерного оружия на местах.

По мере снижения значения идеологии при объяснении межгосударственных конфликтов, «нейтралитет» слабой, основанной на федеративных началах Организации Объединенных Наций станет еще более сомнительным. В такой ситуации способность ООН к «миротворческой» деятельности, существенно ограниченная даже сейчас, скорее всего, станет еще более ограниченной. Призывы к «гуманитарной интервенции» в XXI в. могут рассматриваться как простая разновидность империалистической политики Запада девятнадцатого столетия, которая также искала себе оправдание в цивилизаторской миссии. Можно ли в этих условиях ждать усиления сепаратистских тенденций и многочисленных отделений от формально всеобщих структур (следуя направлению, предложенному Северной Кореей по отношению к МАГАТЭ)? Станем ли мы свидетелями создания соперничающих организаций? Такую возможность нельзя сбрасывать со счетов.

3) Если исходить из предположения о том, что государства (и государственная система) будут становиться все менее эффективными, к кому станут обращаться люди за защитой? Ответ уже известен — к «группам». Эти группы могут быть самыми разными — этническими/религиозными/языковыми, — они могут строиться по признакам пола или сексуальной ориентации, включать в себя разного рода «меньшинства» самых разных параметров, в этом тоже нет ничего нового. Новое здесь заключается в той степени, в которой эти группы будут восприниматься в качестве *альтернативы* для граждан и их вовлеченности в жизнь государства, которое по своему определению включает в себя многочисленные группы (даже если они не равны по значению).

Главная проблема заключается здесь в доверии. Кому мы будем верить в беспорядочном мире, в мире колоссальной экономической неопределенности и огромного неравенства, в мире, где будущее совсем не

гарантировано? Вчера большинство людей верило в государство. Именно этим определяется понятие законности, и даже если люди не верили существующим государствам, они хранили веру, по крайней мере, в те государства, которые, как ожидалось, должны были возникнуть (в результате реформ) в ближайшем будущем! Понятие государства связано с расширением и развитием; понятие группы ассоциируется с защитой и страхом.

В то же время (и в этом заключается сложность положения) эти же самые группы одновременно являются продуктом демократизации, они возникают в связи с ощущением того, что государства оказались несостоятельными, поскольку либеральные реформы были иллюзией, так как «универсальность» государств на практике выражалась в забвении многих представителей низших слоев населения или репрессиях, проводимых против них. Поэтому группы возникли не только из-за усилившегося страха и разочарования, но также в связи с ростом эгалитарного сознания, играющего чрезвычайно важную роль в их сплочении. Трудно себе представить, что в скором будущем их политическая роль снизится. Однако, принимая во внимание противоречивость их структуры (эгалитарной, но направленной на самих членов группы), рост их значения в будущем может происходить весьма хаотично.

4) Как же нам уменьшить угрозу войн между Югом и Югом, как воспрепятствовать распространению конфликтов между одними и другими группами меньшинств на Севере, которые являются своего рода производными такого «группизма»? И кто возьмет на себя моральное право или осмелится на военное вмешательство с целью ослабления этих противоречий? Кто готов вкладывать в это свои средства, если принять в расчет процесс все более усиливающейся и относительно сбалансированной конкуренции Севера с Севером (Японии и Соединенных Штатов с ЕС)? То здесь, то там время от времени будут предприниматься такого рода попытки. Но в большинстве случаев мир будет взирать на происходящее взглядом стороннего наблюдателя, как это было в ходе ирано-иракской войны, как это имеет место в бывшей Югославии или на Кавказе, или даже во многих гетто Соединенных Штатов. Такая позиция станет еще более явственной, если число одновременно происходящих конфликтов Юг-Юг возрастет.

Даже в том случае, если встанет более серьезный вопрос о том, кто будет ограничивать малые войны между Севером и Югом, не просто развязанные, но развязанные намеренно, и не Севером, а Югом в качестве

части долговременной стратегии военной конфронтации? Война в Персидском заливе была началом, а не концом этого процесса. Считается, что войну выиграли Соединенные Штаты. Но какой ценой? За счет демонстрации всему миру своей финансовой зависимости от других при оплате расходов даже на малые войны? За счет постановки крайне ограниченной задачи, гораздо менее масштабной, чем безоговорочная капитуляция? За счет обсуждения Пентагоном будущей мировой военной стратегии «победы, захвата, победы»?

Президент Буш и военные США делали ставку на то, что смогут одержать ограниченную победу без многочисленных потерь (или больших затрат). Их расчет оправдался, но, думается, со стороны Пентагона было бы разумнее не полагаться на удачу дважды. Еще раз замечу, что трудно себе представить, как Соединенные Штаты или даже объединенные вооруженные силы Севера смогли бы справиться с несколькими «кризисами» Персидского залива, случись они одновременно. Учитывая модель развития мироэкономики и направление, в котором будет происходить изменение мировой социальной структуры, которое я прогнозирую на период 2000–2025 гг., кто наберется смелости и станет утверждать, что таких многочисленных и одновременных «кризисов» Персидского залива не произойдет?

5) Последний фактор хаоса, который нельзя недооценивать — новая «черная смерть». Причины повсеместного распространения СПИДа остаются предметом самых противоречивых суждений. Однако это принципиального значения не имеет, поскольку процесс пошел: СПИД привел к оживлению нового смертельного туберкулеза, который теперь будет распространяться независимо. Что на очереди? Распространение этого заболевания не только не противоречит долговременной тенденции развития капиталистической мироэкономики (как не противоречит оно модели развития государственности и укреплению межгосударственной системы), но и вносит свой вклад в дальнейший процесс развала государственности как за счет той нагрузки, которую должно брать на себя государство, так и за счет усугубления атмосферы взаимной нетерпимости. В свою очередь, развал государственности ведет к распространению новых заболеваний.

Суть проблемы состоит в том, что сейчас мы не можем предсказать, какая именно сторона процесса будет более всего затронута повсеместным распространением заболеваний: оно уменьшает количество не только потребителей продуктов питания, но и их производителей. Оно снижает численность потенциальных мигрантов, одновременно увеличивая

потребность в рабочей силе и, соответственно, в миграции. Какой из факторов будет преобладающим в каждом конкретном случае? Мы не узнаем об этом, пока этого не произойдет. Это лишь еще один пример неопределенности исхода бифуркации.

Такова в общих чертах картина второго хронологического периода, приходящегося на вступление в период хаоса. Есть и третий период — исход, новый порядок, который будет создан. Но говорить о нем подробно не имеет смысла, поскольку картина этого исхода в высшей степени неопределенна. Время хаоса представляет собой кажущийся парадокс, поскольку оно наиболее чувствительно к сознательному вмешательству людей. Именно в периоды хаоса, а не во времена относительного порядка (относительно определенного порядка) вмешательство людей приводит к наиболее значительным изменениям.

Есть ли какие-то потенциальные силы, которые могли бы привести в состояние хаоса некое системообразующее конструктивное начало? На мой взгляд, таких сил две. С одной стороны, это те, кто стремится к восстановлению иерархического порядка и привилегий, хранители вечного огня аристократического духа. В их число входят люди, облеченные большой личной властью, но не объединенные в какие-то коллективные структуры — «исполнительный комитет правящих классов» никогда не проводил собраний, они действуют (если не совместно, то в тандеме) в периоды системных кризисов, понимая, что иначе все может выйти из-под контроля. В такие периоды они придерживаются принципа Лампедузы^[22] «Все должно меняться, чтобы ничего не изменилось». Что они придумают и предложат миру, сказать трудно, но я верю в их разум и проницательность. Они смогут предложить миру некую новую историческую систему и подтолкнуть мир к развитию в ее рамках.

С другой стороны, им противостоят сторонники демократии/равенства (я полагаю, что две эти концепции нераздельны). Они возникли в эпоху 1789–1989 гг. в качестве антисистемных движений (три разновидности «старых левых»), и их организационная история была отмечена гигантскими тактическими успехами и столь же гигантским стратегическим поражением. По большому счету, эти движения служили больше для сохранения, чем для свержения системы.

Вопрос заключается в том, возникнет ли в скором времени новая когорта антисистемных движений, которая разработает новую стратегию, достаточно сильную и гибкую для оказания решающего воздействия на развитие в период 2000–2025 гг., чтобы исход его не соответствовал

принципу Лампедузы. Такие движения могут вообще не возникнуть, могут не выжить или не стать достаточно гибкими, чтобы одержать победу.

После завершения периода бифуркации, скажем, в 2050 или 2075 г., мы сможем с уверенностью говорить только о нескольких вещах. Мы не будем больше жить в условиях капиталистической мирозкономики. Вместо этого мы будем развиваться в рамках нового порядка или порядков, некой новой исторической системы или систем. И потому, возможно, снова воцарятся относительный мир, стабильность и законность. Но, будут ли эти мир, стабильность и законность лучше тех, которые мы знали раньше, или они будут хуже? Мы этого не знаем, но это зависит от нас.

Глава 3. На что надеяться Африке? На что надеяться миру?

Гнев и цинизм охватывает [американских] избирателей по мере того, как их покидает надежда.

Нью-Йорк Таймс, 10 октября 1994 г.

Когда мне впервые довелось оказаться в Африке, — а это случилось в Дакаре в 1952 г., — я увидел Африку на самом исходе колониальной эпохи, Африку, где возникали и повсюду пышным цветом расцветали националистические движения. Я увидел Африку, население которой — особенно молодежь, с оптимизмом смотрело в будущее, казавшееся тогда прекрасным. Этих людей переполнял гнев за все обиды, причиненные им колониализмом, они с недоверием относились к обещаниям колониальных держав и к Западу в целом, но свято верили в собственную способность переделать свой мир к лучшему. Больше всего на свете им хотелось освободиться от какой бы то ни было опеки, чтобы принимать собственные политические решения, чтобы самим служить в государственных учреждениях и на равных принимать участие в работе международных организаций.

В 1952 г. не только африканцы испытывали подобные чувства, не только они рассчитывали получить то, что им принадлежало по праву. Стремление к обретению вновь национальной независимости было присуще всем тем странам, которые теперь мы в совокупности называем третьим миром. И те же самые чувства переполняли тогда народы Европы. Всеобщий оптимизм царил повсюду, но, наверное, особенно силен он был в Соединенных Штатах, где никогда раньше жизнь не казалась настолько хорошей.

Сейчас, когда мы переживаем 1994 г., мир выглядит совсем по-другому. Год Африки, отмечавшийся в 1960 г., кажется сейчас чем-то очень далеким. Десятилетия развития под эгидой Организации Объединенных Наций теперь представляются плоской щучкой. В наши словари вошло новое выражение, уже ставшее затертым, африканский пессимизм. В феврале 1994 г. в «*Atlantic Monthly*» была опубликована посвященная Африке статья, вскоре получившая широкую известность. Называлась она «Грядущая анархия», и в подзаголовке к ней было сказано следующее: «Как быстро нищета, преступность, перенаселенность, племенные пережитки и болезни разрушают социальную структуру нашей планеты».

29–30 мая 1994 г. «*Le Monde*» опубликовала на первой странице статью, озаглавленную «Разграбленные музеи Нигерии». Корреспондент газеты начинает публикацию со следующего поразительного сравнения:

Представьте себе наглых воров, которым удалось похитить *Возниче*го из Дельф или *Весну* Боттичелли. От такого события застрекотали бы все телетайпы мира, и на Си-Эн-Эн ему бы уделили, как минимум, 60 секунд в разделе самых главных новостей. В ночь с 18 на 19 апреля 1993 г. несколько неопознанных лиц выкрали из коллекции Национального музея в Ифе в Нигерии двенадцать уникальных экспонатов — десять изваяний человеческих голов из терракоты и две из бронзы, считающихся шедеврами африканской скульптуры. Почти год спустя они так и не были найдены; воры все еще находятся на свободе, и, помимо нескольких специалистов, остальное человечество (не говоря уже о нигерийской публике) даже не подозревает о том, что произошло.

А 23 июня 1994 г. обозреватель «*The London Review of Books*» («Лондонского книжного обозрения») опубликовал рецензию на последнюю книгу Бэзила Дэвидсона. Он отмечал, что хотя Африка для Дэвидсона все еще остается «континентом надежды», даже он в мрачных тонах изображает «несбывшиеся надежды независимости». Автор добавляет, что какие бы «добрые предзнаменования» пути развития Африки ни описывал Дэвидсон, на деле они «весьма проблематичны...». В заключение рецензии ее автор пишет о том, что в книге Дэвидсона: «Многие африканцы, предоставленные произволу власти правительств воров, диктаторов и зарвавшихся освободительных движений — а иногда и всех их вместе, — не найдут для себя утешения».

Вот мы и подошли к сути проблемы. От прекрасных дней 1937 г. (получения Ганой независимости), 1960 г. (когда шестнадцать африканских государств обрели свободу, хотя, не следует забывать о том, что этот год был годом кризиса Конго), и 1963 г. (основания Организации африканского единства) — мы перешли к году 1994-му, когда, если мы вообще что-то узнаем об Африке из мировой прессы, газеты пишут только о том, что в Сомали идут постоянные столкновения между воинственными племенными вождями, в Руанде племена хуту и тутси зверски истребляют друг друга, а Алжир (некогда гордый и героический Алжир) стал страной, где бандиты из исламистских группировок режут глотки интеллигенции. Хотя, надо сказать, была и еще одна замечательная новость: Южная Африка сделала неожиданно мирный шаг от апартеида к государству, все жители которого получили право участия в голосовании. Все мы, затаив дыхание, празднуем это событие в надежде на то, что Южная Африка не собьется с избранного пути.

Что же произошло за эти тридцать лет, если о некогда полном надежд континенте иностранцы (как и многие африканские представители интеллигенции) стали писать в почти таких же отрицательных выражениях, какие использовались в дискурсе XIX столетия? Сразу же должен остановиться на двух моментах. Первый состоит в том, что отрицательные геокультурные описания Африки — не новость; они представляют собой возврат к тем взглядам на этот континент, которые господствовали в Европе на протяжении, по крайней мере, последних пяти столетий, то есть, в период исторического развития современной миросистемы. Оптимистические, положительные высказывания, характерные для 1950-х и 1960-х гг., были исключительными и, как мне представляется, недолговечными. Второе обстоятельство, на котором мне хотелось бы остановиться, заключается в том, что изменения, произошедшие в период между 1960-ми и 1990-ми гг., касаются не столько Африки, сколько миросистемы в целом. Мы не сможем дать серьезную оценку нынешнему положению или перспективам возможного развития Африки, если предварительно не проанализируем те сдвиги, которые на протяжении последних пятидесяти лет происходили в системе в целом.

Поражение держав «оси» в 1945 г. обозначило завершение длительной борьбы — в некотором роде «тридцатилетней войны» — между Германией и Соединенными Штатами за то, чтобы стать преемником господствующей державы после упадка Соединенного королевства, начавшегося в 1870-е гг. Колониальные захваты в Африке, так называемая борьба за передел мира, были побочным продуктом межгосударственного соперничества,

доминировавшего на мировой арене после того, как Великобритания утратила способность единолично определять правила мирового порядка и международной торговли.

Соединенные Штаты, как мы знаем, выиграли эту тридцатилетнюю войну на условиях «безоговорочной капитуляции», и в 1945 г. были единственной державой миросистемы с колоссальным производственным механизмом — в то время не только наиболее эффективным, но единственным, оставшимся в рабочем состоянии (не затронутым разрушениями военного времени). История последующей четверти века сводилась к упрочению господствующей роли Соединенных Штатов при помощи соответствующих мер в трех географических регионах мира, как стали их именовать в Соединенных Штатах — советской сфере влияния, на Западе и в третьем мире.

Если в области экономики Соединенные Штаты, несомненно, далеко превосходили своих самых близких конкурентов, то в военном отношении это было не так, поскольку второй сверхдержавой здесь оставался СССР (хотя, нельзя не отметить, он ни в коей мере не мог сравниться с могуществом Соединенных Штатов). Отстаивая марксистско-ленинские позиции, СССР противостоял доминировавшей либеральной доктрине Вильсона.

Тем не менее, на идеологическом уровне марксизм-ленинизм представлял собой скорее одну из разновидностей вильсонианского либерализма, чем его подлинную альтернативу. По сути дела, обе идеологии разделяли основные представления о геокультуре. Сходство их выражалось, как минимум, в шести основных программных подходах и позициях, хотя нередко это единство их взглядов отражалось в немного отличавшихся друг от друга формулировках: (1) они отстаивали принцип самоопределения наций; (2) они выступали за экономическое развитие всех государств, подразумевая под этим урбанизацию, коммерциализацию, пролетаризацию и индустриализацию, которые в итоге должны были бы привести к процветанию и равенству; (3) они заявляли о своей вере в наличие универсальных ценностей, в равной степени применимых ко всем народам; (4) они подчеркивали ценность научного знания (особенно в его ньютоновской форме) как единственной разумной основы технического прогресса; (5) они верили в то, что прогресс человечества неизбежен и желателен, и для развития этого прогресса необходимо сильное, стабильное, централизованное государство; (6) они заявляли о приверженности к народовластию — демократии, — но определяли демократию как ситуацию, при которой специалистам в области

проведения разумных реформ на деле позволялось принимать основные политические решения.

Уровень подсознательного идеологического согласия в огромной степени облегчил раздел власти в мире на основе ялтинских соглашений, которые, в сущности, сводились к трем основным положениям: (а) СССР на деле получал власть на *chasse garde*^[23] в Восточной Европе (а в силу более поздних поправок в разделенных Корее и Китае), при том условии, что его реальные (в противоположность риторическим) притязания будут ограничиваться только этой зоной; (б) обе стороны гарантировали недопущение никаких военных действий в Европе; (в) обе стороны не имели и не могли иметь право на подавление групп, находившихся в радикальной оппозиции существующему геополитическому порядку («левых» в американской зоне; «искателей приключений» и «националистов» — в советской зоне). Это соглашение отнюдь не исключало и не препятствовало ведению идеологической борьбы, даже в тех случаях, когда она сопровождалась большой пропагандистской шумихой. Наоборот, оно ее предполагало и даже поощряло. Но эта идеологическая борьба должна была вестись в строго ограниченных рамках, не допускавших полномасштабного военного вмешательства той или иной великой державы в дела той зоны, на которую ее влияние не распространялось. Еще одно условие перехода союзников военного времени к «раздельному жительству по закону» состояло в том, что СССР не должен был рассчитывать на какую бы то ни было послевоенную экономическую помощь со стороны Соединенных Штатов на нужды восстановления. Он сам должен был решать свои проблемы.

Мы не намерены рассматривать здесь историю холодной войны. Достаточно отметить, что в период между 1945 и 1989 гг. эти соглашения (в данной выше трактовке) в основном неукоснительно соблюдались. Каждый раз, когда выполнению их условий угрожала опасность со стороны внешних по отношению к двум сверхдержавам сил, им удавалось сдерживать эти силы и возобновлять свой негласный договор. Следствия такого положения для Африки были очень простыми. К концу 1950-х гг., как СССР, так и Соединенные Штаты формально выступали за деколонизацию, что определялось их теоретической приверженностью к всеобщим ценностям. Чтобы доказать преданность этой позиции, они нередко на практике оказывали политическую и финансовую поддержку (причем зачастую открыто) различным политическим движениям в отдельных странах. На деле, однако, Африка входила в сферу влияния США, находясь за пределами советской зоны влияния. Поэтому СССР

всегда жестко ограничивал собственное участие в происходивших там процессах, о чем свидетельствует кризис в Конго в 1960–1965 гг. и попытки дестабилизации положения в южной Африке в период после 1975 г. В любом случае, африканские освободительные движения сначала сами должны были выжить, чтобы только потом получить хотя бы моральную поддержку СССР, и тем более, Соединенных Штатов.

Политика Соединенных Штатов по отношению к их наиболее важным союзникам на международной арене — Западной Европе и Японии — была достаточно прямолинейной. Они стремились оказывать им большую помощь в деле экономического восстановления (главным образом, в рамках плана Маршалла). Для Соединенных Штатов эта поддержка была чрезвычайно важна как в экономическом, так и в политическом отношении. В экономическом плане это нетрудно понять. Не было никакого смысла создавать наиболее эффективный механизм мировой экономической системы, если отсутствовали покупатели производимой ею продукции. Экономически возрожденные Западная Европа и Япония были необходимы предприятиям США как главные рынки сбыта их продукции. Никакие другие регионы мира в послевоенный период не могли играть эту роль. В политическом плане две системы союзов — НАТО и американо-японский оборонительный договор — гарантировали Соединенным Штатам два важнейших дополнительных элемента той структуры, которую они стремились создать для поддержания мирового порядка: военные базы по всему миру, а также гарантированных и сильных политических союзников (на протяжении долгого времени являвшихся скорее клиентами, чем союзниками) на геополитической арене.

Очевидно, что такая структура союзов имела свои последствия для Африки. Западноевропейские государства были не только главными союзниками Соединенных Штатов, но и основными колониальными державами в Африке. Колониальные державы враждебно относились к какому бы то ни было участию США в вопросах, рассматривавшихся ими как их «внутренние дела». Поэтому Соединенные Штаты очень внимательно относились к тому, чтобы не обидеть своих союзников, особенно в период 1945–1960 гг., когда правительство США еще в основном разделяло позицию колониальных правительств относительно того, что поспешное проведение деколонизации опасно. Тем не менее, африканские освободительные движения смогли ускорить развитие этого процесса. И к 1960 г. «волна освободительного движения в Африке» уже наполовину смыла колониальные режимы. Поворотным пунктом этого процесса стал 1960 г., поскольку «волна освободительного движения»

докатилась теперь до Конго — зоны стойкого политического и экономического сопротивления процессу деколонизации, центра сосредоточения поселенцев и добывающей промышленности в южной Африке. Разразился так называемый кризис Конго. Через год возникли две (точнее говоря, две с половиной) противоборствующие силы не только в самом Конго, но и среди независимых африканских государств, а также во всем мире. Все мы знаем, каков был исход событий. Лумумба был убит, против его сторонников начались репрессии. Борьба за отделение провинции Катанга во главе с Чомбе также была подавлена. Президентом Заира стал полковник Мобуту; он там правит и сейчас. Кризис в Конго привел к изменению геополитического подхода Соединенных Штатов к Африке. Он подтолкнул Соединенные Штаты к тому, чтобы в дальнейшем напрямую проводить свою политику в Африке, более не считаясь в важных вопросах с мнением (бывших) колониальных держав.

Соединенные Штаты рассчитывали на то, что после 1945 г. колониальные страны (и в целом весь «неевропейский» мир) будут неторопливо и плавно осуществлять политические преобразования, в результате которых к власти там придут так называемые умеренные руководители националистической ориентации, и они будут продолжать проводить в жизнь и все активнее действовать, отстаивая курс на вовлечение своих стран в структуру товарных связей капиталистической мирозкономики. Официальная позиция СССР сводилась к поддержке прихода к власти прогрессивных сил «социалистической ориентации». На деле же, как мы уже говорили, СССР без особого энтузиазма относился к поддержке этих сил, о чем свидетельствует его совет китайской коммунистической партии в 1945 г. продвигаться вперед не торопясь, долгие проволочки с оказанием помощи движению за независимость Алжира, и равнодушное отношение к поддержке, которую кубинская коммунистическая партия оказывала Батисте вплоть до 1959 г.

Однако ни Соединенные Штаты, ни СССР никак не ожидали в то время такого накала национально-освободительного движения в неевропейских регионах мира. Следует отметить, что в те годы были подавлены все попытки выступлений радикальных националистов — в Малайе, на Филиппинах и в Иране; на Мадагаскаре, в Кении и Камеруне; во многих странах Америки. Но даже если эти выступления и были подавлены, они, тем не менее, вносили свой вклад в процесс деколонизации.

А в четырех странах разгорелись чрезвычайно сильные и в итоге победоносные освободительные войны, имевшие особое значение. Этими

странами были Китай, Вьетнам, Алжир и Куба. В каждом из четырех случаев освободительные движения отказались принять те правила игры, которые навязывали им Соединенные Штаты с негласного одобрения СССР.

Детали развития каждого из этих движений были различны в силу географических и исторических отличий, а также за счет неодинаковой структуры внутренних общественных сил. Но всем четырем движениям были присущи следующие общие черты: (1) тем ожесточением, с которым отстаивали свою политическую независимость, они заставили великие державы смириться со своим приходом к власти; (2) они провозгласили курс на модернизацию и национальное развитие; (3) они стремились к завоеванию государственной власти как к необходимому условию для проведения социальных преобразований, а придя к власти, пытались получить полную поддержку населения для упрочения позиций того сильного государства, которое хотели создать; (4) они были совершенно уверены в том, что их действия были продиктованы неизбежностью хода исторического развития.

К 1965 г. казалось, что дух Бандунга овладел миром. Движения национального освобождения повсеместно пришли к власти, за исключением Южной Африки, но там тоже началась вооруженная борьба. Положение складывалось достаточно странное. Казалось, Соединенные Штаты никогда раньше не контролировали в такой степени положение, никогда раньше их собственные позиции не были так сильны. Но и антисистемные движения никогда раньше не были настолько сильны. Складывалось впечатление, что наступило затишье перед бурей. Сначала предупредительные сигналы стали поступать из Африки. В 1965 г. пали некоторые символические фигуры, принадлежавшие к так называемой группе Касабланки, в состав которой входили наиболее «воинственные» государства; это были главы этих государств — Нкрума в Гане и Бен Белла в Алжире. В том же самом году белые жители Родезии провозгласили Одностороннюю декларацию независимости. А Соединенным Штатам в тот год преподавал свой первый урок Вьетнам. В 1966 г. началась китайская культурная революция. На подходе уже маячил самый важный год — 1968-й.

В самом начале 1968 г. наступление *Тет*^[24] стало свидетельством неспособности Соединенных Штатов выиграть войну во Вьетнаме. В феврале был убит Мартин Лютер Кинг — младший. А в апреле началась всемирная революция 1968 г. На протяжении трех лет она проходила повсеместно — в Северной Америке, в Европе и Японии; в

коммунистическом мире; в Латинской Америке, Африке и Южной Азии. Конечно, ее проявления на местах очень отличались друг от друга. Но всем этим многочисленным движениям были присущи две общие черты, сделавшие эту революцию событием мирового значения. Первая состояла в неприятии господства США (символически это выражалось в оппозиции к их действиям во Вьетнаме) и тайному советскому сговору с Соединенными Штатами (что проявлялось в теме «двух сверхдержав»). Вторая заключалась в глубоком разочаровании так называемыми старыми левыми во всех их трех разновидностях: социал-демократических партиях Запада; коммунистических партиях; и национально-освободительных движениях в третьем мире. Революционеры 1968 г. считали, что старые левые недостаточно и неэффективно антисистемны. И действительно, складывалось впечатление, что главным злом для революционеров 1968 г., даже более страшным, чем Соединенные Штаты, были старые левые.

Всемирная революция 1968 г. — как политическое событие — быстро вспыхнула и быстро погасла. К 1970 г. от нее остались только тлеющие угольки — в основном в форме маоистских группировок. К 1975 г. от нее не осталось даже этих угольков. Тем не менее, воздействие ее продолжалось значительно дольше. Оно низвергло с пьедестала реформистский центристский либерализм как господствующую идеологию геокультуры, принизив его роль до одной из многих конкурирующих идеологических доктрин с сильными соперниками как в левой, так и в правой частях идеологического спектра. Оно повсюду заронило в людях сомнения в роли государства как основного орудия социальных преобразований. И оно разрушило оптимизм в отношении неизбежности прогресса, особенно когда последнее воплощение этого оптимизма — ее собственная ослепительная траектория — угасла, не успев разгореться. Настроение изменилось.

События 1968 г. происходили как раз в тот момент, когда мироэкономика вступила в период экономического спада фазы «Б» кондратьевского цикла, который продолжается и теперь. Снова, как это неоднократно случалось в истории капиталистической мироэкономики, высокий уровень прибыли ведущих секторов подошел к концу, прежде всего потому, что относительная монополия нескольких компаний была подорвана напористым выходом на рынок новых производителей, привлеченных высоким уровнем прибыли, и, как правило, поддерживаемых правительствами полупериферийных государств. Резкое снижение мировых показателей прибыли от производственной деятельности выразилось, как можно было предположить, в снижении

уровня производства и росте безработицы в ведущих секторах экономики. Вследствие этого уменьшились объемы импортных поставок сырья из периферийных зон; продолжился процесс перемещения производства в полупериферийные зоны с целью снизить затраты на рабочую силу; ведущие государства мира вступили в острую конкурентную борьбу, стремясь переложить друг на друга отрицательные последствия этого процесса. Кроме того, значительные изменения произошли в политике инвесторов, которые стали стремиться получать прибыль не от производственной, а от финансовой (спекулятивной) деятельности.

Двумя основными событиями данной фазы «Б» кондратьевского цикла, которые привлекли внимание мира к экономическому застою (но ни в коей мере не явились его причиной), были увеличение цен на нефть странами ОПЕК в 1970-х гг. и долговой кризис 1980-х. Оба эти события, естественно, имели особенно тяжелые последствия для Юга в целом, и не в последнюю очередь для Африки. Более подробное их рассмотрение заслуживает внимания с точки зрения политических и экономических механизмов регулирования.

В 1973 г. Организация стран-экспортеров нефти, или ОПЕК, — группа, которая на протяжении более десяти лет вела слабо активное и мало заметное существование, — внезапно объявила о невероятном повышении цен на нефть. При рассмотрении этого события заслуживают внимания несколько обстоятельств. На протяжении всей фазы «А» кондратьевского цикла, когда производство развивалось, цены на нефть оставались на чрезвычайно низком уровне. И именно в тот момент, когда мироэкономика начала входить в полосу трудностей, когда производители стали повсюду искать возможность сбыта своих товаров на более узком рынке либо за счет снижения цен, либо за счет снижения расходов, производители нефти подняли свои цены, причем весьма значительно. Следствием этого, естественно, явилось повышение производственных затрат во всем мире почти на все производственные процессы, поскольку нефть либо прямо, либо косвенно необходима для производства практически любой продукции.

Что лежало в основе этих действий? Можно было бы говорить о том, что они были задуманы как корпоративная акция стран-экспортеров нефти, стремившихся извлечь преимущества над экономически слабеющим Западным миром с целью изменения структуры распределения мировой прибавочной стоимости в свою пользу. Такой подход мог бы объяснить, почему члены ОПЕК, в чьих странах в то время у власти находились радикальные правительства, такие как Алжир или Ирак, подталкивали

других к такому шагу. Но почему же тогда два наиболее близких союзника Соединенных Штатов в нефтедобывающих регионах — Саудовская Аравия и Иран (шахский Иран) — не только пошли у них на поводу, но на самом деле стояли во главе в процессе принятия странами ОПЕК решения о совместном повышении цен на нефть? И если такое решение имело целью изменение распределения мировой прибавочной стоимости, как могло случиться, что непосредственным результатом этой акции стало увеличение доли мировой прибавочной стоимости в руках корпораций США?

Давайте разберемся в том, что происходит, когда цены на нефть повышаются внезапно и значительно. Поскольку быстро снизить потребности в нефти достаточно трудно, происходит следующее. Доходы производителей нефти поднимаются быстро, даже очень быстро. Причем, несмотря на то, что нефти продается меньше, так как она сильно подорожала. Снижение объемов продаваемой нефти означает снижение текущего мирового производства; это, тем не менее, явление положительное, если принять в расчет то обстоятельство, что в 1960-е гг. в ведущих в то время секторах экономики имело место перепроизводство. Таким образом, сложившееся положение стало убедительным предлогом для увольнения промышленных рабочих.

Для стран периферийной зоны, не добывающих нефть, — например, для большинства африканских государств — подъем цен на нефть стал очень сильным ударом. Цены на импорт нефти возросли. Цены на импортные промышленные продукты, в процессе производства которых нефть играла не последнюю роль — а в их число, как мы отмечали выше, входили почти все товары, — тоже поднялись. Причем это произошло в то время, когда объем и нередко цена за единицу экспортных товаров снизились. Конечно, африканские страны (за несколькими исключениями) оказались в положении серьезного балансового дефицита. Уровень жизни населения снизился, качество услуг государственного сектора ухудшилось. Жители этих стран никак не могли довольствоваться таким результатом достижения независимости, за которую они успешно боролись около десяти лет тому назад: они выступили против тех самых движений, которые раньше так горячо поддерживали, особенно когда их руководство погрязло в роскоши и коррупции.

Очевидно, что рост цен на нефть имел место не только в Африке; они поднялись повсюду, включая Соединенные Штаты. Он стал частью продолжительного инфляционного процесса, возникшего в силу целого ряда других причин. Сам по себе подъем цен на нефть (являвшийся не

причиной, а следствием стагнации мировой экономики), привел к созданию огромной воронки, засасывавшей в свою кассу огромную долю мировой прибавочной стоимости. Что происходило с этим доходом? Часть его оставалась в странах-производителях нефти в качестве ренты, которая давала возможность ничтожному меньшинству их населения расходовать огромные суммы на предметы роскоши. Кроме того, на непродолжительный период это позволило повысить уровень дохода более широким слоям граждан этих стран. Это также позволило этим государствам улучшить свою инфраструктуру и проводить крупномасштабные закупки вооружения. Последнее было для них гораздо менее полезно, чем первое, поскольку со временем привело к потере огромного числа жизней и накопленного капитала в ходе ирано-иракской войны в 1980-е гг. Однако оба типа расходов — на инфраструктуру и на закупку вооружений — помогли странам Севера отчасти решить их экономические проблемы за счет экспорта товаров.

Тем не менее, расходы стран-производителей нефти составили лишь часть дохода от роста цен на нефть. Другая его значительная доля была получена «семьей сестрами», то есть западными нефтяными корпорациями, которые уже не контролировали добычу нефти, но сохранили контроль над процессом переработки и распределения нефти во всем мире. Что же они, в свою очередь, сделали с той колоссальной прибылью, которая так неожиданно на них обрушилась? В связи с отсутствием возможности достаточно прибыльно инвестировать эти средства в развитие производства, они вложили значительную их долю в мировые финансовые рынки, тем самым стимулировав невероятное развитие спекуляции на валютных операциях на протяжении последних двух десятилетий.

Вся эта деятельность не истощила запасы накопленной мировой прибавочной стоимости. Оставшаяся ее часть была положена на банковские счета, прежде всего, в Соединенных Штатах, а также в Западной Европе. Банковская прибыль получается за счет банковских ссуд тех денег, которые вложены в банки. И теперь банки получили на хранение огромные дополнительные суммы вкладов, причем в то время, когда развитие новых производственных предприятий замедлилось по сравнению с фазой «А» цикла по Кондратьеву. Кому могли банки одалживать деньги? Ответ очевиден: правительствам, испытывавшим трудности с балансовыми платежами, то есть почти всем африканским государствам, значительной части государств Латинской Америки и Азии, а также почти всем странам так называемого социалистического блока (от Польши и Румынии до СССР и Северной Кореи). В середине 1970-х гг. мировые банки навязывали займы

этим правительствам, которые воспользовались представившейся возможностью сбалансировать свои счета и тем самым в какой-то степени уменьшить политическое давление на своих недовольных рядовых граждан. Аналогичные займы были предоставлены даже государствам-производителям нефти, которым не надо было балансировать счета, но которые стремились быстро потратить деньги на то, что они правильно (и неправильно) рассматривали как «развитие». В свою очередь, эти займы помогли странам Запада, дав возможность остальным государствам мира продолжать закупки их экспортных товаров.

Положение, сложившееся в западных странах, требует скрупулезного анализа. Существуют три различных подхода к оценке того, что же произошло в 1970-е гг. и продолжалось в 1980-е. Во-первых, можно рассматривать развитие государств в глобальном масштабе. В глобальном масштабе показатели их экономического роста существенно снизились по сравнению с фазой «А» кондратьевского цикла, который продолжался с 1945 до приблизительно 1970 гг., хотя в абсолютном выражении они, конечно, продолжали увеличиваться. Во-вторых, их можно оценивать по отношению друг к другу. Здесь следует отметить, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов (и то начальное преимущество, которое они получили от решения ОПЕК, учитывая тот факт, что они к меньшей степени зависели от импорта нефти, чем Западная Европа и Япония), экономические позиции США по сравнению с Западной Европой, и особенно с Японией, снизились по всем показателям, несмотря на постоянные краткосрочные повороты судьбы.

В-третьих, можно оценивать положение в странах Запада с позиций внутреннего распределения прибавочной стоимости. Если на протяжении фазы «А» кондратьевского цикла можно было говорить о том, что в целом доход населения повышался, и разрыв между богатыми и бедными немного сократился, то в ходе фазы «Б» скорее происходило значительное усиление внутренней поляризации доходов. Небольшая часть населения, наконец, процветала на протяжении достаточно долгого времени; мы даже придумали для них название — яппи^[25]. Но если не учитывать эту небольшую группу молодых профессионалов, сумевших сделать карьеру, основная часть населения беднела, многие представители средних слоев потеряли этот статус, у большинства из них существенно снизились реальные доходы. Такая внутренняя поляризация стала особенно заметной в Соединенных Штатах и Великобритании, однако она также имела место в странах континентальной Западной Европы и даже в Японии.

Здесь следует более подробно остановиться на положении,

сложившемся в Восточной Азии, особенно потому, что в глазах многих африканцев оно неизменно служило образцом успешного развития. Когда мироэкономика вступает в период застоя, уровень прибыли снижается как в целом, так и от производственной деятельности, в частности, какой-то один географический регион, который раньше отнюдь не входил в число районов мира, получавших наибольшую прибыль, вдруг начинает процветать. Именно туда из многих развитых стран переносятся производственные процессы, и трудности, которые переживает мироэкономика в целом, идут ему во благо. С 1970-х гг. таким регионом стала в первую очередь Восточная Азия — Япония, потом непосредственную выгоду от этого процесса получили так называемые «четыре дракона», а позже (в самое последнее время) — еще ряд стран Юго-Восточной Азии. Подробное обсуждение вопроса о том, каким образом Восточная Азия смогла занять такое положение, не входит в задачу данной работы, мы сделаем в этой связи лишь два замечания. Ключевую роль в этом процессе, сыграла поддержка государством создания необходимой экономической структуры и государственный протекционизм внутренних рынков этих стран. Кроме того, ни у одного другого региона мира в то время не было шансов одновременно достичь таких же экономических результатов. Вполне возможно, что это место мог бы занять какой-то другой регион, но этот второй регион и Восточная Азия вместе достичь такого положения не могли никак. Поэтому в ближайшем будущем Восточная Азия никак не может служить Африке образцом для подражания.

Я уделил так много внимания вопросу о подъеме цен странами ОПЕК не потому, что он явился главной причиной экономических бедствий. Это совсем не так; рост цен на нефть был лишь одним из привходящих процессов, на которые оказал влияние застой в мироэкономике. Но он проявился очень отчетливо, и детальное рассмотрение этого механизма делает более понятным весь происходивший процесс. Кроме того, это помогает лучше понять события 1980-х гг., когда мир уже стал забывать о ценах на нефть по мере того, как они пошли на спад, хотя, конечно, не достигли уровня 1950-х гг. В 1980-е гг. для многих государств настало время выплачивать долги. Займы помогают решить проблему платежных балансов в настоящем, чтобы вновь прибегнуть к ним в будущем, когда расходы на покрытие выплаты долга будут расти в процентном отношении к национальному доходу. Десятилетие 1980-х гг. началось с так называемого долгового кризиса, а завершилось так называемым крахом коммунистических режимов. Нельзя сказать, что эти события никак между собой не связаны.

Термин «долговой кризис» возник в 1982 г., когда нефтедобывающая страна Мексика заявила о том, что больше не в состоянии выплачивать долги и хочет пересмотреть вопрос о своей задолженности. На самом деле, впервые долговой кризис проявился в 1980 г. в Польше, которая взяла много займов в 1970-е гг., когда правительство Терека, столкнувшись с серьезными проблемами в области выплаты долга, в качестве частичного решения проблемы решило понизить зарплату. В результате возникла «Солидарность». Польское коммунистическое правительство попало в трудное положение, поскольку стало применять в этой ситуации рекомендации МВФ, несмотря на то, что МВФ к ней с такой просьбой не обращался. Всем странам, оказавшимся в аналогичном положении (не в последнюю очередь, африканским), МВФ рекомендовал проводить снижение расходов (уменьшение импорта и сокращение выплат по пособиям социального обеспечения) и увеличивать экспорт (при сохранении низких зарплат или их снижении за счет переориентации производства с продуктов внутреннего пользования на любые товары, которые можно было сразу же продать на мировом рынке). Средством нажима, применявшимся МВФ для проведения в жизнь его малоприятных советов, была приостановка краткосрочной помощи всеми правительствами Запада в том случае, если данное государство отказывалось проводить навязываемую МВФ политику; из-за этого (в условиях долгового кризиса) возникала вероятность государственной неплатежеспособности. Одна за другой африканские страны должны были подчиняться этому нажиму, хотя ни одной из них не удалось с таким успехом выплатить большой государственный долг, с каким в 1980-х гг. выплатила его Румыния Чаушеску, к великой радости МВФ и великому недовольству румынского народа.

«Долговой кризис» в Африке нашел свое отражение во многих тяжелых, проявлениях: голоде, безработице, значительном ухудшении инфраструктуры, гражданских войнах и развале государственных структур. На юге Африки возникшие трудности сопровождались дестабилизацией режима апартеида в ЮАР, доживавшего последние дни в борьбе с давно уже охватившим континент освободительным движением, — которое достигло Йоханнесбурга лишь в 1994 г. Тем не менее, мы не сможем дать верную оценку трудностям, с которыми столкнулась Африка в 1980-х гг., если будем рассматривать сложившееся там положение в отрыве от более масштабных проблем мироэкономики в целом. Долговой кризис, конечно, имел место и в других регионах мира, причем с точки зрения абсолютной величины задолженности, он особенно сильно проявился в Латинской

Америке. Долговой кризис третьего мира (и социалистического блока) означал прекращение предоставления новых займов этим странам. И действительно, было совершенно очевидно, что поток денег в 1980-е гг. был направлен с Юга на Север, но никак не в обратном направлении.

Тем не менее, проблема прибыльного размещения прибавочной стоимости отнюдь не исчезла в связи с отсутствием достаточно выгодных производственных возможностей для вложения капитала. Крах заемщиков в 1970-е гг. (включая африканские государства), вне всякого сомнения, был проблемой самих заемщиков, но вместе с тем он создавал серьезные проблемы для кредиторов, которым были нужны деньги, чтобы одалживать их другим заемщикам. В 1980-е гг. они нашли двух новых вполне серьезных заемщиков: крупнейшие корпоративные предприятия мира и правительство Соединенных Штатов.

Период 1980-х гг. запомнится в корпоративном мире как время высокодоходных, но ненадежных облигаций и поглощения одних корпораций другими. Что же тогда происходило? По сути дела, огромные деньги были вложены в приобретение корпораций, главным образом для того, чтобы переделать их структуру, продать прибыльные предприятия, а остальные их подразделения расформировать (уволив в ходе этого процесса рабочих). В итоге производство не увеличилось вообще, но зато невероятно возросли долги за купленные корпорации. Следствием этого стало банкротство многих промышленных корпораций и банков. Если они были достаточно крупными, когда становилось ясно, что банкротства избежать нельзя, вмешивались государства и «спасали их», чтобы избежать отрицательных политических и финансовых последствий. В результате этого процесса, как, например, в случае со скандалом ссудо-сберегательных ассоциаций в Соединенных Штатах, дельцы, воротившие операциями с ненадежными облигациями, на этом сильно нагрели руки, а расплачиваться за это пришлось американским налогоплательщикам.

К огромному счету, образовавшемуся из корпоративных долгов, как это имело место в Соединенных Штатах, прибавился огромный долг военного кейнсианства. Период пребывания у власти Рейгана вразрез с его собственными широковещательными заявлениями, означал активное усиление государственного вмешательства в экономику Соединенных Штатов и привел к значительному увеличению численности бюрократии. В экономическом плане при Рейгане был сокращен уровень федерального налогообложения для наиболее богатой части населения (что привело к дальнейшему росту внутренней поляризации) при одновременном значительном увеличении военных расходов (что в какой-то степени

сократило уровень безработицы). Но в 1980-е гг. Соединенные Штаты в результате многочисленных займов стали испытывать на себе те же самые проблемы, что и погрязший в долгах третий мир. Тем не менее, здесь было одно существенное отличие: МВФ не мог навязать Соединенным Штатам ту политику, проведение которой он рекомендовал другим странам. А сами Соединенные Штаты не хотели ее себе навязывать по политическим причинам. И в ходе этого процесса экономическое положение Соединенных Штатов по сравнению с их наиболее сильными конкурентами (Западной Европой и Японией) постоянно ослабевало как раз в силу военной направленности американских инвестиций.

И именно в это время в дело вмешался так называемый крах коммунистических режимов. Мы уже отмечали, что начало этого процесса, связанное с образованием «Солидарности» в Польше, стало прямым результатом долгового кризиса. По сути дела, социалистические страны столкнулись с теми же самыми отрицательными последствиями застоя мировой экономики, что и африканские государства: снижением впечатляющего уровня экономического роста на протяжении фазы «А» кондратьевского цикла; упадком реального уровня жизни если не в 1970-е, то в 1980-е гг.; ухудшением инфраструктуры; снижением качества государственных услуг; и, главным образом, разочарованием в стоящих у власти режимах. Проявлением этого разочарования в политическом плане стали политические репрессии, но суть его состояла в невыполненных обещаниях «развития».

В случае СССР общие проблемы, с которыми столкнулись все социалистические страны, осложнились противоречивостью ялтинских соглашений. Ялтинские соглашения, как мы уже отмечали, были очень точной договоренностью. Они допускали риторическую борьбу относительно отдаленного будущего, но в том, что касалось настоящего, устанавливали полную определенность, это условие сторонам надлежало неукоснительно соблюдать. Для этого обе стороны должны были быть достаточно сильными, чтобы контролировать все зависимые от них государства и своих союзников. Способность к этому СССР теперь была подорвана экономическими трудностями, возникшими в 1980-х гг., а также, конечно, ослаблением идеологических позиций, начавшимся в 1956 г. после XX съезда партии. Его проблемы еще более обострились в связи с военным кейнсианством Соединенных Штатов, усилившим нажим на СССР в плане необходимости увеличения военных расходов при все более явственном недостатке средств. Тем не менее, самой большой проблемой для СССР была не военная мощь США, а усиливавшееся военное и политическое

ослабление Соединенных Штатов. Отношения между Соединенными Штатами и СССР были подобны туго скрученной резиновой ленте. При ослаблении напряжения сжатия Соединенными Штатами исчезало сцепление этого тандема. В результате Горбачев стал отчаянно стремиться к изменению сложившегося положения за счет прекращения холодной войны, ослабления вовлеченности в дела стран Восточной Европы и внутренней перестройки СССР. Выполнение этих задач оказалось невозможным — по крайней мере, третьей из них, — и СССР прекратил свое существование.

Крах СССР создал огромные, может быть даже непреодолимые трудности для Соединенных Штатов. Он свел на нет остатки одного лишь политического контроля Соединенных Штатов над их теперь значительно усилившимися экономическими соперниками — Западной Европой и Японией. Хотя долг США перестал возрастать в связи с окончанием политики военного кейнсианства, вследствие новой ситуации возникла новая острая проблема отсутствия возможностей для загрузки производственных мощностей, которую Соединенные Штаты не могут полностью решить и по сей день. И в идеологическом плане крах марксизма-ленинизма окончательно подорвал веру в то, что проводимые государством преобразования могут существенно улучшить экономическое развитие периферийной и полупериферийной зон капиталистической мирэкономике. Вот почему в других своих работах я доказываю, что так называемый крах коммунистических режимов на самом деле был крахом либерализма как идеологии. Однако либерализм в качестве господствующей идеологии геокультуры (подточенной еще в 1968 г. и смертельно раненной событиями 1989 г. составлял основу миросистемы, являясь основным инструментом с помощью которого «усмирялись» «опасные классы» (сначала рабочий класс европейских стран в XIX столетии, потом народы стран третьего мира — в XX). Без веры в действенность национального освобождения, замешанной на идеологии марксизма-ленинизма, у народов третьего мира не остается оснований быть терпеливыми, и долго хранить терпение они не станут.

В заключение следует отметить, что экономические последствия окончания курса на военное кейнсианство стали очень плохой новостью для Японии и Восточной Азии. Их экспансия в 1980-е гг. в значительной степени развивалась как за счет того, что они могли одалживать деньги правительству США, так и благодаря возможности их участия в процессе слияния корпораций, который теперь резко пошел на убыль. Поэтому восточно-азиатское чудо, все еще продолжающее оставаться реальным,

если рассматривать его в сравнении с процессами, происходящими в Соединенных Штатах, в абсолютном выражении переживает серьезнее трудности.

В странах Африки (а также Латинской Америки и Восточной Европы) эти глубокие сдвиги конца 1980-х гг. поставили на повестку дня две основные проблемы: рынок и демократизацию. Перед тем, как перейти к обсуждению вопросов, связанных с будущим, следует остановиться на этих проблемах подробнее. Популярность идеи «рынка» как организационной панацеи представляет собой противопоставление идее организующего начала «государства», вера в которую оказалась подорванной. Суть вопроса состоит в том, что идея рынка несет в себе два различных начала. Для некоторых, особенно для более молодых представителей правящей элиты из среды бывших бюрократов и/или социалистических, политиков, она сравнима с воплем, раздававшимся во Франции накануне 1848 г.: «Messieurs, enrichissez-vous!»^[26] И, как свидетельствует опыт последних пятисот лет или около того, для какой-то новой группы всегда есть возможность превратиться в нуворишей.

Но для большей части населения переход к «рынку» не означает вообще никаких изменений в стоящих перед ними целях. За последние десять лет люди в Африке (и во всех других частях света) обратились к «рынку» в силу тех же самых причин, по которым раньше они обращались к «государству». Они точно так же стремятся найти тот призрачный заветный золотой клад — «развитие», на который указывает конец радуги^[27]. Под «развитием» они, конечно, на самом деле понимают равенство, такую же хорошую и комфортную жизнь, какой живут люди Севера, возможно ту, в частности, которую показывают в американских кинофильмах. Но на деле это глубокое заблуждение. Ни «государство», ни «рынок» не помогут эгалитарному «развитию» в условиях капиталистической мирэкономки, основополагающий принцип которой — непрерывное накопление капитала — требует и приводит ко все более углубляющейся поляризации реального дохода. Поскольку большинство людей достаточно разумны и достаточно много знают, в самом скором будущем все надежды, возлагаемые на «рынок» как на панацею от всех бед рассеются, оставив лишь тяжелый осадок.

Сильно ли отличаются «демократизация» и тесно связанный с ней лозунг «права человека» от рынка? И да, и нет. Прежде всего, следует уяснить значение самого понятия «демократизация». С 1945 г. практически не было ни одного государства, где бы ни проводились выборы в

законодательные органы власти при почти всеобщем избирательном праве. Все мы знаем, что такого рода процедуры могут ничего не значить. Видимо, мы подразумеваем под «демократизацией» нечто большее. Но в чем именно это большее заключается? В выборах, в которых баллотируются представители двух или более соперничающих политических партий? Соперничающих на самом деле, а не просто для видимости, при правильном, а не фальсифицированном подсчете голосов, в ходе справедливого соперничества, тогда, когда результаты выборов не могут быть аннулированы? Если добавление всех этих требований движет нас в направлении «демократизации», мне представляется, что такое движение продвинет нас немного вперед. Однако в эпоху, когда «Нью-Йорк Тайме» выступает с разоблачением правящей в Японии на протяжении последних сорока с лишним лет либерально-демократической партии, которая регулярно получает субсидии от ЦРУ, мы вправе усомниться в том, что формального соблюдения всех требований состязательности избирательного процесса достаточно для того, чтобы говорить о демократизации.

Мы знаем, что проблема заключается в том, что понятие демократии, как и рынка, несет в себе два сильно различающихся эмоциональных значения. Одно из них связано с рынком как местом обогащения; другое сопряжено с целью эгалитарного развития. Первое значение слова «демократия» обращено к небольшой, но, тем не менее, могущественной группе. Второе обращено к гораздо более многочисленной, но политически более слабой группе. В последние годы усилия, направленные на демократизацию в таких лидирующих африканских государствах, как Того, Нигерия и Заир, были не особенно обнадеживающими. Может быть, тем не менее, подлинная демократия может стать возможной лишь при подлинном развитии, а если в условиях нынешней миросистемы развитие лишь иллюзия, то и демократизация не может быть ни чем иным, кроме иллюзии.

Значит ли это, что я проповедую доктрину безысходности? Вовсе нет! Но для того, чтобы наши надежды обрели под собой реальную почву, сначала мы должны провести анализ положения и прояснить ситуацию. Миросистема находится в расстройстве. В Африке порядка тоже мало, но его там не меньше, чем в остальных областях миросистемы. Африка выросла из эпохи, возможно, преувеличенного оптимизма, и погрузилась в состояние пессимизма. Ну, что же, то же самое произошло и с остальным миром. С 1945 г. до конца 1960-х гг. всюду казалось, что все становится лучше и лучше. С конца 1960-х по конец 1980-х гг. дело во многих отношениях шло все хуже и хуже почти повсеместно, и люди начали, по

меньшей мере, переосмысливать свой былой оптимизм. Сегодня мы напуганы, порой озлоблены, разуверены в наших истинах, нас охватывает смятение. Такое состояние является простым отражением в нашем коллективном сознании того глубокого кризиса, который охватил нашу существующую миросистему, в которой разладились традиционные механизмы регулирования обычных циклических изменений, и от этого основные тенденции развития миросистемы сами ставят ее в положение, «далекое от равновесия». Таким образом, мы подходим к «бифуркации» (если использовать язык современной науки), исход которой по определению не может быть предсказуем, а потому она сможет увлечь нас в возможных альтернативных направлениях, которые существенно между собой различаются.

Чтобы правильно разобраться в стоящих перед Африкой проблемах, прежде всего надо понять, что они присущи не только Африке. Я хотел бы остановиться на четырех из них, часто обсуждаемых в дискуссиях об Африке, и попытаться осмыслить их в более широком контексте. Первая заключается в крахе национально-освободительного движения. Почти во всех странах оно зародилось в колониальную эпоху, отражая требования африканцев самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, и в результате привело к политическим битвам за достижение этой цели. Эти движения составляли силу национальной интеграции, поднимая людей на борьбу за лучшую жизнь и достижение большего равноправия в мире. Они были направлены против разделительного партикуляризма в рамках одного государства, но выступали за утверждение национальной и африканской культуры в рамках миросистемы. Они отстаивали модернизацию и демократизацию, вселяя в людей надежду.

Еще вчера все эти движения достигли своей главной цели — национальная независимость была завоевана. Сегодня ни одно из них не сохранилось в первозданном облике; большей их части вообще не суждено было сохраниться. Единственное исключение составил АНК Южно-Африканской Республики, который решил свою основную задачу только в 1994 г. Там, где после достижения независимости эти движения распались, никакие другие политические силы не заполнили образовавшийся вакуум и не смогли аналогичным способом мобилизовать национальное сознание, и такие силы пока не появились.

Может быть, такое положение достаточно тревожно, но только ли Африка в нем оказалась? Разве лучше складывалось положение национально-освободительных движений в Южной и Юго-Восточной Азии, в Арабском мире, в странах Латинской Америки и Карибского

бассейна? Да и коммунистические движения, которые захватили власть на географическом пространстве от Эльбы до Ялу, безусловно, находятся не в лучшем положении. А если взглянуть на Западную Европу и внеевропейский мир белых поселенцев, будет ли картина сильно отличаться? Возникшие там движения, сопоставимые с национально-освободительными движениями в Африке и социал-демократическими движениями (*lato sensu*)^[28] также мобилизовали общественное мнение в направлении модернизации и демократизации, и в большинстве случаев после долгих десятилетий борьбы оказались способными прийти к власти. Но разве не в таком же смятении пребывают теперь эти движения, провозглашающие старые лозунги, не очень себе представляющие, за что они выступают, и неспособные заручиться теперь той эмоциональной поддержкой масс, которая некогда составляла их силу? Лично я не вижу между ними большой разницы.

Вторая проблема Африки отчасти определяется крахом этих режимов. Под их крахом мы имеем в виду лишение их поддержки масс. Они больше не в состоянии никого мобилизовать. А что стало с теми, кто мобилизовал народ, с кадровыми руководителями всех этих движений, с теми, чье продвижение вверх стало возможным благодаря успеху этих движений — политиками, чиновниками, представителями интеллигенции? Ведь это они отстаивали такой национальный проект, и во многих смыслах именно они получили от него выгоду.

По мере того, как становился очевидным крах этих движений, когда цели, за достижение которых они боролись, постепенно стали отступать за линию горизонта, эти кадровые работники стали покидать тонущий корабль, стремясь к собственному спасению. Идеологические обещания отходили на задний план, от самоотверженности периода борьбы за национальную независимость не осталось и следа, многие вступили в конкурентную борьбу, где зачастую законную деятельность было трудно отличить от незаконной.

Все это, вне всякого сомнения, имело место в Африке в 1990-е гг. Но разве продажность и коррупция циничной элиты — явление, присущее только Африке? Я в этом сомневаюсь. Точно то же самое происходит в Латинской Америке и в Азии. Эти явления характерны и для бывшего коммунистического мира. Достаточно лишь просмотреть газетные заголовки, чтобы убедиться в том, насколько коррупция в Африке бледнеет по сравнению с тем, что каждый день становится известным в Италии и Японии, во Франции и Соединенных Штатах. Но и в этом, конечно, нет ничего нового.

Смятение возникло не из-за коррупции в высоких сферах, а из-за того, что слишком большую часть тех, кто выиграл от всемирного развития среднего класса в период 1945–1970 гг., потом — после 1970 г. — чертовое колесо потянуло вниз. Эта группа, положение которой существенно улучшилось и в социальном, и в экономическом плане, а потом резко ухудшилось (в то время, как положение других оставалось неизменным), представляет собой существенную дестабилизирующую политическую силу, поскольку ее представители, испытывающие чувства обиды и возмущения, становятся приверженцами многочисленных антигосударственных и морально-этических движений, стремясь обеспечить свою личную безопасность и дать выход собственной агрессивности. Но и в этом плане Африка тоже ничем особенно не примечательна. Если и говорить об этой проблеме, то она гораздо более серьезна в Европе и Северной Америке, чем в Африке.

Третья проблема, с которой, как говорят, столкнулась Африка, — это распад государственных структур. Очевидно, Либерия и Сомали являют собой крайние примеры этого явления. Но нам снова надо отойти от крайностей, чтобы взглянуть на проблему объективно. Первой ее составляющей является снижение степени легитимности государств в результате краха национально-освободительных движений. Второй ее компонент заключается в новых антигосударственных настроениях бывших руководящих кадров, которым грозит утрата их социально-экономических позиций. Однако главной проблемой здесь является структурная неспособность обеспечения эгалитарного развития в условиях постоянно нарастающих требований демократизации. Мы уже говорили о тех ограничениях государственных ресурсов, которые были вызваны стагнацией мировой экономики. Государства были все менее способны предоставлять услуги даже на том низком уровне, на котором они предоставляли их раньше. Это привело к тому, что события стали развиваться по спирали. Государствам становилось все труднее собирать налоги. Их способность к поддержанию порядка сократилась. А когда способность государств обеспечивать безопасность и социальную поддержку снизилась, люди стали искать их в других структурах, что, в свою очередь, привело к дальнейшему ослаблению государств.

Но и здесь также единственная причина того обстоятельства, что в Африке это проявилось с такой наглядностью, заключается в том, что этот упадок государственности начался вскоре после создания самих этих государств. Если посмотреть на это явление во всемирном масштабе, можно будет заметить, что на протяжении более пятисот лет наблюдалась

сильная тенденция к упрочению государственных структур, достигшая своего апогея в конце 1960-х гг., после чего она стала повсеместно развиваться в другом направлении. На Севере она обсуждается под разными названиями: фискальный кризис государств; рост преступности в городах и создание структур самозащиты; неспособность государства сдержать приток людей; давление, оказываемое с целью роспуска государственных структур социального обеспечения.

Наконец, многие отмечают имеющий место в Африке крах физической инфраструктуры и опасные тенденции в распространении заразных болезней. Это, конечно, тоже верно. Системы дорог, системы образования, больницы находятся в плачевном состоянии, и положение все более ухудшается, а денег на его исправление, по-видимому, нет, и не предвидится. Распространение СПИДа стало притчей во языцех. И даже в том случае, если его распространение можно будет сдержать, останется опасность, новых болезней, распространяемых новыми бактериями и вирусами, не поддающимися медикаментозному лечению.

И здесь снова следует отметить, что проблема эта чрезвычайно тяжела для Африки, но она присуща не только ей. Точно так же, как, мы, видимо, были свидетелями наивысшего подъема силы государственных структур где-то около двадцати пяти лет тому назад, сейчас мы можем стать свидетелями наивысшего подъема двухсотлетней борьбы с инфекционными и заразными заболеваниями. Самоуверенность при проведении в жизнь каких-то важных решений могла привести к повреждению неких защитных экологических механизмов, что вызвало к жизни новые виды ужасных, ранее неизвестных эпидемических заболеваний. В этом плане развал физической инфраструктуры нам никак не поможет. Как бы то ни было, в то время, когда в городах Соединенных Штатов появляются новые формы туберкулеза, вряд ли можно считать, что эта проблема присуща исключительно Африке.

А если эта проблема актуальна не только для Африки, но для миросистемы в целом, предназначено ли Африке судьбой быть лишь сторонним наблюдателем мирового кризиса, страдающим от того, что выпало на ее долю, но не способным ничего изменить? С моей точки зрения, дело обстоит как раз наоборот. Кризис миросистемы возможен для миросистемы в целом, и, вероятно, для Африки, в частности. Если теоретически мы можем ожидать того, что сам процесс развития нашей нынешней миросистемы не разрешит, а углубит кризис, можно предположить, что расстройство ее усилится, и в период от двадцати пяти до пятидесяти ближайших лет великий мировой беспорядок будет

нарастать, пока в итоге его место не займет новый мировой порядок.

Наши действия на протяжении этого переживаемого нами переходного периода, определяют, будет ли, на самом деле, историческая система (системы), которая возникнет в результате этого процесса, лучше или хуже нынешней миросистемы, кончину которой мы все теперь переживаем. В этот период действия, предпринимаемые, казалось бы, лишь на местном уровне, нельзя считать простыми; они станут той критической переменной, которая в итоге определит, как нам выйти из кризиса.

Здесь не может быть простых формул. Нам необходимо глубоко проанализировать нынешнее положение в мире и отказаться от тех категорий и концепций, которые мешают нам правильно оценить реальные исторические альтернативы, возможные в настоящем и будущем. Нам надо организовать и вдохнуть новые силы в местные движения солидарности, направленные вовне, а не внутрь. Но главное, о чем нам нельзя забывать, состоит в том, что, выступая в защиту нашей собственной группы *в ущерб* какой-то другой группе, мы действуем во вред самим себе.

Мне кажется, что в первую очередь нам следует не упускать из виду наши главные цели. В основе той новой исторической системы (систем), которую нам следует создавать, должно лежать более справедливое распределение продуктов, услуг и власти. Наши временные горизонты должны стать шире, чем были раньше, чтобы мы могли более полно использовать наши ресурсы — как естественные, так и людские. При такого типа реконструкции Африка вполне могла бы занять ведущую позицию. Африка была исключена из нашей современной миросистемы, и можно полагать, что в случае сохранения нынешних политических, экономических и культурных механизмов регулирования миросистемы на протяжении 25–50 лет, тенденция к исключению из нее Африки и африканцев будет усиливаться.

Если африканцы погрязнут в трясине претензий на включение их в миросистему в ее нынешней ипостаси, они будут сражаться с ветряными мельницами. Если африканцы покажут путь к тому, как можно сочетать краткосрочные местные улучшения со среднесрочными изменениями ценностей и структур, они помогут не только Африке — тем самым они помогут нам всем. Не просите ни меня, ни других неафриканцев составить какой-то конкретный план действий в этом направлении. Мы не можем этого сделать. Пальма первенства здесь должна принадлежать самим африканцам.

Еще мне бы хотелось поделиться одним заключительным соображением. Я отнюдь не утверждаю, что если Африка попытается это

сделать, она обязательно достигнет успеха. У Африки — как и у всех нас — в лучшем случае есть половина шансов на то, чтобы в результате этого переходного периода прийти к чему-то лучшему. Вовсе не обязательно, что история окажется на нашей стороне, и если мы окажемся в плену этой иллюзии, она будет работать против нас. Но все мы в огромной степени являемся важной и неотъемлемой частью этого процесса. И если нам удастся обеспечить его движение в правильном направлении, мы и в самом деле сможем создать такой тип миросистемы, какой захотим. Именно в этом направлении мы должны направлять наши коллективные усилия, и хотя путь к достижению цели труден, и исход его неясен, эта цель стоит того, чтобы за нее бороться.

Часть II. Становление и триумф либеральной идеологии

Глава 4. Три идеологии или одна? Псевдобаталии современности

Сюжетная линия нового времени — если говорить об истории развития общественной мысли или политической философии — нам хорошо знакома. Вкратце ее можно сформулировать таким образом: в девятнадцатом столетии возникли три основных течения политической теологии — консерватизм, либерализм и социализм. С тех пор все три течения (в постоянно меняющихся обликах) непрестанно боролись друг с другом.

По существу, все сходятся в двух общих положениях относительно этой идейной борьбы. Одно из них состоит в том, что эти идеологические течения представляли собой реакцию на то обстоятельство, что в ходе Французской революции сложилось новое общественное мировоззрение, которое привело к осознанию необходимости разработки особых политических стратегий, применимых в новых обстоятельствах. Второе сводится к тому, что ни одно из этих трех идеологических течений никогда не выражалось в какой-то одной определенной форме. Совсем наоборот; создавалось впечатление, что каждое из них стремилось принять такое количество обликов, которое соответствовало числу их идеологов.

Естественно, большинство людей полагают, что между этими идеологическими течениями имеются некие существенные различия. Но чем внимательнее мы присмотримся либо к их теоретическим положениям, либо к практике их политической борьбы, тем больше обнаружим разногласий между ними как раз по вопросу о том, в чем эти различия состоят.

Единство мнений отсутствует даже тогда, когда речь заходит о том, сколько существует различных идеологических течений. Есть немало теоретиков и политических руководителей, полагающих, что на самом деле их только два, а не три, хотя вопрос о том, к какому именно дуэту следует свести наше трио, сам находится в стадии дебатов. Иначе говоря, существуют консерваторы, которые не видят никаких принципиальных различий между либерализмом и социализмом, социалисты, которые

говорят то же самое о либерализме и консерватизме, и даже либералы, доказывающие, что между консерватизмом и социализмом нет серьезной разницы.

Такое положение уже само по себе достаточно странно, но на этом странности не кончаются. Термин *идеология* во многих его значениях никогда не был тем словом, которое отдельным людям или группам нравилось бы употреблять применительно к самим себе. Идеологи всегда отрицали свою принадлежность к идеологам — за исключением Дестута де Траси, который, как говорят, и придумал этот термин. Но Наполеон вскоре использовал это слово против него, заявив, что политический реализм предпочтительнее идеологии (под которой он понимал теоретическое учение), и с тех пор многие политики разделяют именно такой подход к проблеме.

Спустя полстолетия Маркс в «Немецкой идеологии» использовал этот термин для характеристики мировоззрения, которое было с одной стороны неполным, а с другой — служившим лишь собственным целям, отражая классовую позицию (буржуазии). Идеология, писал Маркс, должна была быть заменена наукой (отражавшей взгляды рабочего класса, который был призван стать ведущим во всем мире). В период между двумя мировыми войнами Мангейм пошел еще дальше. Он был согласен с Марксом в том, что идеологические учения были неполными и служили собственным целям, но к числу таких учений относил и сам марксизм. Он хотел заменить идеологические учения утопическими, которые рассматривались им как творения интеллектуалов, не принадлежащих к какому-либо определенному классу. А после Второй мировой войны Дэниел Белл показал, что мангеймовские интеллектуалы устали и от идеологических, и от утопических учений. Когда Белл провозгласил конец идеологии, он в первую очередь имел в виду марксизм, который, по его мнению, уступал место некоему мягкому, деидеологизированному либерализму, прекрасно отдающему себе отчет в ограниченности возможностей политики.

Таким образом, на протяжении двух столетий своего существования понятие «идеология» воспринималось негативно, как нечто такое, что следует либо отвергнуть, либо не обращать на это внимания. Но разве это позволяет нам понять, что такое идеология, какие цели люди пытались достичь с помощью идеологии? Я попытаюсь разобраться в этом понятии, поставив пять вопросов, ни на один из которых я не дам исчерпывающего ответа, но все они представляют собой попытку осмыслить понятие «современность» и ее связь с понятием «идеология».

1. Какая разница между идеологией и *Weltanschauung* (или

мировоззрением)?

2. Кто является «субъектом» идеологии?

3. Какова связь идеологических учений с государством (государствами)?

4. Сколько на самом деле существовало различных идеологических течений?

5. Можно ли не обращать внимания на идеологию, иначе говоря, можно ли действовать без идеологии?

Мировоззрение и идеология

Есть один анекдот, возможно, апокрифичный, о Людовике XVI, который, услышав от герцога де Лианкура о штурме Бастилии, говорят, спросил: «Это мятеж?», на что получил ответ: «Нет, ваше величество, это революция» (*Brunot 1937, 617*). Здесь не место вновь обсуждать вопрос об истолковании Французской революции, за исключением одного соображения. Одно из ее главных последствий для миросистемы заключалось в том, что она впервые сделала допустимой мысль о «нормальности», а не исключительности таких явлений на политической арене — по крайней мере, на современной политической арене, — как изменения, нововведения, преобразования и даже революции. То, что поначалу явилось статистически нормальным, скоро стало восприниматься как нормальное с точки зрения морали. Именно это имел в виду Лабрус, говоря о том, что II год был «решающим поворотным пунктом», после которого «Революция стала играть пророческую роль провозвестника, несущего в себе всю ту идеологию, которая со временем должна была раскрыться во всей своей полноте» (*Labrousse 1949, 29*). Или, как говорил Уотсон: «Революция [была] той тенью, под которой прошел весь девятнадцатый век» (*Watson 1973, 45*). К этому я хотел бы добавить: и весь XX в. тоже. Революция знаменовала собой апофеоз ньютоновской науки XVII в. и концепций прогресса XVIII в.; короче говоря, всего того, что мы стали называть современностью.

Современность представляет собой сочетание определенной социальной реальности и определенного мировоззрения которое сменяет или даже хоронит другое сочетание, определенно указывая на то, насколько оно уже себя изжило, сочетание, которое мы теперь называем Ancien Regime^[29]. Очевидно, что не все одинаково относились к этой новой реальности и этому новому мировоззрению. Одни приветствовали

перемены, другие их отвергали, третьи не знали, как на них реагировать. Но было очень мало таких, кто не отдавал бы себе отчета в масштабности произошедших изменений. Анекдот о Людовике XVI в. этом отношении весьма показателен.

То, как люди в рамках капиталистической мирозкономики реагировали на этот «поворотный пункт» и справлялись с невероятными пертурбациями, вызванными потрясениями Французской революции — «нормализация» политических перемен, к которым стали теперь относиться как к чему-то неизбежному, происходящему регулярно, — составляет определяющий компонент культурной истории этой миросистемы. Может быть, в этой связи было бы уместным рассматривать «идеологии» в качестве одного из способов, с помощью которых людям удастся справиться с такой новой ситуацией? В этом плане идеология представляет собой не столько само мировоззрение как таковое, сколько один из способов, с помощью которого, наряду с другими, утверждается то новое (мировоззрение, которое мы называем современностью^[30]). Очевидно, что первая, почти непосредственная идеологическая реакция имела место со стороны тех, кто пережил наиболее сильное потрясение, кто был отторгнут современностью, культом изменений и прогресса, настойчивым отрицанием всего «старого». Поэтому Берк, Местр и Бональд создали идеологию, которую мы стали называть «консерватизмом». Великий британский консерватор лорд Сесиль в брошюре, написанной в 1912 г. с целью популяризации основных положений доктрины «консерватизма», делал особый упор на роли Французской революции в зарождении этой идеологии. Он утверждал, что некий «естественный консерватизм» существовал всегда, но до 1790 г. не было ничего «похожего на сознательно разработанное учение консерватизма» (*Cecil* 1912, 39). Естественно, с точки зрения консерваторов,

...Французская революция представляла собой ни что иное, как кульминацию того исторического процесса дробления, который уходил корнями к началам таких доктрин, как номинализм, религиозное инакомыслие, научный рационализм, и разрушение тех групп, институтов и непреложных истин, которые были основополагающими в Средние века.

(*Miter* 1952, 168–169)

Таким образом, консервативная идеология была «реакционной» в прямом смысле этого слова, ибо стала реакцией на пришествие современности, поставив своей задачей либо (в жестком варианте) полное изменение положения, либо (в более сложном своем варианте) ограничение ущерба и максимально длительное сопротивление всем грядущим переменам.

Как и все идеологические учения, консерватизм, прежде всего и главным образом, являлся политической программой. Консерваторы прекрасно отдавали себе отчет в том, что они должны сохранить или отвоевать как можно большую часть государственной власти, поскольку государственные институты были ключевыми инструментами, необходимыми для достижения их целей. Когда консервативные силы вернулись к власти во Франции в 1815 г., они окрестили это событие «Реставрацией». Но, как мы знаем, полного возврата к положению *status quo ante* так и не произошло. Людовик XVIII был вынужден согласиться на «Хартию», а когда Карл X попытался установить реакционный режим, его отстранили от власти; на его место пришел Луи-Филипп, принявший более скромный титул «короля французов»^[31].

Следующим шагом в развитии событий было становление либерализма, провозгласившего себя учением, стоящим в оппозиции к консерватизму, на основе того, что можно было бы назвать «осознанием принадлежности к современности» (Minogue 1963, 3). Либерализм всегда ставил себя в центр политической арены, заявляя о своей универсальности^[32]. Уверенные в себе и в истинности этого нового мировоззрения современности, либералы стремились к распространению своих взглядов и привнесению своей логики во все социальные институты, пытаясь таким образом избавить мир от «иррациональных» пережитков прошлого. Чтобы достичь своей цели, им приходилось бороться с консервативными идеологами, которые, как они считали, были охвачены страхом перед «свободными людьми»^[33], людьми, освобожденными от ложных идолов традиции. Иначе говоря, либералы верили в то, что прогресс, при всей своей неизбежности, не сможет стать реальностью без определенных человеческих усилий и без политической программы. Таким образом, либеральная идеология отражала уверенность в том, что для обеспечения естественного хода истории необходимо сознательно, постоянно и разумно проводить в жизнь реформистский курс, нисколько не сомневаясь в том, что «время на нашей стороне, и с его течением все большее число людей неизбежно будут становиться все более

счастливыми» (Schapiro 1949, 13).

Последним из трех идеологических течений был разработан социализм. До 1848 г. мало кто мог даже подумать о нем как о некоем самостоятельном идеологическом учении. Причина этого состояла, прежде всего, в том, что те, кто после 1789 г. стали называть себя «социалистами», повсюду считали себя наследниками и сторонниками Французской революции, что на самом деле ни в чем не отличало их от тех, кто стал называть себя «либералами»^[34]. Даже в Великобритании, где Французская революция подавляющим большинством воспринималась с осуждением, и где в силу этого «либералы» заявляли об ином историческом происхождении своего движения, «радикалы» (которые в большей или меньшей степени станут в будущем «социалистами»), как представляется, изначально были настроены более воинственно, чем либералы.

По сути дела, тем, что особенно отличало социализм от либерализма в качестве политической программы и поэтому идеологического учения, была уверенность в необходимости серьезно помочь прогрессу в достижении стоящих перед ним целей, поскольку без этого процесс будет развиваться очень медленно. Коротко говоря, суть социалистической программы состояла в ускорении исторического развития. Вот почему слово «революция» им больше импонировало, чем «реформа», которое, как им казалось, подразумевает лишь терпеливую, пусть даже добросовестную, политическую деятельность, воплощенную в чем-то напоминающем ожидание у моря погоды.

Как бы то ни было, сложились три типа отношения к современности и «нормализации» изменений: насколько возможного ограничения опасности; достижения счастья человечества наиболее разумным образом; или ускорения развития прогресса за счет жестокой борьбы с теми силами, которые ему всячески противостояли. Для обозначения этих трех типов отношений в период 1815–1848 гг. вошли в употребление термины *консерватизм, либерализм и социализм*.

Следует отметить, что каждый тип отношений заявлял о себе в оппозиции к чему-то. Консерваторы выступали как противники Французской революции. Либералы — как противники консерватизма (и монархического строя, к реставрации которого он стремился). А социалисты выступали в оппозиции к либерализму. Наличие такого большого числа разновидностей каждого из этих идеологических течений, прежде всего, объясняется критическим, отрицательным настроением в самом их определении. С точки зрения того, за что выступали сторонники каждого из этих лагерей, в самих лагерях существовало много различий и

даже противоречий. Подлинное единство каждого из этих идеологических течений состояло лишь в том, *против кого* они выступали. Это обстоятельство весьма существенно, поскольку именно это отрицание столь успешно сплачивало все три лагеря на протяжении примерно 150 лет или около того, по крайней мере, до 1968 г. — даты, к вопросу о значении которой мы еще вернемся.

«Предмет» идеологии

Поскольку, по сути дела, идеологические учения являются политическими программами, имеющими целью рассмотреть и дать оценку проблем современности, каждой из них требуется «предмет», или основной логический актор. В терминах современной политической лексики его стали называть вопросом о суверенитете. Французская революция заняла в этом вопросе абсолютно четкую позицию: вместо суверенитета абсолютного монарха она провозгласила суверенитет народа.

Новое выражение о суверенитете народа является одним из величайших достижений современности. Даже, несмотря на то, что спустя столетие еще продолжались затяжные баталии против этого нового идола — «народа», с тех пор никто не смог низвергнуть его с пьедестала. Но победа оказалась ложной. Может существовать единое мнение о том, что народ является сувереном, но с самого начала так и не было достигнуто единого мнения о том, что такое «народ». Более того, ни одно из трех идеологических учений так и не имеет четкой позиции в этом щекотливом вопросе, что, тем не менее, отнюдь не мешает им отказываться признать расплывчатость разделяемых ими взглядов.

Наименее неопределенную позицию, казалось бы, занимают либералы. «Народ», как они считают, составляет сумму всех «личностей», каждая из которых представляет собой высшего обладателя политических, экономических и культурных прав. Личность является основным историческим «субъектом» современности. Поскольку здесь не представляется возможным рассмотреть огромную специальную литературу, посвященную индивидуализму, я ограничусь упоминанием трех вопросов — головоломок, вокруг которых до сих пор продолжают вестись острые дебаты.

1. Все личности, говорят нам, должны быть равными. Но, разве можно толковать это высказывание в буквальном смысле слова? Очевидно, что нет, если речь идет о праве принятия независимых решений. Никто не

имеет в виду предоставлять право принятия независимых решений новорожденным. Но тогда возникает вопрос, какого возраста надо достичь, чтобы получить такое право? В разные времена ответы на этот вопрос давались различные. Если допустить, что «дети» (кто бы ни входил в эту категорию) не могут пользоваться этими правами по причине незрелости их суждений, из этого следует вывод, что независимая личность является кем-то, чье право на независимость определяется другими людьми. Тогда получается, что если существует возможность, чтобы кто-то другой судил о том, может та или иная личность осуществлять свои права или нет, значит, к тем, кто не может этого делать, могут быть причислены и другие категории людей: дряхлые старики и старухи, слабоумные, психически больные, находящиеся в заключении преступники, представители опасных классов, беднота и т. д. Такой список, очевидно, не фантазия. Я пишу здесь об этом не для того, чтобы обсуждать вопрос о том, могут или нет представители каждой из этих групп принимать участие, скажем, в голосовании, я просто хочу подчеркнуть, что не существует такого четкого водораздела, который отделял бы тех, кто может пользоваться своими правами, от тех, кому в этом может быть отказано на законном основании.

2. Даже если мы ограничим обсуждение теми лицами, которые признаны социально «ответственными» и в силу этого имеющими законное право полностью пользоваться всеми своими правами, может случиться так, что использование своих прав одним человеком не даст другому возможность сделать то же самое. Как мы должны относиться к такой вероятности? Считать, что она представляет собой неизбежное следствие общественной жизни, с которым мы должны смириться, или что это — нарушение прав второго человека, которое мы обязаны предотвратить или за которое наказать? Очень запутанный вопрос, на который всегда давались лишь частичные и невразумительные ответы, как в области политической практики, так и на уровне политической философии.

3. Даже если все люди, имеющие право в полной мере осуществлять свои права («граждане»), никогда не будут посягать на права остальных граждан, они, тем не менее, вполне могут не достичь согласия относительно какого-то коллективного решения. Что делать в таком случае? Как нам примирить различные позиции? Это один из самых важных нерешенных вопросов политической демократии.

Нельзя не отдать либералам должного, по крайней мере, в том, что они широко обсуждают вопрос, кто является тем лицом, которое наделено суверенитетом. В принципе, консерваторы и социалисты тоже должны были бы обсуждать эту проблему, поскольку как те, так и другие,

выдвигали иных «субъектов» суверенитета, нежели личность, однако их обсуждения были существенно менее полными. Если «субъект» не является личностью, кто же он тогда? Определить это достаточно сложно. Посмотрим, например, что писал об этом Эдмунд Берк в «Размышлениях о Французской революции»:

Природа человеческая не проста; объекты, составляющие общество, представляют собой чрезвычайно сложные явления; поэтому ни один простой способ наделения властью или ее применения не может ни соответствовать природе человеческой, ни определять качество его поступков.

(Cит. по: White 1950, 28.)

Если бы не было известно, что этот текст направлен против французских революционеров, можно было бы предположить, что он призван осудить абсолютных монархов. Ситуация слегка прояснится, если мы обратимся к другому изречению Берка, сделанному им за десять лет до того в его «Речи по вопросу об экономической реформе»: «Личности проходят мимо как тени, но государство остается неизменным и стабильным» (Цит. по: *Lukes* 1973, 3).

Подход Бональда существенно отличается, поскольку он делает акцент на определяющей роли церкви. Тем не менее, в его взглядах нашел отражение один существенный элемент, присущий всем разновидностям консервативной идеологии, — значению, которое они уделяют таким социальным группам, как семья, корпоративные объединения, церковь, традиционные «общества», — которые становятся для них «субъектами», наделенными правом политического действия. Иначе говоря, консерваторы отдают приоритет всем этим группам, которые могут рассматриваться в качестве «традиционных» (и в силу этого воплощающих непрерывность), отрицая при этом связь консерватизма с какой-либо «совокупностью», выступающей в качестве политического актора. Из высказываний консервативных мыслителей никогда не было ясно, на основе чего следует принимать решение о том, почему та или иная группа воплощает в себе непрерывность. Ведь, так или иначе, всегда возникали какие-то доводы, оспаривавшие королевскую родословную^[35].

Как считал Бональд, большим заблуждением Руссо и Монтескье было именно то, что они «представили себе... естественное состояние природы, предшествовавшее возникновению общества...» Совсем наоборот,

«истинная природа общества... составляет то, чем это общество, гражданское общество, является в настоящее время...» (*Bonald* 1988 [1802], 87). Но такое определение явилось ловушкой для самого автора, поскольку оно придавало законную силу тому настоящему, которое всеми силами препятствовало «реставрации». Однако четкая логика никогда не составляла ни сильную сторону, ни главный интерес той полемики, которую вели консерваторы. Они, скорее, были озабочены тем, как станет вести себя то большинство, которое возникло благодаря тому, что отдельные личности получили избирательное право. Их исторический субъект был гораздо менее активным, чем у либералов. Они полагали, что хорошие решения принимаются медленно и редко, и большинство таких решений уже было принято раньше.

Если консерваторы отказывались отдавать приоритет личности в качестве субъекта истории, выступая в защиту небольших, так называемых традиционных группировок, то социалисты отказывали личности в приоритете в пользу гораздо более многочисленной группы людей, составляющих народ в целом. Анализируя социалистическую мысль раннего периода, Г. Д. Х. Коул отмечал:

К числу «социалистов» принадлежали те, кто в отличие от основного акцента, ставившегося на интересах личности, уделял внимание социальному аспекту человеческих отношений, и стремился вынести социальный вопрос на всеобщее обсуждение, посвященное правам человека, освобожденного Французской революцией и поддерживавшего революцию в области экономических преобразований.

(Cole 1953, 2)

Но если трудно определить, какие именно личности составляют проблему, еще труднее понять, какие «группы» составляют «народ», то самой трудной задачей из всех является вопрос о том, как можно выяснить волю всего народа в целом. Как узнать, в чем она заключается? Для начала надо выяснить, чьи взгляды мы будем принимать в расчет — граждан или всех людей, проживающих в данной стране? И почему людей следует делить именно по этому признаку? Почему бы ни принять в расчет взгляды всего человечества? Какой логикой может быть оправдано такое ограничение? В каком соотношении при нынешней практике находятся общая воля и воля всех? Именно в этом наборе запутанных вопросов

заключается источник всех тех трудностей, с которыми сталкиваются социалистические правительства после прихода к власти.

Короче говоря, то, что все три идеологические течения нам предлагают, не может нам помочь в поисках ответа на вопрос о том, кто является субъектом истории. Все они представляют лишь некие точки отсчета при попытке дать ответ на вопрос о том, кто воплощает в себе суверенитет народа: так называемые свободные личности, как считают либералы; так называемые традиционные группы, как считают консерваторы; или все члены «общества», как полагают социалисты.

Идеологии и государство

Народ как «субъект» имеет в качестве своего главного «объекта» государство. Именно в рамках государства люди выражают свою волю, утверждая собственный суверенитет. Вместе с тем, с XIX столетия нам говорят о том, что люди образуют «общество». Как можно примирить государство и общество, составляющие величайшую интеллектуальную антиномию современности?

Самым удивительным является то, что если вникнуть в рассуждения об этой проблеме представителей всех трех идеологических учений, складывается впечатление, что все они стоят на стороне общества, выступая против государства. Приводимые ими аргументы хорошо известны. Для стойких либералов главная задача состояла в том, чтобы не допускать государство в сферу экономики и в целом снижать его роль до минимума: «*Laissez-faire*^[36] — вот принцип ночного сторожа государства» (Watson 1973, 68). Консерваторов во Французской революции ужасал не только ее индивидуализм, но в еще большей степени ее государственность. Государство только становится тираном, когда ставит под сомнение роль промежуточных групп, которым люди преданы в первую очередь — семьи, церкви, корпорации^[37]. И мы знакомы со знаменитой характеристикой, данной государству Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии»:

...со времени установления крупной промышленности и всемирного рынка, она[буржуазия] завоевала себе исключительное политическое господство в современном представительном государстве. Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего

класса буржуазии.

(1973 [1848], 69^[38])

Такие отрицательные взгляды на государство не предотвратили сетований представителей всех трех идеологий на то, что государство, являющееся объектом их критики, не контролировалось ими и, по их утверждениям, находилось в руках их идеологических соперников. Но по сути дела, каждое из трех идеологических течений чрезвычайно нуждалось в услугах государства для пропаганды своих собственных программ. Не будем забывать о том, что идеология, прежде всего, является политической стратегией. Социалистов много критиковали за то, в чем усматривали их непоследовательность; несмотря на антигосударственную риторику, большинство из них на самом деле всегда стремилось к усилению роли государства на кратковременный период. Анархистские взгляды всегда разделяло лишь незначительное меньшинство социалистов.

Действительно ли консерваторы более серьезно выступали против государства? Разве они постоянно не выступали против проводимых государством реформ? Нет, на деле такого не было. Ибо мы должны принимать в расчет вопрос об «упадке ценностей», который консерваторы рассматривали в качестве главного последствия современности. Чтобы бороться с наступившим общественным упадком, чтобы восстановить общество в том виде, в каком оно существовало раньше, им было нужно государство. На самом деле, к ним всем применимо высказывание об одном из крупнейших английских консерваторов 1840-х гг., сэре Роберте Пиле: «Он верил, что главным в эпоху анархии, в которой он жил, было принятие конституции при сильной исполнительной власти» (*Gash* 1951, 52).

Обратите внимание на то, как Галеви объясняет эволюцию позиции консерваторов по отношению к государству в период «реакции тори» в Англии в начале XIX столетия:

В 1688 году и в последующие годы и сам король считал себя сувереном, и общественное мнение считало его таковым. Всегда существовали опасения, что он сделает свой суверенитет абсолютным, и независимость от его власти, распространявшаяся на все органы государственного правления, составляла сознательное ограничение его прерогатив, систему конституционных гарантий против королевского деспотизма. На заре девятнадцатого столетия в Америке, во Франции и даже в

Англии о своем суверенитете начал задумываться и даже выступать за его обретение народ; поэтому-то эти три державы стали теперь отстаивать свою независимость от народа. Теперь уже не виги, а тори стали поддерживать те институты, суть которых изменилась, хотя форма осталась прежней. И теперь уже король возглавлял союз, образованный тремя державами для защиты их независимости от нового претендента на суверенитет.

(Halevy 1949, 42–43)

Эти соображения проясняют картину. Консерваторы всегда были готовы к упрочению государственных структур в той степени, в которой это было необходимо, чтобы сдерживать силы, выступавшие за преобразования. На самом деле, это подразумевалось в высказывании лорда Сесилия, сделанном в 1912 г.: «Постольку, поскольку государство не предпринимает несправедливых или тиранических действий, его существование не противоречит принципам консерватизма» (*Cecil 1912, 192*).

Так что же, может быть, по крайней мере, либералы — глашатаи свободы личности и свободного рынка — были враждебно настроены по отношению к государству? Ничего подобного! С самого начала либералы стали заложниками основополагающего противоречия. Выступая защитниками личности и ее прав от государства, они были вынуждены отстаивать принцип всеобщего избирательного права — единственную гарантию сохранения демократического государства. Но именно в силу этого государство стало главной силой в проведении всех реформ, направленных на освобождение личности от социальных ограничений, унаследованных от прошлого. Последнее обстоятельство, в свою очередь, подвело либералов к мысли о том, чтобы поставить конструктивные законы на службу полезным целям.

И снова Галеви дал четкое определение последствий такого подхода:

Философия «утилитаризма» не являлась ни единственным, ни даже основным элементом либеральной системы; она в то же время представляла собой доктрину власти, которая стремилась к сознательному и научно обоснованному вмешательству государства с целью достижения гармонии интересов. По мере развития его идей, Бентам, который в молодости был сторонником «просвещенного деспотизма», стал приверженцем

демократии. Но он перешел на эти позиции, если можно так выразиться, в ходе затычного прыжка, во время которого его рикошетом отталкивало от одного политического учения к другому, причем он мог бы остановиться на каждом из них — доктрине аристократии, смешанной конституции, равновесии властей и доктрине, в соответствии с которой цель государственного деятеля должна заключаться в освобождении личности за счет ослабления власти правительства и как можно более глубокого разделения ветвей его власти. По мысли Бентама, когда государственная власть отражает волю большинства граждан, выраженную в ходе всеобщего или хотя бы очень представительного избирательного процесса, исчезают основания относиться к государству с подозрением, и оно становится ничем не омраченным подарком судьбы. И консерваторы, в этой связи, теперь оказались сторонниками истинно либеральной традиции, выступая в защиту старой системы аристократического самоуправления, при которой чиновникам ничего не платили, против новой системы бюрократического деспотизма, которой заправляют чиновники, полу, чающие жалованье.

(Halevy 1950, 100, 99)

Можно сделать вывод о том, что на самом деле учение Бентама было отклонением от либерализма, наиболее яркое выражение которого можно найти в работах классических экономистов и теоретиков свободного предпринимательства. Давайте, в этой связи вспомним о том, что когда в Великобритании было принято первое фабричное законодательство, его поддержали все ведущие классические экономисты того времени — это подробно разъяснил (и одобрил) не кто иной, как Альфред Маршалл (1921, 763–764). С того времени огромное бюрократическое государство постоянно продолжало разрастаться, и его рост поддерживался сменявшимися друг друга у власти либеральными правительствами. Когда Хобхаус писал свою книгу о либерализме как ответ на работу лорда Сесилиа о консерватизме, он по-своему оправдывал это развитие: «Функция государственного принуждения направлена на преодоление принуждения индивидуального и, конечно, принуждения, проводимого любой ассоциацией отдельных личностей в рамках государства» (*Hobhouse 1911, 146*).

Очевидно, каждое идеологическое течение прибегало к разным

уловкам для объяснения своих несколько странных симпатий к государственности. Социалисты утверждали, что государство воплощает в себе всеобщую волю. Консерваторы полагали, что государство защищает от всеобщей воли традиционные права. Либералы считали, что государство создает условия, позволяющие личности оптимально использовать свои права. Но в каждом случае результат был один и тот же — государство продолжало укреплять свои позиции по отношению к обществу, несмотря на риторические призывы к прямо противоположному.

Сколько существует идеологий?

Вся эта неразбериха и идейная путаница по вопросу оптимального отношения государства и общества дает нам возможность понять, почему мы никогда не были вполне уверены в том, сколько именно различных идеологий возникло в XIX столетии. Три? Два? Только одно? Я только что рассмотрел традиционные доводы в пользу того, что их было три. А теперь, давайте посмотрим, как три можно сократить до двух.

В период от Французской революции до революций 1848 г. для современников было очевидно, что «единственное четкое расхождение» имело место между теми, кто считал прогресс неизбежным и желательным, то есть «в целом разделял» идеи Французской революции, с одной стороны, и контрреволюционерами, выступавшими против разрушения прежних ценностей, полагая, что это глубоко неверно (*Agulhon 1992, 7*). Таким образом, политическая борьба шла между либералами и консерваторами, а все те, кто называл себя радикалами, якобинцами, республиканцами или социалистами, рассматривались лишь как более воинственные разновидности либералов. В «Сельском священнике» Бальзак устами епископа восклицает:

Нас заставляют творить чудеса в рабочем городке, где пустил глубокие корни бунтарский дух, направленный против религии и идей монархизма, где все проникнуто мыслью о тщательном разбирательстве, рожденной протестантизмом и сегодня известной под названием либерализма, хотя завтра она может назваться совсем по-другому.

(Balzac 1898, 103)

Тюдеск напоминает нам о том, что в 1840 г. газета легитимистов

«l'Orleanaise» разоблачала другую газету — «Le Journal de Loiret» как «либеральный, протестантский, сен-симонистский, ламеннезианский листок» (*Tudesq* 1964, 125–126). И это не звучало полной нелепицей, поскольку, как отмечает Саймон: «По сути дела, идея прогресса составляет суть и источник вдохновения всей философской мысли Сен-Симона» (*Simon* 1956, 330; сравните: *Manning* 1976, 83–84).

Более того, этот либерально-социалистический альянс уходил корнями к либеральной и эгалитарной мысли XVIII в., направленной на борьбу против абсолютной монархии (см.: *Meyssonier* 19896, 137–156). Он продолжался и в XIX в., питаясь все большей заинтересованностью двух идеологических учений в производстве, которое рассматривалось каждым в качестве основного требования для проведения социальной политики в современном государстве.^[39]

С развитием утилитаризма стало казаться, что этот альянс мог стать прочным союзом. Консерваторы не преминули в этой связи присовокупить:

Когда тори хотели дискредитировать утилитаризм, они клеймили его как непатриотическую философию, вдохновенную иностранными идеями, особенно идеями французскими. Разве не были политические принципы приверженцев учения Бентама принципами якобинцев? Разве они этически и юридически не вытекали из работ Гельвеция и Беккарии, психологически не восходили к Кондильяку, в области философии истории и политической экономии не следовали Кондорсе и Жану-Батисту Сэй? Разве не были они безбожными вольтерьянцами? Разве не написал Бентам по-французски и не опубликовал в Париже свои «*Traites de Legislation*» («Трактаты по законодательству»)? Однако сторонники утилитаризма могли правдиво на это ответить, что все эти так называемые французские идеи, в импорте которых их обвиняли, на самом деле представляли собой идеи английские, которые нашли себе временное пристанище за границей.

(*Shapiro* 1949, 583)

И вновь подход консерваторов не был неверным. Бребнер с симпатией отзывается о «коллективистской» стороне учения Бентама, делая следующий вывод: «Кто такие были фабианцы, как не сторонники Бентама более позднего периода?» И добавляет, что Джон Стюарт Милль уже в 1830 г. был тем, «кого можно было бы назвать либеральным социалистом»

(Brebner 1948, 66). 1

С другой стороны, с 1830 г. между либералами и социалистами появляются признаки четкого различия, а после 1848 г. оно становится достаточно глубоким. Вместе с тем, 1848 г. знаменателен началом примирения между либералами и консерваторами. Хобсбаум полагает, что чрезвычайно важным следствием 1830 г. стала возможность проводить массовую политику, что во Франции, Англии и особенно в Бельгии (а частично и в Швейцарии, Испании и Португалии) привело к победе «умеренного» либерализма, а впоследствии — «к расколу умеренных и радикалов» (Hobsbaum 1962, 117). Анализируя проблему с позиций итальянца, Кантимори пришел к выводу о том, что до 1848 г. вопрос о разрыве оставался открытым. До того времени, отмечает он, «либеральное движение... не отвергало никаких возможностей: ни призыва к восстанию, ни реформистских политических действий» (Cantimori 1948, 288). И только после 1848 г. расхождение этих двух тактических направлений оформилось окончательно.

Здесь важно отметить, что после 1848 г. социалисты прекратили ссылаться на Сен-Симона. Социалистическое движение начало организовываться вокруг марксистских идей. Теперь ламентации раздавались не только по поводу нищеты, которую надо было изжить путем реформ, но и по поводу тех бесчеловечных отношений, которые были вызваны к жизни капитализмом, причем решить этот последний вопрос было нельзя без его свержения (см.: Kolakowski 1978, 222).

В тот же период времени консерваторы начали осознавать, насколько реформизм был полезен для решения задач, стоявших перед консервативным движением. Сразу же после принятия закона о парламентской реформе 1832 г.^[40] сэр Роберт Пиль издал избирательный манифест, Тамуортский манифест, который был с воодушевлением воспринят как идейная платформа. Современники считали его «почти революционным» не только потому, что манифест провозглашал парламентскую реформу «окончательным и бесповоротным решением важнейшего конституционного вопроса», но еще и потому, что эта позиция была выражена не столько перед парламентом, сколько перед народом, что в то время вызвало большую «сенсацию» (Halevy 1950, 178)^[41]

В ходе этого процесса консерваторы обратили внимание на сходство их подходов с подходом либералов к значению вопроса о защите частной собственности, несмотря на то, что проблема собственности интересовала их прежде всего потому, что она воплощала собой непрерывность, и тем

самым служила фундаментом для жизни семьи, для церкви и других сплачивающих общество групп (см.: *Nisbet* 1966, 26). Но помимо близости философских позиций их объединял страх перед конкретной угрозой реальной революции, поскольку, как отмечал лорд Сесиль «неотъемлемой частью эффективного сопротивления якобинству является проведение умеренных реформ в духе консерватизма» (*Cecil* 1912, 64).

И в заключение, нельзя полностью сбрасывать со счетов третью возможность сведения трех идеологических течений к двум: сближения консерваторов и социалистов в противостоянии либералам, несмотря на то, что теоретически она представляется наименее вероятной. Нередко говорится о «консервативном» характере социализма Сен-Симона, восходящим корнями к идеям Бональда (см.: *Manuel* 1956, 320; *Iggers* 1958, 99). Оба лагеря могли сойтись на общем отрицательном отношении к индивидуализму. Точно так же, как либералы, подобные Ван Хайеку разоблачали «социалистический» характер консервативных воззрений Карлейля. На этот раз ставилась под вопрос «социальная» сторона консервативного учения. Лорд Сесиль, по сути дела, без всяких сомнений открыто заявлял об этом сходстве:

Нередко полагают, что консерватизм и социализм прямо противоположны друг другу. Но это не совсем так. Современный консерватизм унаследовал традиции тори, благоприятные для деятельности и власти государства. И господин Герберт Спенсер выступал с нападка на социализм, поскольку на деле он является возвращением к жизни взглядов тори...

(*Cecil* 1912, 169)

Следствием либерально-социалистических альянсов стало возникновение некоего социалистического либерализма. Следствием сближения либералов и консерваторов оказался консервативный либерализм. Короче говоря, дело свелось к возникновению двух разновидностей либерализма.

Менее естественные блоки консерваторов и социалистов изначально носили лишь непродолжительный тактический характер. Однако здесь следует задуматься над тем, не стали ли различные типы «тоталитаризма» в XX веке гораздо более продолжительной формой такого рода союза, в том смысле, что они узаконили некую форму традиционализма, совмещавшую в себе популистское и социальное начала. Если это так, эти тоталитарные

режимы были лишь еще одним средством либерализма остаться в центре политического спектра как антитезы манихейской драме. За фасадом яростной оппозиции либерализму в качестве ключевого требования всех этих режимов мы видим ту же веру в прогресс через производство, которая была евангелием либералов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже социалистический консерватизм (или консервативный социализм) был своего рода разновидностью либерализма, дьявольской его формой. И в этом случае, разве не будет правильно сделать вывод о том, что с 1789 г. существовала лишь одна истинная идеология — либерализм, которая нашла свои проявления в трех основных обликах? Конечно, такое утверждение следует понимать в историческом контексте. Период 1789–1848 гг. представляет собой время острой идеологической борьбы между консерватизмом, в итоге потерпевшим поражение, чтобы принять завершённую форму, и либерализмом, стремившимся к культурной гегемонии. Периоде 1848 по 1914 (или 1917) гг. является временем господства либерализма, серьёзной оппозиции которому еще не существовало, хотя марксизм уже пытался противопоставить ему социалистическую идеологию в качестве самостоятельной силы, однако добиться своей цели полностью он тогда еще не смог. Можно было бы сказать (хотя такое допущение оказалось бы в высшей степени противоречивым), что период с 1917 по 1968 (или 1989) гг. представлял собой время наивысшего расцвета либерализма в мировом масштабе. И с этой точки зрения, хотя ленинизм претендовал на роль идеологии, отчаянно противостоявшей либерализму, по сути дела, он являлся лишь одним из его проявлений. ^[42]

За пределами идеологий?

Возможно ли, по крайней мере, теперь, выйти за пределы идеологий, точнее говоря, за пределы господствующей либеральной идеологии? Этот вопрос неоднократно ставился во всей его полноте со времени мировой революции 1968 г. На что же еще могли нападать революционеры 1968 г., как не на либеральную идеологию, поскольку из трех идеологических учений именно это служило капиталистической мироэкономике?

Очевидно, что многие участники столкновений 1968 г. облекали свои требования в словесную форму маоизма или других разновидностей марксизма. Но это отнюдь не препятствовало им валить марксизм в одну кучу с либерализмом, отвергая как официальный советский марксизм, так и

великие коммунистические партии развитых стран мира. И когда в период после 1968 г. наиболее «консервативные» элементы пытались найти ответ на действия революционеров 1968 г., они назвали себе «неолибералами».

Недавно в рецензии на книгу Колаковского, опубликованной в «Publisher's Weekly», идеи автора были суммированы следующим образом: «„Консерватизм“, „либерализм“ и „социализм“ более не занимают взаимоисключающих позиций» «New York Review of Books» («Нью-Йоркское книжное обозрение», 7 марта 1991 г., с. 20: анонс). Но если сделанный нами анализ верен, уместно было бы задать вопрос о том, были ли вообще эти три идеологии когда-нибудь взаимоисключающими. Новое здесь заключается не в замешательстве, которое царит в подходах к значению и ценности либерализма как великой господствующей идеологии капиталистической мирозкономики — он всегда был ею. Новое здесь состоит в том, что впервые в истории его развития в качестве господствующей идеологии с 1848 г. либерализм, составляющий суть самого понятия «современность», вновь был поставлен в своей основе под вопрос. Вывод, к которому мы могли бы прийти на этом основании, может увести нас слишком далеко от предмета нашего рассмотрения. Тем не менее, я верю в то, что либерализм, как действенный политический проект, уже пережил свои лучшие дни, и что сейчас он умирает в условиях структурного кризиса капиталистической мирозкономики.

Это, однако, вполне может и не быть концом идеологии. Но теперь, когда необходимость политических перемен уже не кажется столь очевидной, неизбежной, а потому нормальной, отпала и необходимость в идеологии в качестве средства, которое позволило бы справиться с последствиями такого убеждения. Мы вступаем в переходный период, который может продлиться около пятидесяти лет, и который можно назвать крупной «бифуркацией» (по Пригожину) с непредсказуемым исходом. Мы не можем прогнозировать мировоззрение (мировоззрения) системы (систем), которая возникнет на развалинах нынешней. Мы не можем сейчас вести речь о тех идеологиях, которые возникнут, или о том, какими они будут, если они будут вообще.

Литература

Agulhon Maurice. 1848, ou l'apprentissage de la Republique, 1848–1852 / Nouv. ed. revisee et completee. Paris: Ed. du Seuil, 1992.

Balzac Honore de. The village cure. Philadelphia: George Barrie and Sons, 1898.

Bastid Paul. La theoriejuridique des Chartes // Revue Internationale

d'histoire politique et constitutionnelle. 1953. № 3. P. 63–75.

Bonald Louis de. *Legislation primitive consideree par la raison*. Paris: Ed. Jean-Michel Place, 1988 (1802).

Brebner J. Bartlett. *Laissez-faire and state intervention in nineteenth-century Britain // The Tasks of Economic History* (a supplemental issue of the *Journal of Economic History*). 1948. № 8. P. 59–73.

Brunot Ferdinand. *Histoire de la langue francaise des origines a 1900*, IX: *La Revolution et l'Empire*, 2^e Partie: *Les evenements, les institutions et la langue*. Paris: Lib. Armand Colin, 1937.

Cantimori Delio. *1848 en Italie // Le printemps des peuples: 1848 dans le monde* / F. Fejto, dir. Paris: Ed. du Minuit, 1948. P. 255–318.

Cecil Hugh, lord. *Conservatism*. London: Williams & Northgate, 1912.

Cole G. D. H. *A history of socialist thought*. Vol. 1, *Socialist thought: The forerunners, 1789–1850*. New York: St. Martin's Press, 1953.

Condliffe J. B. *The commerce of nations*. London: George Alien & Unwin, 1951.

Gash Norman. *Peel and the party system, 1830 — 50 // Transactions of the Royal Historical Society*, 5th ser. 1951. P. 47–70.

Halevy Elie. *A history of the English people in the nineteenth century*. 2nd rev. ed. Vol. 2. *England in 1815*. London: Ernest Benn, 1949.

Halevy Elie. *A history of the English people in the nineteenth century*. 2nd rev. ed. Vol. 3. *The Triumph of Reform, 1830–1841*. London: Ernest Benn, 1950.

Hayek Frederick A. von. *The counter-revolution of science: Studies on the abuse of reason*. Glencoe, IL: Free Press, 1952.

Hobhouse L. T. *Liberalism*. London: Oxford Univ. Press, 1911.

Hobsbawm Eric J. *The age of revolution, 1789–1848*. New York: World Publishing, A Mentor Book, 1962.

Iggers Georg G. *The cult of authority: The political philosophy of the Saint-Simonians. A chapter in the intellectual history of totalitarianism*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1958.

Kolakowski Leszek. *Main currents of Marxism: Its rise, growth, and dissolution*. 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1978.

Labrousse Ernest. *1848–1830 — 1789: Comment naissent les revolutions // Actes du Congres historique du Centenaire de la Revolution de 1848*. Paris: Presses Univ. de France, 1949. P. 1 — 20.

Lukes Steven. *Individualism*. Oxford: Basil Blackwell, 1973.

Manning D.J. *Liberalism*. London: J. M. Dent & Sons, 1976.

Manuel Frank E. *The new world of Henri Saint-Simon*. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1956.

- Marshall Alfred. Industry and trade. London: Macmillan, 1921.
- Marx Karl, Frederick Engels. Manifesto of the Communist Party // Karl Marx. The revolutions of 1848: political writings. Vol. I. Harmondsworth, UK: Penguin, 1973 (1848). P. 62–98. (Рус. пер.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии.)
- Mason E. S. Saint-Simonism and the rationalisation of industry // Quarterly Journal of Economics. 1931. № 45. P. 640–683.
- Meyssonier Simone. La balance et l'horloge. La genese de la pensee libere en France au XVII'e siecle. Montreuil: Ed. de la Passion, 1989.
- Minogue K. R. The liberal mind. London: Methuen, 1963.
- Nisbet Robert A. De Bonald and the concept of the concept of the social group // Journal of the History of Ideas. 1944. № 5. P. 315 — 31.
- Nisbet Robert A. Conservatism and sociology // American Journal of Sociology. 1952. № 58. P. 167 — 75.
- Nisbet Robert A. The sociological tradition. New York: Basic Books, 1956.
- Plamenatz John. The revolutionary movement in France, 1815–1870. London: Longman, Green, 1952.
- Schapiro J. Salwyn. Liberalism and the challenge of fascism: Social forces in England and France (1815–1870). New York: McGraw-Hill, 1949.
- Simon Walter M. History for Utopia: Saint-Simon and the idea of progress // Journal of the History of Ideas. 1956. № 17. P. 311–331.
- Tudesq Andre-Jean. Les grands notables en France (1840–1849): Etude historique d'une psychologie sociale. 2 vols. Paris: Presses Univ. de France, 1964.
- Wallerstein Immanuel. The French revolution as a world-historical event // Unthinking social science: The limits of nineteenth-century paradigms. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 7 — 22.
- Watson George. The English ideology: Studies in the language of Victorian politics. London: Allan Lane, 1973.
- White R. J., ed. Introduction to: The conservative tradition. London: Nicholas Kaye, 1950. P. 1 — 24.

Глава 5. Либерализм и легитимация национальных государств: историческая интерпретация

Идеологическую базу, лежавшую в основе развития капиталистической мирозкономики в период с 1789 по 1989 гг., составлял либерализм (вместе с вытекающим, но не производным от него научным

подходом). Эти даты совершенно точные. Французская революция знаменует собой выход либерализма на всемирную политическую арену в качестве важного идеологического течения. Падение коммунистических режимов в 1989 г. знаменует собой уход либерализма с этой арены.

Насколько эти утверждения правильны, очевидно, зависит от того, что мы подразумеваем под сущностью либерализма. Словари нам в этом особенно не помогут, так же, как и огромное число книг, посвященных либерализму, поскольку само понятие *либерализм* чрезвычайно расплывчатое. И дело здесь не в том, что оно имеет много определений; так обычно происходит с любой значимой политической теорией. Суть проблемы заключается в том, что эти определения настолько сильно отличаются друг от друга, что самому понятию придаются диаметрально противоположные значения. К числу самых показательных примеров недавнего времени можно отнести тот факт, что когда президенты Рейган и Буш в Соединенных Штатах в своих политических выступлениях обрушивались на либерализм с яростными нападками, в публицистических работах европейских обозревателей их самих нередко называли «неолибералами».

Скорее всего, кто-то скажет, что такие словесные манипуляции объясняются тем, что политический и экономический либерализм следует рассматривать как две разных интеллектуальных позиции или даже два разных направления общественной мысли. Как же тогда получилось, что для обозначения и того, и другого мы пользуемся одним и тем же термином? И как тогда быть с категорией культурного либерализма? А хиппи, выступающих против культуры, нам тоже следует причислить к либералам? А борцы за свободу личности — тоже либералы? Рассуждения такого рода можно было бы продолжить, но в этом нет никакого смысла.

Объяснение этой лингвистической путаницы было бы слишком простым выходом из положения, поскольку на самом деле либерализм всегда проявлялся во всех сферах человеческой деятельности. Чтобы разумно применять термин «либерализм», необходимо разобраться в его сути.

Либерализм следует рассматривать в его историческом контексте, который, как я уже отмечал, ограничен периодом 1789–1989 гг. Либерализм интересует меня как идеология, при этом под термином «идеология» я понимаю всеобъемлющую долгосрочную политическую программу, направленную на мобилизацию большого числа людей. В этом смысле, как я уже отмечал ранее^[43], до изменения геокультуры капиталистической мирозаконономики, которое произошло в ходе Французской революции и

последовавшей за ней наполеоновской эпохи, идеологические учения не были ни нужны, ни возможны.

До Французской революции, как и при других исторических системах, в рамках господствующего мировоззрения капиталистической мирозкономики нормальным положением вещей считалась политическая стабильность. Суверенитет принадлежал правителю, а право правителя на правление определялось неким набором правил, связанных с получением власти, обычно по наследству. Против правителей, конечно, часто плелись заговоры, иногда их даже свержали, но новые правители, занявшие место смещенных, всегда проповедовали ту же веру в естественность стабильности. Политические перемены были явлениями исключительными, и оправдывались они в исключительном порядке; и это происходило вовсе не для того, чтобы создать прецедент для дальнейших перемен.

Политические перемены, начатые Французской революцией — перемены, которые были ощутимы во всей Европе и за ее пределами, — изменили этот менталитет. Теперь сувереном стал народ. И все усилия, предпринимавшиеся «реакционерами» с 1815 по 1848 гг., даже в малой степени не смогли пробить брешь в новом взгляде на жизнь. После 1848 г. никто даже не пытался выступить всерьез с новыми попытками таких перемен^[44], по крайней мере, до сего дня. И действительно, перемены, — любые перемены, включая политические, — стали «нормальным» явлением. Именно потому, что этот новый взгляд на мир распространился так быстро, и возникли идеологические течения. Они представляли собой политические программы, за выполнение которых надо было в условиях *нормальности политических перемен* и с учетом распространения идеи народного суверенитета.

Вполне логично, что первой реакцией на изменившееся положение вещей стал консерватизм. Сегодня мы относим к числу классических две работы основоположников консервативного мировоззрения: «*Desiderations sur la France*» («*Размышления о Франции*») (1789) Жозефа де Местра и «*Reflections on the Revolution in France*» («*Размышления о, революции во Франции*») (1790) Эдмунда Берка, написанные в самый разгар первых дней революции. В целом, противники Французской революции стремились доказать, что результатом узаконения нормальности изменений могут стать одни лишь социальные беды. Тем не менее, вскоре они поняли, что отсутствие гибкой позиции в отношении к общественной жизни невозможно. В период с 1759 по 1848 гг. позиция консерваторов эволюционировала от полного отрицания нового мировоззрения к тому, что

можно назвать господствующей на протяжении последних 150 лет консервативной идеологии: «нормальные» изменения должны проводиться настолько возможно медленно и только в тех случаях, когда в результате всестороннего рассмотрения они были сочтены необходимыми для того, чтобы предотвратить еще большее расстройство общественного порядка.

Либерализм стал идеологическим ответом консерваторам. Сам термин *liberal* «либерал» (в форме имени существительного), как мы знаем, возник только в первом десятилетии XIX столетия. Вообще говоря, в период, предшествовавший 1848 г., существовала широкая, но достаточно расплывчатая категория людей, которые явно (или тайно, как это было в Англии) поддерживали идеи Французской революции. К ним относили приверженцев разных течений, тех, кого называли республиканцами, радикалами, якобинцами, социальными реформаторами, социалистами и либералами^[45]).

Во всемирной революции 1848 г. на самом деле было только два лагеря — партия порядка и партия движения, представлявших, соответственно, консервативную и либеральную идеологии, или, если использовать другую терминологию, восходящую корнями к Французской революции, — правые и левые. И только после 1848 г. возник социализм как самостоятельное идеологическое течение, которое на деле отличалось от либерализма и противостояло ему. Именно тогда миросистема вступила в эпоху господства идеологического спектра, состоящего из трех идеологических течений, с которыми мы все хорошо знакомы. Либерализм стал представлять центр политического полукруга, заняв, таким образом, и центральное положение на политической арене (мы намеренно ставим на этом акцент, слегка изменив метафору).

В период расхождения двух идейных течений основное различие между либерализмом и социализмом состояло не в желательности или даже неизбежности изменений (или прогресса). По сути дела, такой подход к переменам их не разделял, а объединял. Различия же носили скорее идеологический характер; точнее говоря, различия наблюдались в их политических программах. Либералы полагали, что ход общественных изменений к лучшему был, или должен был быть, постепенным, и основываться он должен как на разумной оценке специалистами существующих проблем, так и на непрерывных сознательных усилиях политических лидеров, руководствующихся этими оценками в своей деятельности, направленной на проведение разумных социальных реформ. В программе социалистов весьма скептически расценивалась возможность осуществления реформистами каких-либо значительных преобразований

лишь на путях разума и доброй воли и без чьей-либо помощи. Социалисты стремились продвигаться вперед быстрее и доказывали, что без значительного давления со стороны народных масс этот процесс не увенчается успехом. Движение по пути прогресса неизбежно настолько, насколько неизбежно давление масс. Сами специалисты сделать ничего не могут.

Всемирная революция 1848 г. стала поворотным пунктом в развитии политической стратегии всех трех идеологических течений. Из поражений 1848 г. социалисты сделали вывод о том, что достижение каких бы то ни было положительных результатов через спонтанное политическое восстание или массовые действия весьма сомнительно. Государственные структуры были слишком прочными, применять репрессивные меры было несложно, и они оказывались весьма действенными. Лишь после 1848 г. социалисты стали всерьез относиться к созданию партий, профсоюзов и рабочих организаций в целом, взяв курс на долгосрочное политическое завоевание государственных структур. В период после 1848 г. зародилась социалистическая стратегия двух этапов борьбы. Эту стратегию разделяли два основных течения в социалистическом движении — Второй интернационал, объединявший социал-демократов, и Третий коммунистический интернационал, который возник позднее. Сущность этих двух этапов была достаточно проста: на первом этапе обрести государственную власть; на втором воспользоваться государственной властью, чтобы трансформировать общество (или прийти к социализму).

Консерваторы также извлекли урок из событий 1848 г. Восстания рабочих стали реальной политической возможностью, и, несмотря на то, что в 1848 г. они были сравнительно легко подавлены, будущее представлялось теперь не столь безоблачным, как раньше. Более того, консерваторы обратили внимание на то обстоятельство, что социальные и национально-освободительные революции, будучи на деле далеко не одинаковыми явлениями, могли развиваться в опасном направлении дополнения и усиления друг друга в рамках миросистемы в целом. Отсюда следовало, что необходимо было предпринять какие-то шаги для предотвращения такого рода восстаний до того, как они могли вспыхнуть.

Эти шаги можно было бы назвать построением более интегрированных национальных обществ.

Если внимательнее приглядеться к этим новым стратегиям социалистов и консерваторов, можно увидеть, что каждая из них, по сути дела, все более сближалась с либеральным подходом к понятию развития как управляемых, разумных и нормальных перемен. В чем состояла в то

время стратегия либералов? Либералы в те годы искали подходы к воплощению в жизнь двух основополагающих идей, направленных на проведение управляемых, разумных и нормальных перемен. Очевидная для всех основная проблема состояла в том, что индустриализация Западной Европы и Северной Америки влекла за собой неизбежные процессы урбанизации при долговременной тенденции к превращению бывшего сельского населения в городской пролетариат^[46]. Социалисты предлагали организовать этот пролетариат, и события 1830-х и 1840-х гг. свидетельствовали о том, что такая задача была достижима.

Решение, которое мог предложить либерализм в ответ на эту угрозу общественному порядку, а потому и рациональному общественному развитию, сводилось к предоставлению рабочему классу ряда уступок — к ограниченному допуску его к политической власти и передаче ему определенной доли прибавочной стоимости. Проблема, тем не менее, состояла в том, на какие уступки рабочему классу было достаточно пойти, чтобы удержать его от разрушительных действий, учитывая при этом, что эти уступки не должны были быть настолько значительными, чтобы создать серьезную угрозу процессу непрерывного и все более расширяющегося накопления капитала, являющемуся *raison d'être*^[47] капиталистической мирозкономики и главной заботой правящих классов.

В период между 1848 и 1914 гг. о Либералах — Либералах с большой буквы «Л», которые воплощали идеи либерализма как идеологии с маленькой буквы «л», — можно было сказать, что все это время они находились в постоянном смятении, поскольку никогда не знали, как далеко они осмелятся зайти, никогда не были уверены в том, что уступок было сделано слишком много или слишком мало. Политическим результатом этого смятения стала утрата политической инициативы Либералами с большой буквы «Л» в ходе того процесса, который привел либерализм с маленькой буквы «л» к окончательной победе в качестве господствующей идеологии миросистемы^[48].

То, что произошло с 1848 по 1914 гг., было удивительно вдвойне. во-первых, представители всех трех идеологических течений перешли от теоретических антигосударственных позиций на позиции упрочения и усиления государственных структур самыми разными способами. Во-вторых, либеральная стратегия начала проводиться в жизнь благодаря совместным усилиям консерваторов и социалистов.

Сдвиг от правителя к народу как локус теоретического суверенитета поставил на повестку дня вопрос о том, отражает ли какое-то конкретное

государство волю народа. В этом заключалась сущностная основа классической антиномии — государство или общество, — господствовавшей в политической теории XIX столетия. Не могло быть и тени сомнения в том, что логика народного суверенитета означала предпочтение общества государству в любом конфликте. На деле общество и воля народа были синонимами. И действительно, представители всех трех идеологических течений выступали (прямо или косвенно) в поддержку идеи народного суверенитета, то есть в первую очередь отстаивали интересы общества, тем самым подразумевая свое враждебное отношение к государству.

Очевидно, все три идеологические направления предлагали различные объяснения враждебности к государству. С точки зрения консерваторов, государство представлялось актором настоящего, то есть при проведении в жизнь каких-либо новшеств, предполагалось, что оно выступает против традиционных оплотов общества и социального порядка — семьи, общины, церкви и, конечно, монархии. Наличие в этом перечне монархии уже само по себе было молчаливым признанием господства идеи народного суверенитета; если бы король был истинным сувереном, его правление было бы узаконено к настоящему времени. И действительно, оппозиция легитимистов Людовику XVIII, не говоря уже об их оппозиции Луи-Филиппу, основывалась именно на этой посылке^[49]. Поскольку эти два короля приняли идею Хартии, легитимисты полагали, что они согласились с тезисом о возможности государства принимать законы, направленные против традиции. В силу этого, во имя традиционной королевской власти они выступали против существовавшей в то время реальной власти короля и государства.

Теоретическая враждебность либерализма к государству настолько существенна, что большая часть авторов считает определяющей характеристикой либерализма его роль ночного сторожа доктрины государства. Их главный принцип — *laissez-faire*. Все знают, что либеральные идеологи и политики постоянно и настойчиво выступают с заявлениями о том, насколько важно не допускать государственного вмешательства в рыночные отношения, а иногда, хотя и не так часто, они призывают государство воздерживаться от посягательств на принятие решений в социальной сфере. Основанием для серьезного недоверия государству является первоочередное внимание, уделяемое личности, и подход, в соответствии с которым суверенный народ состоит из личностей, обладающих «неотъемлемыми правами».

И, наконец, мы знаем, что социалисты всех направлений всегда выи

ступали с позиций защиты потребностей и воли общества от тех действий государства, которые они считали деспотическими (и продиктованными классовыми интересами). Тем не менее, в равной степени важно подчеркнуть, что *на практике* все три идеологические течения выступали за реальное усиление государственной власти, эффективности процесса принятия решений и государственное вмешательство, что в совокупности составляло историческую траекторию развития современной миросистемы в XIX и XX столетиях.

Все знают, что на практике социалистическая идеология вела к усилению государственных структур. В «Манифесте Коммунистической партии» об этом говорится вполне определенно:

Мы видели... что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии.

Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил.

[\[50\]](#)

Далее, на пути к «первому шагу», как сказано в «Манифесте»: «Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти». Последнее намерение воплощается в жизнь не только марксистами из социал-демократических партий, но и социалистами-немарксистами (в частности, лейбористской партией): они постоянно оказывают давление на государство с тем, чтобы оно усилило вмешательство в регулирование условий труда, создало структуры для перераспределения доходов, а также узаконило организационную деятельность рабочего класса.

А разве похоже, чтобы консерваторы на практике в меньшей степени поддерживали расширение роли государства? Можно оставить в стороне исторические связи консервативных политических сил, связанных с землевладельцами, и их последовательные выступления в поддержку различных мер государственной защиты интересов, защиту государственного вмешательства в развивавшиеся процессы индустриализации и их социальные последствия с тем, чтобы

предотвратить то, что они считали распадом общества? Конечно, выступали. Лорд Сесаль очень точно выразил суть отношения консервативной идеологии к государству: «Постольку, поскольку государство не предпринимает несправедливых или тиранических действий, нельзя утверждать, что его существование противоречит принципам консерватизма»^[51]. Проблема, стоявшая перед консерваторами, была очень проста. Чтобы как можно больше приблизить общество к тому социальному порядку, который они считали предпочтительным, особенно учитывая быструю эволюцию социальных структур после 1789 г., им было необходимо вмешательство государства^[52].

А разве либералы относились когда-нибудь серьезно не на словах, а на деле к своей идее ночного сторожа государства? Разве они с самого начала своей деятельности не рассматривали государство в качестве оптимального инструмента для рациональной деятельности? Разве не лежала эта мысль в основе философского радикализма Иеремии Бентама^[53]? Разве Джон Стюарт Милль — само воплощение либеральной мысли — приводил иные доводы? В то самое время, когда либералы в Великобритании выступали за то, чтобы не допускать государственного вмешательства в аграрный протекционизм, они стремились вовлечь государство в разработку фабричного законодательства. Лучшее всего, на мой взгляд, реальная практика либералов в отношении государства была сформулирована Л. Т. Хобхаузом:

Таким образом, представляется, что подлинное различие состоит не в саморегулировании и других регулирующих действиях, а в принудительных и не принудительных действиях. Функция государственного принуждения заключается в преодолении индивидуального принуждения и, конечно, принуждения, оказываемого любым объединением отдельных личностей в рамках государства^[54]

Именно это сходство позиций всех трех идеологических течений по вопросу об усилении государственных структур привело к ликвидации самостоятельной политической роли Либералов с большой буквы «Л». Во второй половине XIX в. консерваторы стали либерал-консерваторами, а социалисты — либерал-социалистами. Какое же место в этих условиях осталось либерал-либералам?

Развитие политической реальности можно рассматривать не только

сквозь призму эволюции риторики, но и в рамках эволюции самого политического процесса. Цель либералов, состоявшая в расширении участия в политической жизни рабочего класса, была направлена на предоставление всеобщего избирательного права. Цель либералов, заключавшаяся в том, чтобы позволить рабочим участвовать в распределении прибавочной стоимости, была направлена на создание государства благосостояния. И, тем не менее, самый большой прорыв в этих двух направлениях, — ставший для всей Европы образцом для подражания, — был достигнут благодаря деятельности двух «просвещенных консерваторов»: Дизраэли и Бисмарка. Именно они пошли на то, чтобы провести в жизнь эти важные преобразования, на которые либералы никогда не решались.

Очевидно, что просвещенные консерваторы пошли на эти изменения под давлением социалистов. Рабочий класс требовал участия в голосовании и тех преимуществ, которые мы сегодня называем социальным обеспечением. Если бы он никогда этих преобразований не требовал, вряд ли консерваторы на них бы пошли. Чтобы укротить рабочий класс, просвещенные консерваторы шли на временные уступки, тем самым интегрируя пролетариат и снижая степень его радикализма. Ирония истории заключалась в том, что социалистическая тактика вполне укладывалась в рамки этих правильных представлений просвещенных консерваторов.

И последняя идея либералов была воплощена в жизнь их соперниками. Либералы первыми попытались реализовать народный суверенитет через осуществление идеи национального духовного начала. В теории настрой консерваторов и социалистов был более радикальным. Понятие нации не относилось к числу традиционных консервативных общественных категорий, а социалисты выступали за антинационалистический интернационализм. Теоретически только либералы рассматривали нацию в качестве совокупного выразителя воли отдельных личностей.

Тем не менее, по мере того, как XIX столетие набирало обороты, именно консерваторы перехватили лозунги патриотизма и империализма. А социалисты, кроме того, первыми в высшей степени успешно интегрировали «удаленные» области своих национальных государств. Свидетельством тому служат сильные позиции британской лейбористской партии в Уэльсе и Шотландии, французских социалистов в Провансе, а итальянских — в южных районах страны. Национализм социалистических партий в итоге проявился и подтвердился, когда в августе 1914 г. все они собрались под знаменами своих государств. Европейский рабочий класс

продемонстрировал свою лояльность либеральным государствам, которые шли ему на уступки. Он узаконил существование своих государств.

Как отмечает Шапиро, «когда девятнадцатый век исторически завершился в 1914 году, либерализм стал общепринятой формой политической жизни в Европе»^[55]. Но либеральные партии начали отмирать. Все страны центра капиталистической мировой экономики двигались в направлении фактического идеологического раскола: с одной стороны, — на либерал-консерваторов, с другой — на либерал-социалистов. Этот раскол обычно с большей или меньшей отчетливостью отражался на партийных структурах.

Реализация программных положений либералов достигла впечатляющих успехов. Рабочий класс центральных стран на деле был интегрирован в развивавшийся национальный политический процесс таким образом, что не представлял угрозы функционированию капиталистической мировой экономики. Конечно, это относилось только к рабочему классу ведущих стран. Первая мировая война вновь поставила этот вопрос в масштабе всего мира, где весь ход событий должен был повториться заново.

В масштабе всего мира консерваторы вернулись к тем позициям, которые они занимали в период до 1848 г. Имперское право на земли других стало считаться благотворным для местных жителей и желательным как для мирового сообщества, так и для конкретной метрополии. Более того, не было никаких причин считать, что такому положению вещей когда-нибудь настанет конец. Империя, по мысли консерваторов, была вечной, по крайней мере, для варварских районов. Если у кого-то есть на этот счет сомнения, можно обратиться к концепции мандатов класса «С» в структуре Лиги наций^[56].

Социалистическая идеология, направленная против либерализма, была возрождена революцией в России и созданием марксизма-ленинизма в качестве новой политической программы. Суть ленинизма состояла в осуждении других социалистов за то, что они превратились в либерал-социалистов и потому уже не являлись антисистемной силой. Это положение, как мы уже отмечали, было вполне правильным. Поэтому ленинизм в основном был призывом к возвращению к изначальной социалистической программе — используя давление народа, идти дальше и быстрее по пути неизбежных общественных преобразований. Конкретно эта программа нашла свое отражение в нескольких революционных тактических лозунгах, поддержанных Третьим интернационалом и

воплощенных в 21 условии^[57].

Либерализм, утративший в основном свою политическую функцию в качестве независимой политической силы на национальной арене центральных стран, восстановил свою роль, выступив с программой развития отношений с народными классами периферийных государств, которые теперь называют Югом. Его глашатаями выступили Вудро Вильсон и Франклин Рузвельт. Вильсон и Рузвельт взяли на вооружение две главных идеи либералов середины XIX в. — всеобщее избирательное право и государство благосостояния — и применили их во всемирном масштабе.

Призыв Вильсона к самоопределению наций стал всемирным эквивалентом всеобщего избирательного права. Как каждый гражданин государства должен был иметь равные со всеми права на участие в выборах в своем государстве, так и каждое государство должно было быть суверенным в мировой политике. Рузвельт обновил этот призыв во время Второй мировой войны и добавил к нему необходимость того, что со временем получило название «экономического развития развивающихся стран», которое влекло за собой «техническую поддержку» и «помощь». Такая программа была призвана стать функциональным эквивалентом государства благосостояния в мировом масштабе, попыткой достичь частичного и ограниченного перераспределения прибавочной стоимости, но теперь уже *мировой* прибавочной стоимости.

В определенном смысле история повторилась. Либералы выдвинули программу, которая привела их самих в смятение. В итоге она была воплощена в жизнь объединенными усилиями социалистических народных движений (прежде всего, национально-освободительным движением) и решительными преобразованиями просвещенных консерваторов, таких, в частности, как де Голль. В ходе этого процесса, развивавшегося с 1917 по 1960-е гг., консерваторы превратились на мировой арене в либерал-консерваторов. Они стали ратовать за деколонизацию и «развитие». Выступая в парламенте ЮАР в 1960 г., Гарольд Макмиллан назидательно указал на необходимость согнуться под «ветром перемен». Тем временем в ходе процесса, который достиг своего апогея при Горбачеве, но начался еще при Сталине и Мао Цзэдуне, социалисты превратились в либерал-социалистов. Ленинизм утратил свой радикализм за счет двух основных элементов: постановки цели построения социализма в одной отдельно взятой стране, которую можно назвать процессом догоняющей индустриализации; и стремления к национальному могуществу и достижению преимуществ в рамках межгосударственной системы.

Таким образом, как консерваторы, так и социалисты, приняли либеральную программу самоопределения во всемирном масштабе (также называемую национальным освобождением) и программу экономического развития (иногда называемую построением социализма). Тем не менее, во всемирном масштабе программа либералов не могла увенчаться такими же успехами, которые были достигнуты в национальном масштабе в ведущих странах в период с 1848 по 1914 гг., и еще более значительными успехами в период после Второй мировой войны. Это не могло произойти по двум причинам.

Во-первых, во всемирном масштабе нельзя было обеспечить третий компонент национального «исторического компромисса» — национального единства, — который сдерживал развитие классовой борьбы. Этот третий компонент придавал завершенность национальным либеральным программам всеобщего избирательного права и государства всеобщего благоденствия в Западной Европе и Северной Америке. В теоретическом плане национализм во всемирном масштабе невозможен именно потому, что ему некому противостоять^[58]. Во-вторых, однако, и что более существенно, перевод средств, необходимых для создания государства благосостояния в центральных странах, стал возможен, поскольку общая сумма переводимых средств была не настолько велика, чтобы грозить процессу накопления капитала во всемирном масштабе. Аналогичный процесс в рамках всего мира просто невозможен, особенно если принять во внимание имманентно поляризованную природу процесса капиталистического накопления.

Должно было пройти какое-то время, чтобы невозможность преодоления разрыва между Севером и Югом во всемирном масштабе стала понятной людям во всем мире. Действительно, в период после 1945 г. поначалу сложилась некая атмосфера бодрящего оптимизма. Проходившие по всему миру процессы деколонизации, наряду с невероятным развитием мироэкономики и теми преимуществами, которые в связи с этим постепенно возникали, привели к тому, что пышным цветом расцвели радужные надежды на реформистские преобразования (особенно заманчивые постольку, поскольку реформистская тактика маскировалась революционной риторикой). Важно подчеркнуть, что именно в тот период так называемый социалистический блок служил мировому капитализму в качестве фигового листка, сдерживая чрезмерное недовольство, в частности, и посулив незабываемое хрущевское: «Мы вас похороним».

В 1960-е гг. царивший тогда дух ликования еще препятствовал трезвой оценке капиталистической действительности. Мировая революция 1968 г.,

как мы собираемся показать далее, продолжалась на протяжении двух десятилетий и закончилась крахом коммунистических режимов в 1989 г. На мировой исторической арене события 1968 и 1989 гг. представляют собой единое великое свершение^[59]. Его значение состоит в подрыве либеральной идеологии и завершении двухсотлетней эпохи.

Каков был характерный признак того духа реальности, который отразили события 1968 г.? Именно об этом мы здесь говорим, — он показал, что история миросистемы на протяжении более столетия была историей триумфа либеральной идеологии, а также то, что участники старых левых антисистемных движений стали тем, что я называю «либерал-социалистами». Революционеры 1968 г. выступили с первым серьезным интеллектуальным вызовом модели тройственной идеологии — консервативной, либеральной и социалистической, — доказывая, что на деле все эти течения представляют собой лишь разновидности либерализма, и поэтому подлинной «проблемой» является именно либерализм.

По иронии судьбы первым следствием этого подрыва легитимности либерального консенсуса стало оживление как консервативной, так и социалистической идеологии. Вдруг стало казаться, что как неоконсервативные, так и неосоциалистические идеологи обрели значительное число сторонников (например, многочисленные маоистские группировки 1970-х гг.). Вскоре, однако, подъем 1968 г. стал спадать, выступления были подавлены. Тем не менее, распавшегося либерального Шалтая-Болтая уже нельзя было собрать. Более того, теперь время уже работало против либерального оптимизма. Мировая экономика вступила в затяжную фазу «Б» экономического застоя, который начался в 1967–1973 гг. и не завершился по сей день. Здесь не место для детального рассмотрения истории экономической системы в 1970-е и 1980-е гг. — шока от подъема цен на нефть и последующего перераспределения централизации капитала, долгового кризиса, охватившего сначала третий мир (и социалистический блок), а потом Соединенные Штаты, и перемещения капитала от производственных предприятий к финансовым спекуляциям.

Кумулятивный эффект от потрясения революции 1968 г. и крайне отрицательных последствий длительного спада мировой экономики в двух третях стран мира оказал огромное воздействие на менталитет народов планеты. В 1960-е гг. оптимизм достигал такого подъема, что Организация объединенных наций провозгласила 1970-е гг. «десятилетием развития». На деле результат оказался диаметрально противоположным. Для большинства стран третьего мира это было время движения вспять. Одно за другим

государства приходили к осознанию того факта, что в обозримом будущем разрыв не будет преодолен. Государственная политика стала сводиться к просьбам о подачках и займах, а также к воровству, без чего стало невозможно удержать бюджеты от краха.

Общие экономические трудности имели более серьезные последствия для идеологии, нежели для политики или экономики. Самый тяжелый удар нанесли те, кто громче всего проповедовал идеологию либерального реформизма — прежде всего радикальные национально-освободительные движения, а затем так называемые коммунистические режимы. Сегодня во многих (может быть, во всех) этих странах у всех на устах лозунги свободного рынка. И, тем не менее, — это лозунги отчаяния. Сегодня немногие действительно верят (или еще долго будут верить), что это что-нибудь изменит, а те, кто еще в это верит, будут сильно разочарованы. Скорее здесь можно вести речь о молчаливом уповании на сострадание мира и благотворительность, но, как мы знаем, такие упования редко имели серьезные исторические последствия.

Политики и публицисты ведущих стран настолько заморожены собственной риторикой, что верят в крах чего-то, что называлось коммунизмом, и отказываются верить в тот факт, что на самом деле крах потерпели обещания либералов. Последствия этого не замедлят на нас сказаться, поскольку либерализм как идеология, по сути дела, опирался на «просвещенный» (в отличие от своекорыстного) подход к интересам высших классов. А он, в свою очередь, определялся давлением со стороны народа, которое по форме своей было одновременно и сильным, и сдержанным. Такое сдержанное давление, в свою очередь, зависело от доверия нижних слоев населения к ходу развития событий. Все эти обстоятельства были теснейшим образом переплетены. Потеря доверия в этих условиях означает утрату давления в его сдержанной форме. А в случае утраты подобной формы давления утрачивается и готовность господствующих классов идти на уступки.

На основе нового мировоззрения, возникшего в ходе Французской революции, сложился ряд новых идеологических течений. Мировая революция 1848 г. привела в движение исторический процесс, который, в свою очередь, привел к победе либерализма как идеологии и к интеграции рабочего класса. Первая мировая война вновь поставила на повестку дня дня те же проблемы, но уже в масштабе всего мира. Процесс повторился, но на этот раз безрезультатно. Мировая революция 1968 г. разрушила идеологический консенсус и на протяжении двадцати последующих лет доверие к либерализму было подорвано, кульминационным пунктом этого

процесса стал крах коммунистических режимов в 1989 г.

Если подойти к проблеме с позиции мировоззрения, мы вступили в новую эпоху. С одной стороны, она характеризуется страстным призывом к демократии. Этот призыв, тем не менее, означает не выполнение обещаний либерализма, а его отрицание. Он сводится к констатации того факта, что нынешняя миросистема не демократична, поскольку экономическое благосостояние распределяется неравномерно, и политическая власть на деле распределена неодинаково. Нормальным положением начинают считать социальную дезинтеграцию, а не прогрессивные преобразования. А в условиях социальной дезинтеграции люди, естественно, ищут защиты.

Как некогда они обратились к государству в поисках защиты от происходивших изменений, так теперь они обращаются к групповой солидарности (всем типам объединений), чтобы их защитили. А это уже совсем другая ситуация. Как она будет развиваться на протяжении последующих пятидесяти лет или около того, очень трудно себе представить как в связи с тем, что мы пока не видели эти механизмы в действии, так и потому, что степень возможных колебаний в условиях дезинтеграции миросистемы очень велика. Мы наверняка не сможем спокойно преодолеть этот период, если не будем отдавать себе отчет в том, что ни одно из идеологических течений, — то есть, программ политических действий, — определявших наши поступки в течение последних двухсот лет, на протяжении грядущего периода не будет нам служить надежным помощником.

Кризис в Персидском заливе обозначил начало периода нового мирового беспорядка. Беспорядок не обязательно хуже (или лучше), чем порядок. Тем не менее, он требует иного подхода к действию и противодействию. Вряд ли было бы правильно называть такое положение порядком или триумфом либерализма, что, по сути дела, одно и то же.

Глава 6. Концепция национального развития, 1917–1989: элегия и реквием

По крайней мере, с XVI столетия европейские мыслители обсуждали вопрос о том, как увеличить благосостояние государства, а правительства стремились предпринимать или были вынуждены обещать предпринимать шаги, чтобы это благосостояние хранить и приумножать. Все разговоры о меркантилизме вращались вокруг того, как добиться такого положения, при котором страна получала бы больше богатств, чем отдавала. Когда в 1776 г.

Адам Смит написал «Исследование о природе и причинах богатства народов», он выступил против тезиса о том, что лучшим для правительств способом приумножить это богатство являются различные ограничения в области внешней торговли. Вместо этого, утверждал он, надо предоставить отдельным предпринимателям максимально благоприятные возможности действовать на мировом рынке так, как, по их мнению, было бы наиболее разумно, и такой подход к проблеме на деле привел бы к оптимальному увеличению богатства народа.

Борьба двух позиций — основной установкой на протекционизм и установкой на свободную торговлю — стала одним из основных вопросов построения политики в различных государствах миросистемы на протяжении XIX в. Нередко он превращался в наиболее значительную проблему, отношение к которой разделяло основные политические силы в отдельных государствах. К тому времени стало очевидно, что в идеологическом плане основным вопросом капиталистической мирозкономики является тот факт, что каждое государство могло бы достигнуть и по всей вероятности действительно достигало бы высокого уровня национального дохода; считалось, что к достижению этой цели могут привести сознательные, разумные действия. Такая постановка проблемы вполне укладывалась в рамки основной концепции идеологов Просвещения о неизбежности прогресса и телеологическом подходе к истории человечества, в котором он был воплощен.

Ко времени Первой мировой войны стало также очевидно, что ряд стран Западной Европы и тех государств, которые были созданы белыми переселенцами в других районах мира, действительно, выражаясь современным языком, стали «развитыми» или, по крайней мере, делали успехи на пути к этому состоянию. Конечно, если судить по меркам 1990 г., все эти страны (даже Великобритания) были гораздо менее «современными» и богатыми, чем они стали позже в этом же столетии, но по стандартам того времени дела у них шли просто прекрасно. Первая мировая война стала для них потрясением именно потому, что наряду с другими моментами, она воспринималась в качестве непосредственной угрозы общему процветанию тех районов, которые мы сегодня называем зонами центра мирозкономики.

1917 г. часто воспринимается как идеологический поворотный пункт в истории современной миросистемы. Я с этим согласен, но моя позиция несколько отличается от общепринятой. 2 апреля 1917 г. президент Вудро Вильсон обратился к конгрессу Соединенных Штатов с призывом объявить войну Германии. Он, в частности, сказал: «Мир должен быть безопасен для

демократии». В том же самом году 7 ноября большевики захватили Зимний дворец, выступая от имени революции рабочих. Таким образом, можно сказать, что великое идеологическое противоречие XX в. — между вильсонианством и ленинизмом — возникло в 1917 г. Я докажу, что его конец настал в 1989 г. Далее я попытаюсь показать, что основная проблема, на которую было направлено внимание этих двух идеологий, сводилась к политической интеграции периферии в миросистему. И в заключение я собираюсь доказать, что как вильсонианство, так и ленинизм в качестве механизма этой интеграции рассматривали «национальное развитие», и основное различие между ними состояло лишь в том, какие пути ведут к достижению этого национального развития.

I

Вильсонианство основывалось на классических либеральных посылах. Они носили всеобщий характер, особо подчеркивая тот факт, что предлагавшиеся пути достижения цели в равной степени применимы ко всем и повсюду. В основе этой позиции лежала уверенность в том, что все действуют на основе рационального эгоизма, и потому в конечном счете все действует разумным образом. В связи с этим желательным представлялся путь мирных реформистских преобразований. Особое внимание здесь придавалось вопросам о законности и форме.

Конечно, ни один из предлагавшихся рецептов не был новым. На самом деле, в 1917 г. они уже выглядели достаточно старомодными. Новшество (не открытие, а именно новшество), с которым выступил Вильсон, состояло в том, что эти рецепты были применимы не только к отдельным личностям в рамках государства, но и к национальным государствам или народам на международной арене. Главный тезис вильсонианства — принцип самоопределения, был не чем иным, как принципом свободы личности, перенесенным на уровень межгосударственной системы.

Применение теории, изначально разработанной лишь на уровне личностей, к уровню групп — дело достаточно непростое. Строгий критик Айвор Дженнингс так отзывался о концепции самоопределения Вильсона: «С первого взгляда она представлялась обоснованной: пусть решает народ. Однако на деле она была смехотворной, поскольку народ не может ничего решить, пока кто-то не решит, из кого этот народ состоит»^[60]. Да, здесь, и в самом деле, есть над чем призадуматься!

Тем не менее, очевидно, что когда Вильсон говорил о самоопределении наций, его беспокоили отнюдь не Франция или Швеция. Он говорил о ликвидации Австро-Венгерской, Османской и Российской империй. А когда Рузвельт уже в следующем поколении вновь вернулся к этой теме, он вел речь о ликвидации британских, французских, голландских и других остававшихся имперских структур. Самоопределение, которое они имели в виду, было самоопределением периферийных и полупериферийных районов миросистемы.

Ленин преследовал очень похожие политические цели под совсем иными лозунгами пролетарского интернационализма и антиимпериализма. Его взгляды, несомненно, основывались на иных посылах. Универсальность его подхода определялась подходом с позиций мирового рабочего класса, которому вскоре предстояло стать единственным классом, обреченным в прямом смысле слова стать идентичным «народу». В долгосрочной перспективе нациям, как и народам, не было отведено место в марксистском пантеоне; считалось, что со временем они исчезнут, как и государства. Но в краткосрочном и даже среднесрочном планах нации и народы были вполне реальными понятиями, которые марксистские партии не только не могли игнорировать, но считали их тактически потенциально полезными для достижения поставленных ими целей.

В теории российская революция осуждала Российскую империю и ратовала за то же самое самоопределение наций/народов, достижение которого провозглашалось как цель в доктрине Вильсона. Тому обстоятельству, что на деле «империя» в значительной мере была сохранена, большевики упорно давали безупречное объяснение, состоящее в том, что она обрела форму добровольной федерации республик — СССР, — где даже в рамках каждой республики были большие возможности для формальной автономии народов. А когда всякие надежды на мифическую революцию в Германии пошли прахом, Ленин обратил свой взор на Баку, провозгласив необходимость уделять особое внимание «Востоку». На деле марксизм-ленинизм двигался от своих истоков как теории пролетарского восстания против буржуазии к своей новой роли в качестве теории антиимпериализма. Со временем это изменение в расстановке акцентов только увеличивалось. Вполне вероятно, что в последующие десятилетия больше людей читали ленинскую работу «Империализм как высшая стадия капитализма», чем «Манифест».

Таким образом, вильсонизм и ленинизм возникли как соперничающие доктрины, отражавшие лояльность к народам периферийных районов мира. Поскольку доктрины были

соперничающими, каждая в пропагандистских целях уделяла большое внимание отличиям от другой. И, конечно, между ними существовали реальные различия. Но мы не можем закрывать глаза и на значительное сходство между ними. Обе идеологии совпадали не только в том, что исходили из принципа самоопределения наций; они также разделяли уверенность, что этот принцип имеет непосредственное (если не всегда самое прямое) отношение к политической жизни периферийных районов. Иначе говоря, обе доктрины выступали в поддержку того, что позже стали называть «деколонизация». Более того, по большому счету, даже когда дело доходило до определения того, какие именно народы имели это гипотетическое право на самоопределение, сторонники обеих доктрин выступали с очень схожими перечнями названий. Были, конечно, и незначительные тактические разногласия, связанные с не столь значимыми соображениями относительно мирового *rapport de forces*, но мы не найдем сколько-нибудь важного примера основополагающих разногласий эмпирического характера. Израиль числился и в том, и в другом перечне, Курдистана не было ни в одном. Ни та, ни другая сторона не признавали теоретической законности существования Бантустанов. Обе стороны не усматривали логически обоснованной причины для выступления против определявшейся обстоятельствами реальности существования Пакистана и Бангладеш. Нельзя было сказать, что ими применялись принципиально отличавшиеся друг от друга критерии для определения законности.

Очевидно, между двумя подходами существовали различия в вопросе о путях достижения самоопределения. Вильсонянцы выступали за то, что получило название «конституционного» пути, то есть постепенного, упорядоченного перехода власти, достигающегося путем переговоров между имперскими властями и уважаемыми представителями того народа, о котором в каждом конкретном случае идет речь. Деколонизация должна была быть, как позже стали говорить французы, *octroyee* (пожалована, дарована). Ленинизм опирался на «революционную» традицию и намечал более бунтарский путь для достижения «национальной независимости». Независимость должна была быть не *octroyee* (дарована), а *arrachee* (захвачена). Позже это нашло свое воплощение в маоистском положении о необходимости «продолжительной борьбы», которая должна распространиться повсеместно, и, что более важно, она должна стать основополагающей частью стратегии национально-освободительных движений.

Однако значение даже этого различия не следует переоценивать. Исходя из ленинистской доктрины, мирный процесс деколонизации не был

неприемлем — он был просто невероятен. И революционный национализм не был полностью несовместим с идеями вильсонизма — просто он был опасен, а потому, по мере возможности, его следовало избегать. Тем не менее, спор этот был вполне реален, поскольку он прикрывал собой другой вопрос: кто должен был возглавить борьбу за самоопределение? А это, в свою очередь, было важно, поскольку, очевидно, должно было определять политику «в период после достижения независимости». Вильсонизм видел естественными руководителями национально-освободительных движений интеллигенцию и буржуазию — образованных, уважаемых и рассудительных людей. Они предполагали, что представители этих движений на местах смогут убедить более «современную» часть традиционного руководства участвовать в политических реформах и принять разумный парламентский путь организации государства, недавно получившего независимость. Ленинисты считали, что руководство должно перейти к партии/движению, организованному по образу и подобию партии большевиков, даже в том случае, если национально-освободительное движение не полностью разделяет все положения ленинистского идеологического канона. Руководителями могли стать представители «мелкой буржуазии», но при том условии, что эта мелкая буржуазия придерживалась «революционных» позиций. Предполагалось, что после прихода к власти партия/движение превратится в партию/государство. В данном случае различия тоже не следует преувеличивать. Нередко уважаемые интеллигенция/буржуазия и так называемая революционная мелкая буржуазия на деле были одними и теми же людьми или, по крайней мере, двоюродными братьями. Что касается партии/движения, эта формула так же часто использовалась движениями сторонников как вильсонизма, так и ленинизма. А в отношении политики, которая должна была проводиться после получения независимости, ни вильсонизм, ни ленинизм особенно не беспокоились, пока шла борьба за достижение самоопределения.

II

Что же показала действительность после деколонизации? Очевидно, что именно здесь противоречия вильсонизма и ленинизма раскрылись в полной мере. Прежде всего, следует подчеркнуть, что вопрос о связи двух путей достижения независимости с противоположными политическими курсами после ее обретения, тогда еще просто не стоял. Это относилось к

области внешней политики. Во всех мировых проблемах, в которые были вовлечены Соединенные Штаты и СССР в ходе холодной войны, государства, находившиеся за пределами регионов центра, обычно тяготели либо к одной, либо к другой стороне. Некоторые государства считались и сами себя считали «прозападными», другие рассматривали себя в качестве части мирового прогрессивного лагеря, который включал СССР.

Конечно, было великое множество промежуточных позиций, и со временем не все государства продолжали придерживаться последовательной линии поведения. Одним из крупных движений стало само Движение неприсоединения. Тем не менее, когда нужно было принимать какие-то решения, или в таких второстепенных вопросах, как голосование за резолюции Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, заранее легко было предсказать, каковы будут результаты голосования той или иной страны. Соединенные Штаты и их союзники, с одной стороны, и СССР и так называемый социалистический блок, с другой, прилагали энергичные усилия на поприще дипломатии, стремясь подтолкнуть колебавшиеся государства в ту или иную сторону. И вильсонианская, и ленинистская пропагандистские машины работали неустанно: напрямую — через государственные средства массовой информации, и косвенно — через научные обсуждения.

Тем не менее, при пристальном взгляде на реальное внутреннее положение различных государств оказывается, что как в политической, так и в экономической областях, между ними было меньше различий, чем должно было бы быть, если исходить из теории или пропагандистских выступлений. С точки зрения реально сложившихся политических структур, в большинстве этих стран у власти стояли либо однопартийные правительства (*de facto* или *de jure*), либо военные диктатуры. Даже когда в некоторых государствах формально существовали многопартийные системы, на деле одна партия стремилась получить господствующее институциональное положение с тем, чтобы установленный режим нельзя было бы изменить никаким путем, кроме военного переворота.

Не больше различий имело место и в области экономики. В разных странах на частное предпринимательство накладывались те или иные ограничения, и почти во всех государствах третьего мира возникло большое число государственных предприятий, хотя фактически ни в одном из них государственная форма собственности не была единственной. В еще большей степени, как известно, варьировался уровень допуска иностранных капиталовложений. В странах более «прозападной» ориентации они поощрялись, их даже настойчиво добивались, хотя

достаточно часто в форме совместных предприятий с государственными корпорациями. В более радикальных, или «прогрессивных», странах к вопросу об иностранных инвестициях подходили с большей настороженностью, хотя полностью от них отказывались в крайне редких ситуациях. В данном случае речь скорее могла идти о том, что инвесторы из государств ОЭСР сами не горели желанием вкладывать средства в такие страны, поскольку считали подобного рода инвестиции политически высоко рискованными.

В заключение следует отметить, что положение с оказывавшейся помощью тоже не слишком различалось. На самом деле все страны третьего мира активно стремились получить помощь как в виде прямых фантов, так и в форме займов. Очевидно, что государства, предоставлявшие эту помощь, пытались увязать ее с внешнеполитическим курсом стран, которым она могла быть потенциально предоставлена. Большое число государств получало помощь преимущественно от стран ОЭСР. Меньшее их количество получало помощь в основном от государств социалистического блока. Некоторые страны сознательно делали упор на помощь, получаемую ими от скандинавских стран (а также Голландии и Канады). Большое число государств были готовы получать помощь из разных источников. В конечном счете, львиная доля помощи имела одну и ту же форму: обучение персонала и целевые гранты, выделявшиеся на поддержание военных структур и финансирование так называемых проектов развития.

Всем этим странам без исключения была присуща вера в возможность и очень большое значение «национального развития». Национальное развитие повсеместно носило рабочее определение «догоняющего». Естественно, что все, кто был вовлечен в этот процесс, полагали, что задача эта долгая и трудная. Наряду с этим считалось, что она выполнима, но при условии проведения правильной *государственной* политики. Под этим подразумевался весь спектр идеологических проблем — от облегчения беспрепятственного движения капитала, товаров и рабочей силы через национальные границы (одна крайность) до полного государственного контроля за производственными и торговыми операциями при практически закрытых границах (другая крайность). Естественно, между этими полюсами существовало огромное количество промежуточных позиций.

Тем не менее, общим в программах всех государств-членов Организации объединенных наций, не входящих в центральную зону, — от СССР до Аргентины, от Индии до Нигерии, от Албании до Сент-Люсии, — являлась основополагающая государственная задача увеличения богатства

страны и «модернизации» ее инфраструктуры. Кроме того, всем им был присущ связанный с возможностью достижения этой цели оптимизм. Всех их объединяло также ощущение того, что лучше всего эта задача может быть решена при полном участии в межгосударственной системе. Когда какое-то государство хотя бы частично бывало из нее исключено, как это имело место на протяжении многих лет с Китайской народной республикой, оно делало все возможное, чтобы вернуть себе статус полноправного члена этой системы.

Короче говоря, вильсонианско-ленинистская идеология самоопределения наций с их абстрактным равенством и подходом к проблеме развития, воплощенная в двух ее вариантах, была полностью и повсеместно воспринята в качестве действенной программы политических движений периферийных и полупериферийных зон миросистемы.

В этом смысле СССР сам был своего рода первым пробным камнем правильности анализа и применимости этих рекомендаций. После революции структура государства была формально изменена — оно стало представлять собой федерацию государств, в каждое из которых входили автономные подразделения, — в полном соответствии с юридической формулой самоопределения. Когда Ленин выступил с лозунгом «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация», он выдвинул национальное (экономическое) развитие в качестве первоочередной цели государственной политики. И когда десятилетия спустя Хрущев заявил о том, что Советский Союз Соединенные Штаты к 2000 г., он тем самым выразил величайший оптимизм относительно идеи «догоняющего» развития.

Эти темы все сильнее звучали в межвоенные годы — в Восточной и Центральной Европе, в Латинской Америке, в Индии и в других местах 2). Сначала предметом гордости СССР было то обстоятельство, что в 1930-е гг., во время мирового экономического кризиса, там не только не было безработицы, но проводилась в жизнь программа ускоренной индустриализации.

После 1945 г. в мире еще больше усилилась вера в возможности национального развития. Сравнительно быстрое восстановление Западной Европы и Японии (после колоссального ущерба, который претерпела там инфраструктура от разрушений военного времени), казалось, свидетельствовало о том, что при наличии воли и капиталовложений можно было быстро обновить техническую базу и таким образом поднять общий уровень жизни. Внезапно тема экономического развития стала всеобщей — о нем заговорили политики,

журналисты и ученые. В медвежьих углах развитых стран (на юге США, в южной Италии и т. д.) люди ставили своей целью. Третий мир также должен был развиваться — частично за счет собственных сил, частично с помощью более передовых стран. Организация объединенных наций официально провозгласила 1970-е гг. десятилетием развития.

В университетах всего мира развитие стало новой темой, объединявшей интеллектуалов. В 1950-х гг. на основе либеральных концепций была разработана, а в 1960-х гг. марксисты выдвинули ей в противовес свою концепцию.^[61]

Это явно было возрождением на новом уровне вильсонианско-ленинистского противоречия. И опять на деле конкретные рекомендации о проведении государственной политики, выдвигавшиеся сторонниками и той, и другой теории, носили диаметрально противоположный характер. Но те, кто предлагал правительствам их применять, независимо от того, какой теории они придерживались, были уверены в том, что если в той или иной стране их рекомендации будут воплощены в жизнь, эта страна пойдет по пути национального развития и тоже сможет догнать развитые государства.

Мы знаем, что на самом деле произошло в реальном мире. Примерно с 1945 по 1970 гг. во всем мире на практике предпринимались значительные усилия по развитию средств производства и увеличению объема выпускаемой продукции. Именно в тот период основным критерием экономического роста стали показатели ВВП и ВНП в пересчете на душу населения, а сам ВВП стал основным показателем экономического.

В тот период фаза «А» кондратьевского цикла достигла исключительного подъема. Уровень экономического роста в мире существенно колебался, но в целом его показатели повсюду шли вверх, причем не в последнюю очередь в так называемых социалистических странах. Этот период в странах третьего мира был временем политического триумфа большого числа движений, развивавших стратегию борьбы за достижение государственной власти с тем, чтобы после ее получения проводить политику, которая обеспечивала бы национальное развитие. Все, таким образом, казалось бы, двигалось в одном позитивном направлении: экономическое развитие во всем мире; осуществление отдельными государствами вильсонианско-ленинистских предсказаний; и почти повсюду наблюдался подъем показателей экономического роста. Теория развития была главным вопросом повестки дня; во всем мире признали ее убедительность и неизбежность.

Тем не менее, такой взгляд на вещи претерпел два удара, от которых мир еще не оправился и, как я собираюсь доказать, не оправится никогда.

Первым ударом стала всемирная революция 1968 г. Вторым ударом стал всемирный экономический застой в период 1970-1990-х гг., экономический крах почти всех правительств периферийной и полупериферийной зон и крушение режимов в так называемых социалистических государствах. Идеологическая оболочка системы была пробита всемирной революцией 1968 г. Ее остатки были сметены в 1970-е и 1980-е гг. Болезненная рана поляризации Север — Юг раскрылась и стала видна невооруженным глазом. В то время мир от отчаяния стал бормотать заклинания о рынке, как о целебном снадобье, которое могло бы еще хоть что-то спасти. Но рыночная медицина действует как йод — она не спасает от дальнейшего ухудшения положения. Весьма маловероятно, что в большинстве государств, перешедших теперь от «социалистических» лозунгов к «рыночным», в 1990-е гг. значительно повысится уровень жизни. Ведь подавляющее большинство стран, не принадлежащих к числу центральных, которые приняли на вооружение рыночные лозунги в 1980-е гг., сейчас находятся в достаточно трудном положении. Всегда много говорят о редких «удачных историях» (их нынешним героем является Южная Корея), забывая при этом о гораздо большем числе неудач и постепенном упадке героев предшествующих, если можно так выразиться, «удачных историй», таких как Бразилия.

Тем не менее, главная проблема состоит не в том, привел тот или иной политический курс в той или иной стране к экономическому развитию или нет. Основной вопрос заключается в том, сохранится или нет широко распространенное убеждение в вероятности экономического развития в результате проведения какого-то особого государственного политического курса.

III

Всемирная революция 1968 г. разразилась в результате ощущения того, что национального развития не происходило; тогда еще не было очевидно, что сама по себе его цель является иллюзорной^[62]. Все выступления (на востоке и на западе, на севере и на юге) были проникнуты двумя основными идеями, какая бы к ним не примешивалась местная специфика. Первой из них была идея протеста против гегемонии США в миросистеме (и тайного сговора с СССР, который способствовал упрочению этой гегемонии). Второй — идея протеста против неэффективности так называемых движений старых левых, которые во многих обликах пришли

к власти по всему миру — как социал-демократы на Западе, коммунисты на Востоке, движения национального освобождения на Юге. Все эти движения подвергались критике за то, что на деле они не изменили мир, как обещали тогда, когда боролись за поддержку масс. Их обвиняли в том, что они слишком интегрировались в господствующую миросистему, и от их бывшей антисистемности мало что осталось.

В определенном смысле те, кто участвовал в различных выступлениях, хотели сказать представителям «старых левых» политических движений, что их организационная деятельность достигла той формальной политической цели, которую исторически они поставили перед собой — прежде всего, политической власти, — но было очевидно, что к большему равенству между людьми это не привело, хотя именно такая цель лежала в основе их стремления к получению государственной власти. С другой стороны, широкое внимание, которое в то время во всем мире привлекал «маоизм», объяснялось тем фактом, что он в наиболее решительной форме выражал это двойное неприятие: гегемонии США (в тайном сговоре с СССР) и неэффективности движений «старых левых» в целом. Тем не менее, маоизм выдвигал тот аргумент, что вина за это лежала на плохом руководстве движений «старых левых», которые, используя терминологию маоистов, стали «попутчиками капитализма». Таким образом, из этого положения следовало, что если теперь эти движения избавятся от «попутчиков капитализма» и проведут «культурную революцию», тогда, наконец, задача национального развития будет на деле решена.

Значение всемирной революции 1968 г. состояло не только в тех политических изменениях, которые она вызвала к жизни. К 1970 г. выступления были повсюду подавлены или угасли сами по себе. Но с идеями, которые она выдвинула, дело обстояло совсем иначе. В первой половине 1970-х гг. маоизм имел достаточно сторонников, но к середине десятилетия его влияние ослабло, прежде всего, в самом Китае. Проблемы, которые ставили новые общественные движения, — культурный национализм «меньшинств», феминизм, экология, — оказались более живучими, чем маоизм, но им еще предстоит обрести более прочное идеологическое обоснование. Значение 1968 г. состоит скорее в том, что он пробил брешь в том единстве мнений, с которым воспринимались вильсонизанско-ленинистские концепции, поставив вопрос о том, привела ли на самом деле идеология развития к каким-то существенным продолжительным результатам. Он заронил идеологические сомнения и подорвал веру.

А когда вера была поколеблена, когда всеобщее единство взглядов

было сведено лишь к одной точке зрения, существовавшей наряду с другими (несмотря на то, что она пока имела наибольшее число сторонников), в ходе повседневной действительности стало возможным обнажить сущность этой идеологии. Именно такой процесс и развивался на протяжении 1970-х и 1980-х гг. Застой в мироэкономике и переход к фазе «Б» кондратьевского цикла усугубились двумя крупными событиями, имевшими далеко идущие последствия. Первым из них стало повышение странами-членами ОПЕК цен на нефть. Вторым был долговой кризис 1980-х гг.

Сначала считали, что повышение странами ОПЕК цен на нефть должно было вернуть доверие к возможностям национального развития. Казалось, оно должно было продемонстрировать, что основные производители нефти на Юге, объединив усилия, могли оказать существенное воздействие на условия торговли. Поднявшаяся сначала на Западе по этому поводу истерия подливала масла в огонь такого рода объяснения. Вскоре, однако, этому событию была дана более трезвая оценка. Что же произошло на самом деле? Страны-члены ОПЕК под руководством шаха Ирана и лидеров Саудовской Аравии (которые, следует подчеркнуть, были самыми большими друзьями Соединенных Штатов среди всех стран ОПЕК), резко подняли цены на нефть, получив за счет этого значительную часть мировой прибавочной стоимости. Это обстоятельство привело к существенному оттоку средств из всех стран третьего мира и социалистических государств, которые сами не являлись производителями нефти, в то время, когда спрос на производимую ими самими продукцию на мировом рынке снизился. Отток средств из основных промышленно развитых стран также был значительным, но гораздо менее существенным в процентном отношении, и продолжался он недолго, поскольку этим странам было легче принять меры по изменению структуры потребления энергии.

А что случилось с той частью мировой прибавочной стоимости, которая была перекачена в нефтедобывающие страны? Часть ее, конечно, была потрачена на программы «национального развития» этих государств, в частности, Нигерии, Алжира, Ирака, Ирана, Мексики, Венесуэлы и СССР. Другая часть была израсходована в странах-производителях нефти на предметы роскоши, то есть эти деньги были переведены в государства ОСЭР для закупки товаров — в качестве капиталовложений или перевода частных средств. А оставшиеся финансовые ресурсы были вложены в банки Европы и США. Эти деньги, вложенные в банки, вернулись в страны третьего мира и социалистические государства (включая даже страны-

производители нефти) в качестве государственных займов. Эти государственные займы решили текущие проблемы платежных балансов тех государств, которые оказались в плачевном состоянии именно потому, что были подняты иены на нефть. Благодаря полученным займам правительства оказались в состоянии на какое-то время отсрочить рост влияния политической оппозиции, используя эти средства на продолжение закупок импортных товаров (даже, несмотря на снижение экспорта). Это обстоятельство, в свою очередь, потребовало увеличения производства товаров в странах ОЭСР, тем самым, уменьшив воздействие на них застоя в мироэкономике.

Тем не менее, еще в 1970-е гг. некоторые страны третьего мира начали ощущать на себе воздействие снижения уровня роста наряду с истощением финансовых и социальных запасов. К началу 1980-х гг. это воздействие проявлялось уже повсеместно (за исключением Восточной Азии). Первым крупным открытым проявлением долгового кризиса стали события в Польше в 1980 г. В 1970-е гг. правительство Терека действовало как все, занимая и расходуя деньги. Но когда пришло время платить по счетам, польское правительство попыталось решить эту проблему за счет увеличения цен внутри страны, переложив тем самым бремя платежей на плечи рабочего класса. Результатами стали Гданьск и «Солидарность».

В 1980-е гг. периферийные и полупериферийные страны столкнулись с целым рядом экономических трудностей. Причем они были присущи, практически, им всем. Первой общей для всех проблемой было народное недовольство стоявшими у власти режимами, следствием чего стало разочарование в проводимой ими политике. Даже в тех случаях, когда эти режимы рушились, независимо от того, были они свергнуты насильственным путем или потому, что они сами прогнили до основания, были это военные диктатуры, коммунистические режимы или однопартийные правительства в странах Африки, — давление с целью проведения политических изменений носило скорее негативный, чем позитивный характер. Перемены происходили скорее не от надежды, а от отчаяния. Вторая проблема состояла в том, что страны ОЭСР заняли жесткую позицию в вопросах, связанных с финансами. Столкнувшись с собственными экономическими трудностями, они перестали проявлять терпение в подходе к решению проблем третьего мира и социалистических правительств. МВФ стал навязывать им жесткие условия и настаивать на их выполнении, предоставляя совсем незначительную помощь и убеждая в достоинствах рыночных отношений и приватизации. От кейнсианской терпимости 1950-х и 1960-х гг. не осталось и следа.

В начале 1980-х гг. в странах Латинской Америки пал целый ряд военных диктатур, проводивших курс на развитие; там пришли к власти «демократические» правительства. В арабском мире светские режимы, политика которых была ориентирована на развитие, стали подвергаться ожесточенным нападениям со стороны исламистов. В странах черной Африки, где однопартийные правительства были основными структурами, на которые возлагали надежды сторонники развития, этот миф развеялся в прах. А глубокие сдвиги, произошедшие в 1989 г. в Восточной и Центральной Европе, оказались большим сюрпризом для всего мира, хотя они были отчетливо предначертаны еще событиями 1980 г. в Польше. Мы стали свидетелями развала КПСС и самого Советского Союза, откуда, в определенном смысле, начинала свой путь политика, направленная на развитие. Когда курс на развитие терпел крах в Бразилии или в Алжире, можно было говорить, что это произошло потому, что они не следовали политическим путем, проложенным СССР. Но что можно было сказать, когда и в самом СССР он завершился крахом?

IV

История 1917–1989 гг. заслуживает и элегии, и реквиема. Элегии она достойна потому, что восторжествовала вильсонианско-ленинистская концепция самоопределения наций. На протяжении этих семидесяти лет процесс деколонизации в мире был, практически, завершен. Внеевропейский мир был интегрирован в систему формальных политических институтов межгосударственной системы.

Освобождение от колониальной зависимости было частично *octroyee*, частично *arrachee*. В ходе этого процесса во всем мире потребовалось провести огромную работу по мобилизации масс, в ходе которой повсеместно пробудилось их самосознание. Теперь уже будет чрезвычайно трудно когда-нибудь загнать джина обратно в бутылку. Действительно, сейчас основная проблема состоит в том, как сдержать распространяющийся вирус микронационализма малых народов, поскольку все большее их число стремится отстоять свою национальную самобытность и тем самым получить право на самоопределение.

Однако с самого начала было очевидно, что все хотят добиться самоопределения главным образом для того, чтобы проложить себе путь к процветанию. И с самого начала было ясно, что путь к процветанию тернист и труден. Как мы уже отмечали, он обрел форму поиска путей

национального развития. И этот поиск на протяжении долгого времени было сравнительно легче вести, опираясь не столько на вильсонианскую, сколько на ленинистскую риторику, точно так же, как бороться за деколонизацию было сравнительно проще при опоре на риторику вильсонианскую.

Поскольку этот процесс должен был проходить в два этапа — сначала деколонизация (или аналогичные политические изменения), а потом экономическое развитие, — это значило, что вильсонианская половина задачи ждала своего ленинистского воплощения в жизнь. Перспектива национального развития служила оправданием всей структуры миросистемы. В этом смысле судьба вильсонианской идеологии зависела от судьбы идеологии ленинистской. А если выразиться грубее, не столь изысканно, ленинистская идеология была фиговым листком идеологии вильсонианской.

Сегодня фиговый листок сорван, и король остался голым. Все восторженные вопли по поводу триумфа демократии во всем мире в 1989 г. не смогут долго скрывать отсутствие какой бы то ни было серьезной перспективы для экономических преобразований на периферии капиталистической мирэкономки. Поэтому не ленинисты будут петь реквием по ленинизму, а вильсонианцы. Именно они находятся сейчас в затруднительном положении, и у них нет приемлемых политических решений. Это нашло свое отражение в том тупиковом положении без надежды на выигрыш, в котором оказался президент Буш во время кризиса в Персидском заливе. Но кризис в Персидском заливе был лишь началом другой истории.

По мере того, как конфронтация между Севером и Югом будет принимать все более ожесточенные (и насильственные) формы в грядущие десятилетия, мы начнем понимать, насколько сильно будет не хватать миру того объединяющего идеологического начала, которое было присуще вильсонианско-ленинистской идеологической антиномии. Оно представляло собой славное, но исторически недолговечное одеяние короля, сотканное из идей, надежд и человеческой энергии. Ему трудно будет найти замену. И, тем не менее, лишь придя к новому и гораздо более убедительному утопическому видению мира, мы сможем преодолеть ожидающий нас в ближайшее время период забот и волнений.

Часть III. Исторические дилеммы либерализма

Глава 7. Конец какой современности?

Когда в конце 1940-х гг. я поступил в колледж, нас учили тому, как хорошо быть современным и что это значит — быть современным. Сегодня, без малого полвека спустя, нам рассказывают о добродетелях и достоинствах эпохи постмодерна. Что же такое случилось с современностью, что она перестала быть нашим спасением и теперь превратилась, напротив, — в демона современности? Современность, о которой мы говорили тогда, — та ли это современность, о которой говорим мы ныне? Конец какой современности мы наблюдаем?

«Оксфордский словарь английского языка» («Oxford English Dictionary» (OED)), куда нелишне заглядывать первым делом, сообщает нам, что одно из значений *modern* «современного» историографическое — и «обыкновенно приложимо (в противопоставление древнему и средневековому) ко времени, следующему за средними веками». ОЕО цитирует одного автора, употребляющего термин «современный» в этом смысле уже в 1585 г. Далее OED сообщает, что «современный» также означает: «относящийся ко времени или начинающийся с текущего века или периода». В последнем случае *postmodern* представляет собой оксюморон, который, думаю, следует подвергнуть деконструкции.

Лет пятьдесят назад современное несло в себе две четких коннотации. Одна была положительной и устремленной в будущее. Современное означало наиболее передовую технологию. Термин помещался в концептуальные рамки, предполагавшие бесконечность технологического прогресса и как следствие — непрерывность новаторства. В результате эта современность была мимолетной: что современно сегодня, то устареет завтра. Форма этой современности была вполне материальной: самолеты, кондиционеры, телевидение, компьютеры. Притягательная сила такого рода современности и доныне еще себя не исчерпала. Миллионы детей нового века, несомненно, могут утверждать, что они отвергают это вечное стремление к скорости и контролю над окружающей средой как нечто нездоровое, по сути злонамеренное. Но есть миллиарды — не миллионы, а миллиарды — людей в Азии и Африке, в Восточной Европе и Латинской Америке, в трущобах и гетто Западной Европы и Северной Америки, которые только жаждут воспользоваться плодами такого рода

современности сполна.

Однако была и вторая немаловажная коннотация понятия современного, более противопоставляющего, нежели утверждающего свойства. Эту вторую коннотацию можно охарактеризовать не столько как устремленную в будущее, сколько воинствующую (и не допускающую критики), не столько материальную, сколько идеологическую. Быть современным означало быть антисредневековым, в рамках антиномии, где в концепте «средневековый» была воплощена узость мысли, догматизм и в особенности — ограничения, налагаемые властью. Это и Вольтер, кричащий: *Ecrasez l' infâme*^[63] и Милтон, по существу прославляющий Люцифера в «Потерянном рае», и все классические «Революции» с большой буквы — разумеется, английская, американская^[64] и французская, но также и русская, и китайская. В Соединенных Штатах это и учение об отделении церкви от государства, и первые десять поправок к Конституции США, и «Прокламация об освобождении»^[65], и Кларенс Дэрроу на процессе Скопса^[66], и дело «Браун против Совета образования»^[67], и дело «Роу против Уэйда»^[68].

Короче говоря, это было заведомое торжество человеческой свободы в борьбе против сил зла и невежества. Траектория движения была столь же неотвратно поступательной, как и в случае технологического прогресса. Но то не было торжество человечества над природой; то было скорее торжество человечества над самим собой, или же над теми, кто пользовался привилегиями. То был путь не интеллектуального открытия, но социального конфликта. Эта современность была современностью не технологии, не сбросившего оковы Прометея, не безграничного богатства, но уж скорее — освобождения, реальной демократии (правления народа либо правления аристократии, или правления достойных), самореализации человека и, пожалуй, умеренности. Эта современность освобождения была современностью не мимолетной, но вечной. Когда она стала явью, отступить уже нельзя.

Эти два нарратива, два дискурса, два поиска, две современности весьма несхожи, даже противоположны друг другу. Исторически они друг с другом тесно переплелись, и оттого произошло смятение, неопределенность результатов, немалое разочарование и крушение иллюзий. Симбиоз этой пары образует центральное культурное противоречие нашей современной миросистемы, системы исторического капитализма. И сегодня это противоречие обострилось более чем; и ведет как к моральному, так и к институциональному кризису.

Проследим историю такого невразумительного симбиоза двух современностей — современности технологии и современности освобождения — на протяжении истории нашей современной миросистемы. Я разделю свой рассказ на три части: 300–350 лет, что проходят от истоков нашей современной миросистемы в середине XV в. до конца века XVIII, век XIX и большая часть XX, или, пользуясь двумя символическими датами за этот второй период, эпоха с 1789 по 1968 гг.; период после 1968 г.

Современной миросистеме всегда бывало трудно ужиться с идеей современности, но в каждый из трех периодов по разным причинам. На протяжении первого периода эта историческая система, которую мы можем назвать капиталистической мироэкономикой, формировалась лишь частью земного шара (преимущественно большей частью Европы и обеими Америками). Систему на тот период мы и в самом деле имеем право обозначить указанным образом, поскольку в ней уже были налицо три определяющих признака капиталистической мироэкономики: в ее границах существовало единое осевое разделение труда с поляризацией между центральными и периферийными видами экономической деятельности; основные политические структуры, государства, были связаны воедино в рамках межгосударственной системы, границы которой совпадали с границами осевого разделения труда; те, кто стремился к постоянному накоплению капитала, в среднесрочной перспективе брали верх над теми, кто к этому не стремился.

Тем не менее, геокультура подобной капиталистической мироэкономики в этот первый период еще не утвердилась. По существу, то был такой период, в котором для тех частей света, что располагались в лоне капиталистической мироэкономики, никаких ясных геокультурных норм не существовало. Не существовало социального консенсуса, даже минимального, по таким фундаментальным вопросам, как должны ли государства быть светскими; в ком локализуется моральная составляющая верховной власти; легитимность частичной корпоративной автономии для интеллектуалов; допустимость существования множества религий. Все это знакомые истории. Они как будто истории тех, кто наделен властью и привилегиями, кто стремится сдерживать силы прогресса в ситуации, когда основные политические и социальные институты были все еще подконтрольными первым.

Важно отметить, что на протяжении этого длительного периода и те, кто отстаивал современность технологии, и те, кто отстаивал современность освобождения, зачастую имели дело с одними и теми же

могущественными политическими противниками. Две современности, казалось, выступали в тандеме, и немногим приходило в голову прибегнуть к формулировкам, в которых между ними делалось различие. Галилей, вынужденный подчиниться церкви, но (вероятно апокрифически) бормочущий: «*Errur si tuovi*»^[69], виделся борцом как за технологический прогресс, так и за освобождение человечества. Мысль эпохи Просвещения, пожалуй, можно резюмировать так: она составляла веру в тождество современности технологии и современности освобождения.

Если и было какое-то культурное противоречие, то лишь в том, что капиталистическая мирозкономика политически и экономически функционировала в рамках, не обеспечивавших необходимую геокультуру для ее поддержания и усиления. Система в целом была не приспособлена к своим собственным динамическим нагрузкам. Мысленно ее можно представить как раскоординированную или борющуюся с самой собой. Продолжающаяся дилемма системы была геокультурной. Чтобы капиталистическая мирозкономика могла процветать и расширяться, как того требовала ее внутренняя логика, ей была необходима основательная настройка.

Особенно остро этот вопрос поставила Французская революция, не только для Франции, но для всей современной миросистемы в целом. Французская революция не была изолированным событием. Скорее ее можно мысленно представить как эпицентр урагана. Она ограничивалась с обеих сторон (до и после) деколонизацией американского континента — провозглашение независимости белыми поселенцами в Британской Северной Америке, в испано-язычной Америке и в Бразилии; революция рабов на Гаити и подавленные восстания коренных американцев, подобные восстанию Тупака Амару в Перу. Французская революция дала толчок к такой борьбе за освобождение в широком понимании этого слова, так же как и нарождающимся национализмом по всей Европе и ее окраинам — от Ирландии до России, от Испании до Египта. Это произошло не только потому, что она пробуждала сочувствие к французским революционным доктринам, но также и потому, что она вызывала ответные действия против французского (то есть наполеоновского) империализма, облеченного именем тех же самых французских революционных доктрин.

Прежде всего, Французская революция выявила, во многом впервые, что современность технологии и современность освобождения отнюдь не тождественны. Даже можно сказать, что те, кто хотел преимущественно современности технологии, внезапно испугались силы поборника современности освобождения.

В 1815 г. Наполеон потерпел поражение. Во Франции была «Ре рация». Европейские державы заключили Священный Союз, который, по крайней мере для кого-то, должен был гарантировать реакционный статус-кво. Но на деле это оказалось невозможным. И взамен за годы с 1815 по 1848 была разработана геокультура, предназначенная способствовать современности технологии, одновременно сдерживая современность освобождения.

Ввиду симбиотического отношения между двумя современностями, добиться этой частичной распряжки оказалось непростой задачей. Но эта задача была выполнена и тем самым создала прочную геокультурную основу для легитимации работы капиталистической мирозкономики. По крайней мере, лет 150 это удавалось. Ключом к операции явилась разработка идеологии либерализма и принятие ее как эмблемы капиталистической мирозкономики.

Идеологии сами по себе явились инновацией, возникшей из новой культурной ситуации, созданной Французской революцией^[70]. Те, кто думал в 1815 г., что восстанавливают порядок и традицию, обнаружил, что на самом деле уже слишком поздно: случился коренной переворот в ментальности и он исторически необратим. Самое широкое признание как самоочевидные получили две радикально новых идеи. Первая состояла в том, что политические изменения — явление скорее нормальное, нежели исключительное. Вторая заключалась в том, что суверенитет принадлежит некому субъекту, именуемому «народом».

Обе концепции были взрывоопасны. Разумеется, Священный Союз обе эти идеи полностью отверг. Однако у правительства британских тори, правительства новой державы-гегемона в миросистеме, отношение было далеко не столь однозначным, также как и у реставрированной монархии Людовика XVIII во Франции. Консервативные в своих инстинктах, но разумные в отправлении власти, эти два правительства заняли столь двусмысленную позицию потому, что осознавали силу тайфуна общественного мнения и решили, что лучше склониться перед ним, нежели пойти на риск быть смещенными.

Так возникли идеологии, которые представляли собой не что иное, как политические стратегии на длительный период, предназначавшиеся для того, чтобы совладать с новой верой в нормальность политических изменений и в высший моральный авторитет народа. Основных идеологий возникло три. Первой явился консерватизм — идеология тех, кто пребывал в наибольшем ужасе от новых идей и полагал, что они с точки зрения морали

Либерализм возник в ответ на консерватизм как доктрина тех, кто

стремился планомерно достичь полного расцвета современности, при минимуме беспорядка и при максимуме тщательно управляемых манипуляций. Как говорилось в постановлении Верховного Суда США, когда в 1954 г. он признал незаконным сегрегацию, либералы были убеждены, что изменения должны совершаться «со всей целесообразной скоростью», что, как мы знаем, на деле означает «не слишком быстро, но опять-таки и не слишком медленно». Либералы в полной мере были привержены современности технологии, но от современности освобождения им было несколько не по себе. Освобождение для технологов, думалось им, — прекрасная идея; освобождение для обычных людей, однако же, представляло известную опасность.

Третья великая идеология XIX в., социализм, явилась позже всех. Подобно либералам, социалисты принимали неотвратимость и желательность прогресса. Но в отличие от либералов, они с подозрением относились к реформам, проводимым сверху вниз. Им не терпелось воспользоваться всеми благами современности — разумеется, современности технологии, но еще более — современности освобождения. Они подозревали, вполне корректно, что либералы замыслили свой «либерализм» ограниченным как с точки зрения возможности применения, так и круга лиц, к которым было задумано применить его идеи.

В возникшей триаде идеологий либералы себя поместили в политический центр. Притом что либералы стремились из многих областей принятия решений устранить государство, в особенности государство монархическое, они всегда с не меньшим упорством добивались постановки государства в центр всякого разумного реформизма. В Великобритании, к примеру, отмена «хлебных законов» явилась, без сомнения, кульминацией длительных усилий, направленных на отстранение государства от дела защиты внутренних рынков от иностранных конкурентов. Но в то же самое десятилетие тот же самый парламент принял Фабричные акты, явившиеся началом (не концом) длительных усилий, направленных на *привлечение* государства к делу регулирования условий труда и занятости.

Либерализм, будучи по своей сути доктриной, отнюдь не антигосударственной, занял центральное место в обосновании необходимости усиления действенности государственной машины^[71]. Это диктовалось тем, что либералам государство виделось необходимым для осуществления их центральной задачи — развивать современность технологии, в то же время предусмотрительно умиротворяя «опасные классы». Таким способом они надеялись предупредить непредвиденные

последствия концепции верховенства «народа», порожденные современностью освобождения.

В центральных зонах капиталистической мирозкономики XIX столетия либеральная идеология выразилась в трех главных политических задачах — достижении избирательных прав, построении государства благосостояния и выработке национальной идентичности. Либералы надеялись, что сочетанием этих трех начал удастся умиротворить «опасные классы» и, тем не менее, обеспечить при этом современность технологии.

Дискуссия вокруг избирательных прав непрерывно продолжалась все столетие и далее. На практике налицо была непрерывно идущая вверх кривая распространения прав участия в голосовании на все новые категории лиц в большинстве стран в таком порядке: вначале мелкие собственники, затем не имеющие собственности лица мужского пола, затем более молодые люди, затем женщины. Либералы сделали ставку на то, что прежде исключенные категории лиц, получив право участвовать в голосовании, примут идею того, что периодическое голосование представляет собой всю полноту политических прав, на которые эти категории претендовали, и потому оставят более радикальные идеи о действительном участии в коллективном принятии решений.

Дискуссия вокруг государства благосостояния, на самом деле дискуссия о перераспределении прибавочной стоимости, также постоянно продолжалась и также демонстрировала постоянно растущую кривую уступок — по крайней мере, до 1980-х гг., когда она впервые начала понижаться. По существу государство благосостояния включало в себя социальную заработную плату, в которой часть (растущая часть) дохода наемных работников поступала не напрямую — в конверте от работодателя, а косвенно — через государственные органы. Эта система частично отрывала доход от работы; она обеспечивала примерное выравнивание заработной платы по уровням квалификации и долям ренты в заработной плате; и переносила часть переговоров между трудом и капиталом на политическую арену, где, благодаря своим избирательным правам, рабочие располагали несколько более мощными рычагами давления. Однако же государство благосостояния для рабочих, пребывающих у нижнего конца шкалы заработной платы, сделало меньше, нежели для среднего слоя, который увеличивался в размерах, а его политически центральное положение становилось прочной опорой центристских правительств — приверженцев активного усиления либеральной идеологии.

Ни избирательных прав, ни государства благосостояния (ни даже того

и другого вместе взятого) все же было бы недостаточно для укрощения опасных классов, если не добавить третью важнейшую переменную, с помощью которой достигалось то, что эти опасные классы не вглядывались слишком уж пристально, насколько велики уступки, связанные с предоставлением избирательных прав и созданием государства благосостояния. В 1845 г. Бенджамин Дизраэли, первый граф Биконсфилд, будущий премьер-министр Великобритании от «просвещенных консерваторов», опубликовал роман, озаглавленный «Сибилла, или Две нации». Во введении Дизраэли говорит нам, что тема произведения — «Положение народа» — в тот год видимо столь плачевное, что, дабы не быть обвиненным читателями в преувеличении, автор «счел абсолютной необходимостью сокрыть многое подлинное». Составной частью сюжета романа является сильное тогда чартистское движение. Это роман о «двух нациях Англии — богатых и бедных», которые, как можно предположить, происходят от двух этнических групп, норманнов и саксов ^[72].

На заключительных страницах Дизраэли весьма нелицеприятно пишет, что формальные политические реформы, стало быть, классический либерализм, имеет лишь ограниченное значение для «народа». У него читаем:

Письменная история нашей страны за последний десяток царствований является лишь фантазмом, придающим происхождению и следствиям общественных дел характер и оттенки, во всех отношениях отличные от их естественной формы и окраски. В этой могучей мистерии все мысли и вещи принимают вид и звание, противное их действительному качеству и стилю: Олигархию звали Вольностью; исключительное Жречество окрестили Национальной церковью; Верховная власть была именем того, что власти не имело, тогда как властью абсолютной обладали те, кто себя выдавали за слуг Народа. В себялюбивых распрях клик из истории Англии оказались вымараны два великих субъекта — Монарх и Толпа; по мере того как убывала власть Короны, исчезали привилегии Народа, покуда наконец скипетр не превратился в балаган, а подданный его не опустил вновь до серва.

Но всему приходит свое Время, вот и разум Англии стал подозревать, что идола, коим так долго поклонялись, да оракулы, кои так долго смущали, не истинны. И поднимается в этой стране шепот, что Верность — не фраза, Вера — не измышление, а

Свобода Народа — нечто более расширительное и существенное, нежели нечистое отправление священных прав верховной власти политическими классами^[73].

Если Великобритания (и Франция, а по существу и все страны) была страной с двумя нациями — Богатыми и Бедными, то ясно, что решение Дизраэли состояло в том, чтобы сделать из них одну единую — единую в настроении, единую в лояльности, единую в самоотречении. Это «единение» мы называем национальной идентичностью. Великая программа либерализма заключалась не в том, чтобы сделать из наций государства, но в том, чтобы из государств создать нации. Иначе говоря, стратегия заключалась в том, чтобы взять всех проживающих в границах государства — прежде «подданных» короля-суверена, ныне «народ»-источник верховной власти — и сделать их всех «гражданами», отождествляющими себя со своим государством.

На практике это достигалось благодаря различным институциональным требованиям. Первое из них состояло в установлении четкого юридического определения членства в политике. Правила различались, но всегда имели тенденцию к исключению (с большей или меньшей строгостью) новоприбывших («мигрантов»), при этом обычно включая всех тех, кто считался «нормально» проживающим на территории государства. Единство этой последней группы затем обычно усиливалось благодаря движению к языковому единообразию: единому языку в пределах государства и, что нередко бывало столь же важно, к языку, отличному от языка соседних государств. Это достигалось за счет требования, чтобы всякая деятельность государства велась на едином языке, за счет поддержания активности академической унификации языка (например, национальных академий, осуществляющих контроль за словарями), а также за счет принуждения языковых меньшинств к овладению этим языком.

Крупными институтами в деле единения народа явились образовательная система и вооруженные силы. По крайней мере, во всех центральных странах начальное образование стало обязательным, а во многих из них — и военная подготовка тоже. Школы и армии учили языкам, гражданским обязанностям и национальной лояльности. В течение столетия государства, которые были двумя «нациями» Богатых и Бедных, норманнов и саксов — стали одной нацией по отношению к самим себе, в данном конкретном случае — «англичанами».

В задаче создания национальной идентичности не следует упускать и

еще один стержневой элемент — расизм. Расизм объединяет расу, которая, как предполагается, является высшей. Он объединяет ее в лоне государства за счет меньшинств, подлежащих исключению из полных или частичных прав гражданства. Но он же объединяет «нацию» национального государства и *по отношению к* остальному миру; не только по отношению к соседям, но еще более по отношению к периферийным зонам. В XIX в. государства центра стали национальными государствами, попутно становясь имперскими государствами, которые основывали колонии во имя «цивилизующей миссии».

Опасным классам центральных государств этот либеральный пакет, состоящий из избирательных прав, государства благосостояния и национальной идентичности, даровал прежде всего надежду — надежду на то, что постепенные, но непрерывные реформы, обещанные либеральными политиками и технократами, *в конце концов* приведут к улучшению жизни и для опасных классов, к выравниванию оплаты труда, к исчезновению дизраэлиевских «двух наций». Разумеется, надежду даровали непосредственно, но ее даровали и более изощренными методами. Даровали ее в форме исторической теории, которая, под рубрикой необоримого стремления человека к свободе, постулировала это улучшение условий жизни как нечто неотвратимое. Это была так называемая вигская интерпретация истории^[74]. Как бы ни виделась культурно-политическая борьба в период с XVI по XVIII вв., в XIX в. эти две схватки — за современность технологии и за современность освобождения — были решительным образом ретроспективно определены как единая борьба, сосредоточенная вокруг социального героя-индивида. Это было сердце вигской интерпретации истории. Эта ретроспективная интерпретация сама являлась частью, а по сути дела и важнейшей частью, процесса внедрения геокультуры, доминирующей в XIX в., в капиталистическую мирозкономику.

Отсюда, как раз в тот момент исторического времени, когда в глазах представителей господствующих страт эти две современности виделись более, чем когда-либо, расходящимися и даже противостоящими друг другу, официальная идеология (доминирующая геокультура) провозгласила, что они обе тождественны. Господствующие страты предприняли крупную образовательную кампанию (с использованием школьной системы и вооруженных сил), дабы уверить свои внутренние опасные классы в этом тождестве цели. Замысел состоял в том, чтобы убедить опасные классы вложить свои силы в современность технологии, вместо того чтобы громогласно требовать современности освобождения.

На идеологическом уровне именно из-за этого происходила вся классовая борьба XIX в. И в той мере, в какой рабочее и социалистическое движения пришли к признанию ведущей роли и даже главенства современности технологии, они эту классовую борьбу проиграли. Они променяли свою лояльность государствам на очень скромные (пусть и реальные) уступки в достижении современности освобождения. И к тому времени как наступила Первая мировая война, всякое чувство главенства борьбы за современность освобождения в самом деле погасло, а рабочие каждой из европейских стран смыкались вокруг священного знамени и национальной чести.

Первая мировая война отметила триумф либеральной идеологии в европейско-североамериканском центре миросистемы. Но она же отметила и точку, в которой на первый план вышел центр-периферийный политический разлом в миросистеме. Европейские державы едва успели реализовать свои последние мировые завоевания последней трети XIX в., когда начался откат Запада.

По всей Восточной Азии, Южной Азии и Ближнему Востоку (с последующими продолжениями в Африке и отголосками в номинально независимой Латинской Америке) начали возникать национально-освободительные движения — под многими личинами, и разной степенью успеха. В период с 1900 по 19(7 г. разнообразные формы националистических восстаний и революций были отмечены в Мексике и Китае, в Ирландии и Индии, на Балканах и в Турции, в Афганистане, Персии и в арабском мире. Новые «опасные классы» теперь начали поднимать голову; они поднимали знамя современности освобождения. И дело не в том, что они были против современности технологии, а в том, что их собственная надежда на технологическую модернизацию мыслилась как функция от предварительного достижения освобождения.

Годы с 1914 по 1945 были отмечены одной длительной борьбой в центре системы — преимущественно между Германией и Соединенными Штатами, за гегемонию в миросистеме, схваткой, в которой, как мы знаем, одержали победу Соединенные Штаты. Но те же самые годы, и годы последующие, были периодом куда более фундаментальной схватки между Севером и Югом. Уже который раз, господствующие страты (локализованные на Севере) попытались убедить новые опасные классы в тождестве двух современностей. Вудро Вильсон выдвинул принцип самоопределения наций, а президенты Рузвельт, Трумэн и Кеннеди предложили проблему экономического развития слаборазвитых стран — в мировом масштабе структурные эквиваленты всеобщего избирательного

права и государства благосостояния на национальном уровне внутри зоны центральных государств.

Уступки были в самом деле скромные. Господствующие страты предложили также «идентичность» в форме единства свободного мира против мира коммунистического. Но эта форма идентичности была встречена с огромным подозрением так называемым «третьим миром» (то есть периферийными и полупериферийными зонами *минус* так называемый советский блок). «Третий мир» рассматривал так называемый «второй мир» как в действительности относящийся к его собственной зоне и потому объективно находящийся в том же лагере. Однако, столкнувшись с реальностями мощи США в сочетании с символически (но по большей части лишь символически) оппозиционной ролью СССР, «третий мир» в основном отдал предпочтение неприсоединению, и это означало, что он так и не «отождествил» себя с центральной зоной подобно тому, как трудящиеся классы внутри центра в свое время дошли до самоотождествления с господствующими стратами в общем национализме и расизме. Либеральная геокультура в мировом масштабе в XX в. действовала не так хорошо, как в национальном масштабе в центральных зонах века XX.

Но все же либерализм еще был в силе. Вильсоновский либерализм сумел соблазнить и укротить ленинский социализм путями, параллельными тем, которыми в XIX в. европейский либерализм соблазнил и укротил социал-демократию^[75]. Ленинской программой стала не мировая революция, но антиимпериализм плюс строительство социализма, что при ближайшем рассмотрении оказывалось всего лишь риторическими вариантами вильсоновско-рузвельтовских концепций самоопределения наций и экономического развития слаборазвитых стран. В ленинской реальности современность технологии опять стала предварять современность освобождения. И так же, как господствующие либералы, якобы противостоящие им ленинисты утверждали, что на деле эти две современности тождественны. И с помощью ленинистов либералы Севера начали понемногу обрабатывать национально-освободительные движения Юга в направлении этого тождества двух современностей.

В 1968 г. это удобное концептуальное размывание границ между двумя современностями было громогласно и энергично оспорено всемирной революцией, которая приняла форму преимущественно, но не исключительно, студенческих восстаний. В Соединенных Штатах и Франции, в Чехословакии и Китае, в Мексике и Тунисе, в Германии и

Японии случались волнения (иногда с человеческими жертвами), которые, при локальных различиях, все в основном имели одни и те же принципиальные проблемы: современность освобождения — так и не достигнутая; современность технологии — коварная ловушка; либералам всех мастей — либеральным либералам, консервативным либералам и особенно либералам-социалистам (то есть старым левым) верить нельзя — на самом деле они-то и есть главное препятствие освобождению^[76].

Я сам оказался втянут в средоточие этой борьбы в США, которым оказался Колумбийский университет^[77], и у меня преобладают два воспоминания об этой «революции». Первое — это неподдельный восторг студентов; через практику коллективного освобождения они открывали то, что ощущалось ими как процесс личного освобождения. Второе — это глубокий страх, вызванный таким выходом освободительных настроений среди большинства профессуры и администрации, и более всего среди тех, кто считал себя апостолами либерализма и современности. Им в этом всплеске виделось иррациональное отрицание очевидных благ современности технологии.

Всемирная революция 1968 г. вспыхнула и затем утихла, или скорее — была подавлена. К 1970 г. запал более или менее иссяк повсеместно. Однако эта революция оказала глубокое воздействие на геокультуру, ибо 1968 г. поколебал господство либеральной идеологии в геокультуре миросистемы. Тем самым, он вновь поставил на повестку дня вопросы, которые либерализм XIX в. закрыл или вытеснил на периферию публичных дебатов. Во всем мире как правые, так и левые, начали вновь отходить от либерального центра. Так называемый новый консерватизм был во многом воскрешенным старым консерватизмом первой половины XIX в. И аналогичным образом, новые левые во многом явились воскрешением радикализма начала XIX в., который, напомним, в те времена еще обозначался термином «демократия» — термином, позже присвоенным центристскими идеологами.

Либерализм не исчез в 1968 г.; однако утратил свою роль определяющей идеологии геокультуры. В 1970-е гг. наблюдался возврат идеологического спектра к настоящей триаде, ликвидировавший размывание трем идеологий, которое произошло, когда они *de facto* превратились попросту в варианты либерализма в период между примерно 1850 и 1960-ми гг.

Казалось, дискуссия вернулась лет на 150 назад. Разве только что мир ушел вперед в двух смыслах: современность технологии трансформировала

мировую социальную структуру в направлениях, грозивших дестабилизировать социальные и экономические основания капиталистической мирэкономике, а идеологическая история миросистемы уже являлась памятью, воздействовавшей на теперешнюю способность господствующих страт поддерживать политическую стабильность в миросистеме.

Взглянем вначале на вторую переменную. Кто-то из вас удивится, что я придаю такое значение 1968 г. как поворотному пункту. Вы можете подумать — разве 1989-й, символический год краха коммунистических режимов, не более значимая дата в истории современной миросистемы? Разве 1989-й на деле не представлял собою крах социалистического вызова капитализму и потому окончательное достижение цели либеральной идеологии — укрощения опасных классов, всеобщего принятия добродетелей современности технологии? Ну, нет, определенно нет! Я вам говорю: 1989-й был продолжением 1968-го и 1989-й был не триумфом либерализма и оттого неизменности капитализма, но как раз наоборот — крахом либерализма и громадным политическим поражением тех, кому бы хотелось поддерживать капиталистическую мирэкономику.

В экономическом отношении в 1970-е и 1980-е гг. произошло то, что в результате спада фазы «Б» цикла Кондратьева или стагнации в мирэкономике, государственные бюджеты почти повсеместно подверглись сильнейшему сжатию и негативное воздействие на государство благосостояния было особенно болезненным в периферийных и полупериферийных зонах мирэкономике. Это не относится к расширенной восточно-азиатской зоне в 1980-е гг., но во время таких спадов всегда бывает одна относительно небольшая зона, где дела идут сравнительно неплохо именно благодаря общему спаду, и восточно-азиатский рост 1980-х никоим образом не опровергает общую закономерность.

Такие спады, конечно же, случались в истории современной миросистемы неоднократно. Однако политические последствия данной конкретной фазы «Б» цикла Кондратьева были тяжелее, чем во время прежних таких фаз, просто потому, что предшествующая фаза «А» 1940–1970 гг. по видимости отмечала мировой политический триумф национально-освободительных движений и других антисистемных движений. Иными словами, именно потому, что в 1945–1970 гг. либерализм по всему миру казался столь рентабельным, разочарование 1970-х и 1980-х было особенно жестоким. То была надежда, которую предали, и вдребезги разбитые иллюзии, в особенности, но не исключительно, в периферийных

и полупериферийных зонах. Лозунги 1968-го г. стали казаться все более правдоподобными. Рациональный реформизм *a fortiori* когда его обряжали в «революционную» риторику) казался жестоким обманом.

В одной стране за другой в так называемом «третьем мире» население повернулось против старых левых и обвиняло их в мошенничестве. Население могло не знать, чем их заменить — там беспорядками, тут религиозным фундаментализмом, где-то еще анти-политикой — но оно было уверено, что псевдорадикализм старых левых на деле был липовым либерализмом, который окупался лишь для небольшой элиты. Так или иначе, население этих стран стремилось отстранить эти элиты. Оно утратило веру в свои государства как действующие силы современности освобождения. Скажем яснее: было утрачено не желание освобождения, лишь вера в прежнюю стратегию ее достижения.

Крушение коммунистических режимов в 1989–1991 гг. было лишь последним в длинной череде событий, открытием того, что и самая радикальная риторика — не гарант современности освобождения и, наверное, плохой гарант современности технологии. Конечно же, от отчаяния и на мгновение население этих стран приняло лозунги оживившихся мировых правых, мифологию «свободного рынка» (да такую, надо сказать, какой и в Соединенных Штатах и Западной Европе не сыщешь), но то был всего лишь мираж. Мы уже видим, как политический маятник пошел вспять в Литве, в Польше, в Венгрии, повсюду.

Но верно и то, что не приходится ожидать, чтобы люди в Восточной Европе или еще где-либо в мире снова поверили в ленинскую версию обещаний рационального реформизма (под наименованием социалистической революции). Это, конечно же, бедствие для мирового капитализма, ибо вера в ленинизм служила, уж во всяком случае, лет пятьдесят, важной *сдерживающей* силой для опасных классов в миросистеме. Ленинизм на практике оказывал очень консервативное влияние, ведь он проповедовал неотвратимый триумф народа (отсюда, имплицитно, проповедовал терпение). Теперь господствующие страты современной миросистемы лишились защитного покрова ленинизма^[78]. Опасные классы могут теперь снова стать действительно опасными. Политически миросистема стала нестабильной.

В то же самое время серьезно ослабевают социально-экономические основания миросистемы. Упомяну лишь четыре таких тренда, которые не исчерпывают перечень структурных трансформаций. Во-первых, имеет место серьезное истощение мирового фонда доступного дешевого труда.

За четыре века городским наемным рабочим уже неоднократно

удавалось задействовать свой переговорный ресурс для повышения доли прибавочной стоимости, которую они получают за свой труд. Капиталистам, тем не менее, всякий раз удавалось свести на нет отрицательный эффект, производимый за счет этого на норму прибыли, благодаря расширению совокупного фонда трудовых ресурсов. При этом на рынок наемного труда поступали новые группы прежде не нанимавшихся работников, которые поначалу были готовы согласиться на очень низкую зарплату.

Охватившая весь земной шар окончательная географическая экспансия капиталистической мироэкономики в конце XIX в. форсировала во всем мире ускорение процесса оттока рабочей силы из деревни — процесс, который зашел далеко и может быть по существу завершен в ближайшем будущем^[79]. Это неизбежно означает резкое увеличение затрат на рабочую силу как процентной доли общих затрат производства.

Вторая структурная проблема — это сжатие средних страт. Последние не без оснований воспринимались как политическая опора существующей миросистемы. Но их требования, как к работодателям, так и к государствам, постоянно расширяются, и по всему миру затраты на поддержание непомерно разросшейся средней страты на всевозрастающих уровнях *per personam* оказываются непосильными как для предприятий, так и для государственных казначейств. Именно это стоит за многочисленными попытками последнего десятилетия — свернуть государство благосостояния. Но одно из двух: либо эти затраты не будут сворачиваться, и тогда как государства, так и предприятия ожидают серьезные неприятности и частые банкротства, либо они будут свернуты, но тогда грянет значительное политическое разочарование именно среди тех страт, которые обеспечивают самую прочную опору современной миросистеме.

Третья структурная проблема — это экологический кризис, который представляет острую экономическую проблему для миросистемы.

Накопление капитала уже пять веков основывается на способности предприятий экстернализировать издержки производств. По существу это означает сверхиспользование мировых ресурсов при высоких коллективных затратах, но почти без всяких затрат для предприятий. Однако в определенный момент ресурсы исчерпываются, а негативная токсичность достигает уровня, который содержать невозможно. Сегодня мы обнаруживаем, что необходимо вкладывать огромные средства в ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды и, чтобы избежать повторения проблемы, нам придется сократить потребление ресурсов.

Но столь же верно и то, что, как громогласно заявляют предприятия, такие действия снизят глобальную норму прибыли.

Наконец, демографический разрыв, удваивающий экономический разрыв между Севером и Югом, скорее ускоряется, нежели убывает. Это создает невероятно сильное давление на миграционное движение Юг — Север, которое, в свою очередь, порождает столь же сильную антилиберальную политическую реакцию на Севере. Нетрудно спрогнозировать, что случится. Несмотря на возросшие барьеры, незаконная иммиграция на Север будет повсеместно увеличиваться, а с ней будет шириться движение «ничего незнаек»^[80]. Внутренний демографический баланс государств Севера радикально изменится, и можно ожидать острого социального конфликта.

Таким образом, сегодня, и на ближайшие сорок-пятьдесят лет, миросистема оказывается в состоянии острого морального и институционального кризиса. Возвращаясь к началу нашего рассуждения о двух современностях, — происходит то, что наконец-то имеется ясное и открытое напряжение между современностью технологии и современностью освобождения. Между 1300 и 1800 гг. эти две современности выступали в тандеме. Между 1789 и 1968 гг. их латентный конфликт сдерживался успешной попыткой либеральной идеологии сделать вид, будто они тождественны. Но с 1968 г. маска сорвана. Идет открытая борьба между двумя современностями.

Есть два основных культурных признака этого признания конфликта двух современностей. Первый — это «новая наука», наука сложности. В последние десять лет очень многие ученые-физики и математики вдруг повернулись против ньютоновско-бэконовско-картезианской идеологии, которая по меньшей мере пятьсот лет утверждала, что является единственно возможным выражением науки. С триумфом либеральной идеологии в XIX в. ньютоновская наука была освящена как универсальная истина.

Новые естественники — представители точных наук ставят под сомнение не правомерность ньютоновской науки, но ее универсальность. По существу, они утверждают, что законы ньютоновской науки — это законы для ограниченного частного случая реальности и для научного понимания реальности необходимо значительно расширить нашу систему координат и инструментарий анализа. Оттого-то мы и слышим сегодня новые модные слова, такие как хаос, бифуркация, нечеткая логика, фракталы и, в самом фундаментальном плане, стрела времени.

Естественный мир и все его феномены историзировались^[81]. Новая наука отчетливо нелинейная. Но современность технологии возводилась на сваях линейности. Оттого новая наука поднимает самые фундаментальные вопросы относительно современности технологии, во всяком случае, той формы, в которой она классически излагалась.

Другой культурный признак узнавания конфликта двух современностей — это движение постмодернизма, преимущественно в гуманитарных и социальных науках. Постмодернизм, надеюсь, я ясно дал это понять, вовсе не означает пост-современный. Это способ отрицания современности технологии ради современности освобождения. Если он и отливается в причудливую языковую форму, то потому, что постмодернисты ищут способ вырваться из языковой хватки, которой либеральная идеология держит наш дискурс. В качестве экспликативного понятия постмодернизм невразумителен. Как возвестительная (annunciatory) доктрина постмодернизм без сомнения наделен даром предвидения. Ибо мы и в самом деле движемся в направлении другой исторической системы. Современная миросистема близится к своему концу. Потребуется, однако, по меньшей мере еще пятьдесят лет предсмертного кризиса, то есть «хаоса», прежде чем мы сможем надеяться выйти к новому социальному порядку.

Наша задача сегодня, и на ближайшие пятьдесят лет, — задача утопистики. Это задача — представить себе и, преодолевая преграды, попытаться создать этот новый социальный порядок. Ибо никоим образом не гарантировано, что конец одной неэгалитарной исторической системы подведет к лучшей системе. Сегодня нам нужно определить конкретные институты, через которые наконец-то сможет выразиться освобождение человечества. Мы пережили его мнимое выражение в нашей существующей миросистеме, в которой либеральная идеология стремилась убедить нас в реальности, против которой либералы на деле боролись — реальности растущего равенства и демократии. Пережили мы и утрату иллюзий, связанных с потерпевшими неудачу антисистемными движениями — движениями, которые сами по себе были частью проблемы в той же мере, как и частью решения.

Мы должны вступить в громадный всемирный мультилог, ибо решения никоим образом не очевидны. И те, кто желает продолжать настоящее под другими личинами, очень сильны. Конец какой современности? Пусть это будет конец ложной современности и начало, впервые, истинной современности освобождения.

Глава 8. Непреодолимые противоречия либерализма: права человека и права народов в геокультуре современной миросистемы

26 августа 1789 г. французское Национальное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина^[82]. С тех пор и доныне она остается символическим утверждением того, что мы теперь называем правами человека. Она была подкреплена и обновлена во Всеобщей декларации прав человека, принятой без единого голоса против и лишь при нескольких воздержавшихся Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.^[83] Никогда, однако, не существовало параллельного символического утверждения прав «народов», по крайней мере, до того, как ООН 14 декабря 1960 г. приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам^[84].

Преамбула к Декларации 1789 г. предлагает считать в качестве исходного рассуждения, что «неведение, забвение или презрение прав человека являются единственными причинами общественных бедствий и порчи правительств». Мы начинаем, таким образом, с проблемы невежества, как и приличествует документу Просвещения, и непосредственный вывод из этой идеи — как только с невежеством будет покончено, не будет и общественных бедствий.

Почему Французская революция не издала подобной декларации о правах народов? На самом деле аббат Грегуар предложил в 1793 г. Конвенту, чтобы тот предпринял усилия по кодификации законов, относящихся к «правам и соответствующим обязанностям наций, правам народов (*gens*)». Но Мерлен де Дюари возразил, что «это предложение следовало бы адресовать не Конвенту французского народа, но скорее общему конгрессу народов Европы»^[85], и предложение было отклонено.

Наблюдение было уместно, но, разумеется, в то время не существовало такого общего конгресса. И когда он возник и приступил к работе (более или менее), сначала в форме Лиги наций, затем Организации Объединенных Наций, такая декларация была принята далеко не сразу. В 1945 г. колониальные державы, одержавшие победу в борьбе за свою собственную свободу, все еще не допускали мысли о незаконности колониализма. Лишь в декларации 1960 г., после того как значительная часть колониального мира уже завоевала свою независимость, ООН подтвердила свою «веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в

равенство больших и малых наций» и потому «торжественно провозгласила необходимость незамедлительно и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях».

Я не хотел бы обсуждать, вписаны ли права человека или права народов в естественное право, не хотел бы я и рассматривать историю этих идей как интеллектуальных конструкций. Скорее, я хотел бы проанализировать их роль как ключевых элементов либеральной идеологии, в той мере, в которой, она стала геокультурой современной миросистемы в XIX и XX вв. Я хотел бы также доказать, что интеллектуальное построение геокультуры не только внутренне противоречиво в логических терминах, что непреодолимое противоречие, представленное им, само по себе является существенной частью геокультуры.

Все миросистемы имеют геокультуры, хотя может потребоваться некоторое время, чтобы такая геокультура утвердилась в данной исторической системе. Я использую здесь слово «культура» в смысле, традиционно применяемом антропологами, как систему ценностей и основных правил, которые, сознательно и бессознательно, управляют поощрениями и наказаниями в обществе и создают систему иллюзий, которые должны убеждать членов общества в его легитимности. В любой миросистеме всегда есть люди и группы, которые полностью или частично отвергают геокультурные ценности, и даже те, кто борется против них. Но покуда большинство «кадров» системы активно принимают эти ценности, а большинство простых людей не относятся к ним с активным скептицизмом, можно говорить, что геокультура существует, а ее ценности преобладают.

Более того, важно различать основополагающие ценности, космологию и телеологию с одной стороны, и политику их применения, с другой. Тот факт, что какие-то группы активно политически бунтуют, вовсе не обязательно означает, что они не подписываются, хотя бы подсознательно, под основополагающими ценностями, космологией и телеологией системы. Это может просто означать, что они полагают эти ценности неправильно применяемыми. И, наконец, мы должны помнить об историческом процессе. Геокультуры в какой-то момент складываются, а в какой-то момент позже могут перестать властвовать над умами. Конкретно говоря о современной миросистеме, я собираюсь показать, что ее геокультура родилась с Французской революцией и начала терять широкое признание с всемирной революцией 1968 г.

Современная миросистема — капиталистическая мироэкономика —

начала свое существование в долгом XVI в. Однако в течение трех столетий он функционировал без какой-либо твердо установившейся геокультуры. Иначе говоря, в период XVI–XVIII вв. в капиталистической мирэкономике не существовало системы ценностей и правил, о которых можно было бы сказать, что большинство народов активно их принимает, а большинство людей соглашается с ними хотя бы пассивно. Французская революция *lato sensu* изменила положение. Она установила два новых принципа: естественность и нормальность политических изменений и суверенитет народа^[86]. Эти принципы так быстро и так глубоко укоренились в народном сознании, что ни Термидор, ни Ватерлоо не могли выкорчевать их. В результате так называемая Реставрация во Франции (и на самом деле во всей миросистеме) ни в одном пункте и ни в каком смысле не была подлинным восстановлением *Ancien Regime*.

Главное, что следует заметить относительно этих двух принципов, это то, что они сами по себе были вполне революционны применительно к миросистеме. Вовсе не гарантируя легитимации капиталистической мирэкономике, в долгосрочной перспективе они угрожали подрывом ее легитимности. Именно в этом смысле я уже доказывал, что «Французская революция представляла собой первую из антисистемных революций в капиталистической мирэкономике — в меньшей степени успешную, в большей — потерпевшую поражение»^[87]. Именно для того, чтобы сдержать эти идеи, вписав их в нечто более общее, «кадры» миросистемы ощутили срочную необходимость выработать и навязать более широкую геокультуру.

Выработка такой геокультуры приняла форму дебатов между идеологиями. Я использую здесь термин «идеология» в специфическом значении. Я уверен, что троица идеологий, разработанных в XIX в. — консерватизм, либерализм и социализм, — на самом деле была ответами на единственный вопрос: исходя из широкого согласия с двумя идеями, о нормальности изменений и о суверенитете народа, какая политическая программа наиболее успешно гарантирует хорошее общество?

Ответы были чрезвычайно просты. Консерваторы, бывшие в ужасе от этих концепций и, в сущности, питавшие отвращение к ним, отстаивали предельную осторожность в общественных действиях. Политические изменения, говорили они, должны предприниматься лишь тогда, когда призывы к ним будут поддержаны подавляющим большинством, но даже и в этом случае изменения должны осуществляться при минимально возможных разрывах с прошлым. Что же до суверенитета народа, они

доказывали, что он будет использован наиболее мудрым образом, если реальная власть будет *de facto* передана в руки тех, кто традиционно отправляет ее и кто представляет мудрость непрерывной традиции.

Противоположный взгляд принадлежал социалистам (или радикалам). Они приветствовали изменение и призывали народ полностью и прямо осуществить свой суверенитет в интересах обеспечения максимальной скорости, с которой могли бы быть проведены изменения в направлении к более эгалитарному обществу.

Консервативная и социалистическая позиции были четко очерчены и просты для понимания: как можно медленнее или быстрее! Сильнее сопротивление уравнилельным тенденциям или, напротив, решительное разрушение структур, построенных на неравенстве! Вера в то, что возможны лишь очень незначительные изменения против веры, что все может быть сделано, если только будут преодолены существующие изощренные социальные препятствия! Это знакомые контуры «правая против левой», пара терминов, которые сами были рождены Французской революцией.

Но что же в таком случае либерализм, заявляющий, что он противостоит консерватизму с одной стороны и социализму с другой? Ответ был формально ясным, но содержательно двусмысленным. В формальном выражении либерализм представлял собой *via media*^[88], «жизненный центр» (если использовать самоназвание, данное в XX в.)^[89]. Не слишком быстрые и не слишком медленные изменения, а как раз с правильной скоростью! Но что же это означало содержательно? Здесь на самом деле либералы редко находили общий язык между собой, даже пребывая в пределах конкретного места и времени, и уж точно не могли договориться применительно к разным местам и разным периодам времени.

Следовательно, вовсе не четкость программ определяла либерализм как идеологию, а скорее его особое внимание к процессу. Строго говоря, либералы верили, что политические изменения неизбежны, но они верили также, что к хорошему обществу эти изменения ведут лишь постольку, поскольку процесс является рациональным, то есть решения социальной направленности являются результатом тщательного интеллектуального анализа. Отсюда особо важным считали, чтобы текущая политика вырабатывалась бы и осуществлялась теми, кто обладает наибольшими возможностями осуществлять такие рациональные решения, то есть экспертами и специалистами. Именно они могли наилучшим образом

разработать реформы, которые могли бы (и действительно это делали) усовершенствовать систему, где они живут. Ведь либералы по определению не были радикалами. Они стремились усовершенствовать систему, а не преобразовать ее, потому что с их точки зрения мир XIX столетия уже был кульминацией человеческого прогресса или, если употребить недавно возрожденную фразу, «концом истории». Если мы живем в последнюю эпоху человеческой истории, естественно, наша первоочередная (на самом деле единственно возможная) задача состоит в совершенствовании системы, то есть в занятии рациональным реформизмом.

Три идеологии Нового времени были, затем, тремя политическими стратегиями, призванными ответить на народные верования, господствовавшие в нашем современном мире после 1789 г. В этой троице идеологий особенно интересны две вещи. Во-первых, хотя все три идеологии формально были антигосударственными, на практике все три работали на укрепление государственных структур. Во-вторых, из всех трех незамедлительно и очевидно восторжествовал либерализм, что можно увидеть на примере двух политических процессов: со временем как консерваторы, так и социалисты сдвигали свои действующие программы скорее в направлении к либеральному центру, чем от него; и на самом деле именно консерваторы и социалисты, которые действовали отдельно, но дополняя друг друга, несут ответственность за реализацию либеральной политической программы в гораздо большей мере, чем сами либералы с заглавной буквы «Л». Вот почему по мере того, как либеральная идеология торжествовала, либеральные политические партии имели тенденцию к исчезновению^[90].

Что представляют собой права человека в рамках торжествующей либеральной идеологии, и откуда, как предполагается, они приходят? На самом деле на этот вопрос давались разные ответы. Но в целом либералам свойственно отвечать, что права человека коренятся в естественном праве. Такой ответ придает правам человека мощную основу, позволяющую давать отпор оппонентам. Однако когда это предположение озвучено и перечислен конкретный список прав человека, большая часть вопросов по-прежнему остаются открытыми: у кого есть моральное (и юридическое) право давать перечень таких прав? Если одна группа прав приходит в противоречие с другой, какая из них имеет приоритет, и кто это решает? Являются ли права абсолютными, или же они ограничены некими рациональными оценками последствий их применения? (Эта последняя дилемма отражена в известном заявлении судьи Оливера Уэнделла

Холмса^[91], что свобода слова не предполагает права заорать «Пожар!» в переполненном театре.) И, самое главное — кто имеет право пользоваться правами человека?

Последний вопрос может показаться неожиданным. Разве не очевидно, что верный ответ — «все»? Вовсе нет! На самом деле такого никто и никогда не заявлял. Например, почти повсеместно признано, что такими правами не обладают несовершеннолетние, или по крайней мере не все несовершеннолетние, с очевидным основанием, что умственные способности несовершеннолетних не позволяют им пользоваться этими правами разумно и безопасно для себя и для других. Но если исключены несовершеннолетние, то как насчет впавших в маразм стариков, грудных младенцев, социопатов, преступников? А потом список можно будет продолжать до бесконечности: как насчет подростков, невротиков, военнослужащих, неграмотных, бедных, женщин? Где та очевидная линия, которая отделяет способность от неспособности? Подобной линии, конечно же, не существует, и уж точно не существует линии, которая определялась бы естественным правом. Таким образом, оказывается, что определение лиц, на которых распространяется действие этих прав человека, неизбежно является всегда рекуррентным вопросом, зависящим от настоящего политического курса.

Определение того, кто имеет права человека, в свою очередь, тесно связано с вопросом, кто может претендовать на осуществление прав человека. И здесь появляется еще одно понятие, рожденное Французской революцией, — «гражданин». Потому что людьми, которые наиболее явно были уполномочены осуществлять народный суверенитет, были именно «граждане». Но кто такие граждане? Подразумевается, что это группа конечно более широкая, чем «король», или «знать», или даже «собственники», но одновременно это группа более узкая, чем «все», или даже чем «все, проживающие в географических границах данного суверенного государства».

И вот тут-то и начинается главная история. Где лежит власть суверена? В феодальной системе власть была раздроблена. Человек мог быть подданным нескольких стоящих выше него повелителей, и часто так и было в действительности. Вышестоящий повелитель в связи с этим не мог рассчитывать на бесспорную власть над своими подданными. Современная миросистема создала радикально иную правовую и моральную структуру, в которой суверенные государства, действующие в межгосударственной системе и ограниченные ею, претендуют на *исключительную* юрисдикцию над всеми лицами, живущими на их территории. Более того, все эти

территории были связаны географически, то есть были связаны пограничным и таможенным режимом и тем самым отделены от других территорий. Кроме того, в рамках межгосударственной системы не осталось никому не принадлежащих территорий.

Таким образом, когда «подданные» превратились в «граждан», все проживающие в государстве оказались разделены на «граждан» и «неграждан» (или иностранцев). Иностранцы также подразделялись на множество категорий; эти категории ранжировались от долгосрочных (даже пожизненных) мигрантов, с одной стороны, до транзитных пассажиров, с другой. Но в любом случае такие иностранцы не были гражданами. С другой стороны, поскольку государства были соединением «регионов» и «местностей», в начале XIX в. сами граждане, как бы их ни определять, обычно были людьми весьма разного происхождения — говорящими на разных языках, придерживающимися разных обычаев, хранящими разную историческую память. Когда подданные стали гражданами, гражданам, в свою очередь, предстояло превратиться в представителей нации, то есть людей, у которых лояльность к своему государству стоит на первом месте по отношению к любой иной социальной лояльности. Это было нелегко, но это имело важное значение, если осуществление народного суверенитета не должно было стать результатом возможных иррациональных межгрупповых конфликтов.

Поэтому, в то время как такие государства, как Великобритания, Франция и США, воспитывали чувство национализма среди своих граждан [\[92\]](#), в других местах, например, в Германии и Италии, националисты боролись за создание государств, которые, в свою очередь, воспитали бы такой же национализм. В большинстве государств XIX в. первостепенное значение в развитии такого чувства национального самосознания придавалось двум общественным институтам: начальной школе и армии. Те государства, которые лучше всего решали эти задачи, и процветали успешнее всего. Как замечает Уильям Мак-Нейл:

В таких обстоятельствах фикция этнического единообразия в рамках особой национальной юрисдикции уходит корнями в последние столетия, когда некоторые ведущие нации Европы обратились к подходящим образом идеализированным и произвольно выбранным варварским предшественникам. (Несомненно любопытно заметить, что французы и британцы выбрали в качестве своих предполагаемых предков соответственно галлов и бриттов, беспечно не учитывая

последующих завоевателей, от которых они и унаследовали свои национальные языки.) Фикция этнического единообразия особенно расцвела после 1789 г., когда были продемонстрированы практические преимущества и мощь неоварварской формы правления (объединившей взрослых мужчин, способных владеть оружием, спаянных чувством национальной солидарности и добровольно подчиняющихся выборным вождям) перед правительствами, ограничивавшими их мобилизацию для войны более узкими группами населения.^[93]

Если подумать, ни начальная школа, ни армия не прославлены своей практикой соблюдения прав человека. И первая, и вторая являются вполне авторитарными, построенными сверху вниз, структурами. Превращение простых людей в граждан-избирателей и в граждан-солдат, может быть, и очень полезно, если вы хотите обеспечить единство государства как перед лицом других государств, так и в смысле уменьшения насилия или классовой борьбы внутри государства, но дает ли это что-нибудь реальное для развития и реализации прав человека?

Политический проект либерализма XIX в. для стран центра капиталистической мирэкономки состоял в том, чтобы приручить опасные классы, предложив трехчастную программу рациональной реформы: всеобщее избирательное право, государство благосостояния и национальное самосознание. Программа строилась на надежде и предположении, что простой народ будет умиротворен этой ограниченной передачей благ и потому не будет оказывать давления ради осуществления в полной мере своих «прав человека». Пропаганда лозунгов прав человека, или свободы, или демократии сама по себе была частью приручения опасных классов. Незначительность социальных уступок, дарованных опасным классам, еще сильнее бросится в глаза, если принять во внимание хотя бы следующие два факта. Первый — на общий уровень жизни в странах центра благотворно влиял перевод прибавочного продукта из периферийных зон. А локальный национализм каждого из этих государств дополнялся коллективным национализмом «цивилизованных» наций по отношению к «варварам». Сегодня мы называем это явление расизмом, доктрина которого была в явном виде кодифицирована именно в тот период именно в этих государствах, и который глубоко проник во все общественные институты и в публичный дискурс. По крайней мере, это было так до тех пор, когда нацисты довели расизм до его логического завершения, его *nes plus ultra*^[94] версии, и таким образом принудили

пристыженный западный мир к формальному, хотя лишь частичному, теоретическому отвержению расизма.

Кто же были эти «варвары»? Несомненно, колониальные народы. Черные и желтые по отношению к белым. «Восток» для «Запада». «Неисторические» нации Восточной Европы для «исторических наций» Западной. Евреи для христиан. Изначально права человека «цивилизованных» наций утверждались на том основании, что эти нации «цивилизованные». Логика империализма была аверсом этой монеты. Долгом тех стран, которые полагали, что они уважают права человека, было, тем самым, «цивилизовать» тех, кто не уважал их, кто имел «варварские» обычаи и кого вследствие этого следовало брать на буксир и учить, как учат детей. Отсюда следовало, что любые «права народов» были зарезервированы для немногих конкретных народов и вовсе не были правами всех остальных народов. Ведь и вправду полагалось, что предоставление «варварам» их прав как народам вело бы в действительности к отрицанию индивидуальных «прав человека» у этих народов. Таким образом, две системы прав в XIX в. были поставлены в ситуацию прямого конфликта между собой. В мире не существовало способа совместить их.

Либерализм XIX в. решил те проблемы, которые поставил перед собой. Как мог верхний слой разумных, компетентных и богатых людей доброй воли удержать «опасные классы» от попыток опрокинуть тележку с яблоками в условиях миросистемы, где стали господствовать доктрины нормальности изменений и суверенитета народа? Ответ гласил: этого можно было бы достичь использованием необходимой дозы рациональных реформ. Такой ответ на практике означал ограничение той группы, которая могла пользоваться своими правами человека, *лишь некоторыми людьми, при одновременном еще более строгом ограничении числа тех народов, которые вообще могли реализовать свой суверенитет.* Однако, поскольку в логике либерализма права теоретически имели всеобщий характер, ограничения должны были быть оправданы запутанными и благовидными основаниями. В теории, таким образом, права понимались как универсальные, менее всего желанными для либералов было буквальное восприятие либеральных принципов, то есть их действительно всеобщее применение. Чтобы эти принципы не воспринимались буквально, либерализм нуждался в некой сдерживающей силе. Такой сдерживающей силой был расизм в сочетании с сексизмом. Конечно, это никогда не могло быть открыто признано либералами, ведь и расизм, и сексизм по определению антиуниверсальны и антилиберальны. Эдвард Сайд очень

хорошо ухватил дух этой второй фазы либерализма и его последствия:

Вместе с другими народами, определяемыми по-разному как отсталые, выродившиеся, нецивилизованные или запоздавшие в развитии, народы Востока рассматривались в рамках концепции, построенной на биологическом детерминизме и морально-политической предубежденности. Таким образом, восточное связывалось с теми элементами в западных обществах (люди с отклонениями в поведении, душевнобольные, женщины, бедные), которые обобщенно определялись как вызывающие сожаление отщепенцы. Представителей Востока редко рассматривали именно как представителей Востока, смотрели скорее сквозь них, рассматривая не как граждан, даже не как людей, а как проблемы, которые следует решить или задержать их решение или — по мере того как колониальные державы открыто заглядывались их территории — подчинить...

Моя точка зрения состоит в том, что метаморфоза относительно невинной филологической специализации (ориентализма, востоковедения' в средство управления политическими движениями, администрирования в колониях, средства, позволяющего делать почти апокалиптические заявления о трудной цивилизаторской миссии Белого Человека, — произошла в предположительно либеральной культуре, исполненной забот о восхваляемых ею нормах всеобщности, плюрализма, открытости мысли. На самом деле то, что происходило, было противоположно либеральным принципам: окостенение доктрины и значения, данных «наукой», и превращения их в «истину». Потому что если такова истина, закреплявшая за собой право судить Восток как неизменно «восточный», в описанном мной понимании, то либеральность оказывалась не более чем формой подавления и интеллектуального предрассудка.^[95]

В XX в. случилось так, что угнетенные расизмом и сексизмом стали настаивать на пользовании правами, которые, как говорили либералы, теоретически им принадлежали, — пользовании и правами человека, и правами народов. Первая мировая война обозначила эту политическую цезуру. Разрушение порядка в отношениях между государствами центра, «тридцатилетняя война», длившаяся с 1914 по 1945 г., открыла

пространство для новых движений.

Поскольку наиболее насущной проблемой на мировой сцене был колониализм/империализм, то есть юридический контроль над большей частью Азии, Африки и Карибского бассейна со стороны европейских государств (а также США и Японии), прежде всего, проявилось требование прав народов, а не прав человека. Законность этого требования наиболее ярко была продемонстрирована Вудро Вильсоном, когда он сделал центральной темой глобального либерализма «самоопределение наций». Конечно, Вильсон настаивал на предоставлении самоопределения в строгих юридических формах, методически, рационально, когда нации будут готовы к нему. До тех пор, пока такие условия не созреют, эти нации могут существовать в режиме «опеки» (используя язык Устава ООН 1945 г.).

Консерваторы, как и можно было ожидать, имели тенденцию быть еще осторожней и считать, что «готовность» к самоопределению вызреет через очень длительный срок времени, если это вообще когда-нибудь случится. В первой половине XX в. консерваторы часто обращались к теме прав человека, чтобы оспорить права народов. Они доказывали, что население колоний — это не подлинные «народы», а просто совокупность индивидов, чьи личные права человека могут быть признаны, когда индивид имеет достаточный уровень образования и освоил в достаточной мере западный стиль жизни, тем самым доказывая, что он — очень редко она — достиг статуса «цивилизованной личности». Это была логика доктрины формальной ассимиляции, которой пользовался ряд колониальных держав (например, Франция, Бельгия и Португалия), но и другие колониальные державы практиковали сходный, хотя и не формализованный подход к определению и предоставлению прав человека.

Те социалисты, которые в годы Первой мировой войны были настроены коренным образом антисистемно и антилиберально, иначе говоря, большевики (или ленинисты) и Третий Интернационал, поначалу очень подозрительно относились ко всем разговорам о правах народов, которые они ассоциировали с националистическими движениями европейского среднего класса. В течение длительного времени они были открыто враждебны этой концепции. Затем довольно внезапно в 1920 г. они радикально изменили курс. На бакинском Съезде народов Востока^[96] тактический приоритет классовой борьбы в Европе/Северной Америке был тихонечко положен под сукно в пользу тактического приоритета антиимпериализма, — темы, вокруг которой Третий Интернационал надеялся построить политический союз между европейскими, в основном

коммунистическими, партиями и по крайней мере наиболее радикальными национально-освободительными движениями Азии (и других частей периферийных зон). Но, сделав это, ленинисты по сути присоединились к вильсонской программе самоопределения наций. А когда, после Второй мировой войны, СССР активно проводил политику поощрения «социалистического строительства» в ряде стран, более или менее тесно привязанных политически к Советскому Союзу, он *de facto* присоединился к выполнению программы мирового либерализма по экономическому развитию слаборазвитых стран.

Таким образом, можно сказать, что в 1945–1970 гг. либерализм пережил второй взлет. Если в десятилетия, предшествовавшие 1914 г., он, казалось, торжествовал в Европе, в 1945–1970 гг. он, казалось, торжествовал по всему миру. США, всемирный выразитель либерализма, были державой-гегемоном. Их лишь теоретический оппонент, СССР, осуществлял тактическую программу, которая, если говорить о правах народов, по сути ничем не отличалась от либеральной. Тем самым он фактически содействовал США в приручении опасных классов миросистемы. Более того, казалось, что эта либеральная политика действительно приносит плоды этим самым опасным классам. Национально-освободительные движения пришли или приходили к власти по всему третьему миру. И эти классы, казалось, приходят к власти (по крайней мере частично) повсюду, не только при помощи коммунистических режимов в советском блоке, но и при серьезной поддержке социал-демократических партий в Западной Европе и других странах белого сообщества. И, как часть невероятного глобального расширения экономики 1945–1970 гг., темпы экономического роста почти во всех периферийных странах были весьма велики. Это были годы оптимизма, даже там, где (как во Вьетнаме) борьба оказалась весьма жестокой и разрушительной.

Оглядываясь на то, что ретроспективно выглядит почти золотым веком, поражаешься, насколько в это время отсутствовала какая-либо озабоченность правами человека. Повсюду бросалось в глаза отсутствие прав человека или пренебрежение ими. От чисток и фальсифицированных процессов в Восточной Европе до различных форм диктатуры в странах третьего мира (и не забудем маккартизм в США и *Berufsverbot*^[97] в Федеративной Республике Германии), это вряд ли была эпоха триумфа прав человека. Но, что еще более существенно, это не был период, когда политические движения мира проявляли очень большую риторическую озабоченность правами человека. Доводы защитников прав человека повсюду рассматривались как угроза национальному единению в битвах

«холодной войны». И в странах третьего мира, наиболее тесно связанных с Западом, уважение к правам человека было ничуть не большим, чем в государствах, максимально тесно связанных с советским блоком. Более того, открыто высказываемая озабоченность США/СССР положением с правами человека в сфере влияния оппонента была ограничена пропагандистским радиовещанием и не оказывала серьезного влияния на реальную политику.

Что произошло с тех пор? Главным образом, две вещи: провозвестническая и разоблачительная всемирная революция 1968 г., бросившая вызов либеральной геокультуре; и последующее, начавшее проявляться в 1970-х гг., свидетельство того, что либеральный пакет уступок опустошен. В 1968 г. студенты и их союзники говорили повсюду — в странах Запада, в коммунистическом блоке и в периферийных зонах, — что либеральная идеология (включая отличный на словах, но сходный по сути советский вариант) представляет собой систему обманных обещаний, реальное содержание которых на самом деле в основном негативно для громадного большинства населения мира. Разумеется, революционеры стремились повсюду говорить на языке понятий, отражающих специфику своих стран — в США иначе, чем в Германии, Чехословакии и Китае, Мексике и Португалии, Индии или Японии, — но всюду возвращались одни и те же темы.

Всемирная революция 1968 г. не разрушила миросистему. Она и не приблизилась к достижению этой цели. Но она вытеснила либерализм с его места определяющей идеологии миросистемы. И консерватизм, и радикализм отодвинулись от либерального центра назад, приблизительно на те места, которые они занимали в первой половине XIX в. И тем они самым нарушили тот тонкий баланс, который либерализм стремился установить для ограничения революционного воздействия как прав человека, так и прав народов.

Как нарушился этот баланс, можно увидеть на примере влияния второго главного изменения, произошедшего уже в социально-экономической структуре миросистемы. Примерно с 1968–1973 гг., мироэкономика находилась в фазе «Б» кондратьевского цикла, в периоде стагнации. Стагнация фактически аннулировала экономические достижения большинства периферийных зон, за исключением уголка Восточной Азии, который стал местом своего рода перемещения ограниченной части производства в мироэкономике, что является нормальной характеристикой фазы «Б» кондратьевского цикла. Она привела также (с разной скоростью) к падению реальных доходов

трудящихся классов Севера. С розы облетели лепестки. Обман оказался громаден. Надежда на постоянное, упорядоченное улучшение перспектив жизни, поддерживавшаяся силами мирового либерализма (и их фактическим союзником — мировым коммунистическим движением), потерпела крах. И как только крах наступил, те, кто предположительно выиграл от прежнего развития, сами поставили под вопрос, насколько в действительности были обеспечены права народов.

Когда под сомнение было поставлено то, что прежде считалось успешной реализацией прав народов в эпоху после 1945 г., это имело два политических последствия. С одной стороны, многие занялись отстаиванием прав новых «народов». Может быть, полагали они, дело именно в том, что не признавались права их «народа». Отсюда новые и более воинственные этнические движения, движения за отделение, требования «меньшинств» в существующих государствах, которые развивались одновременно с выдвижением требований других групп, или квазинародов, таких как женщины, геи и лесбиянки, инвалиды, престарелые. С другой стороны, если права народов не принесли плодов, зачем тогда подавлять стремление к правам человека, оправдывая это стремлением обеспечить права народов? Вот почему в государствах советского блока и в однопартийных государствах или военных диктатурах третьего мира внезапно стали все активнее выдвигаться требования немедленной реализации прав человека. Это было движение за так называемую демократизацию. Но и в западном мире это было время распада структур, которые прежде серьезно ограничивали выражение прав человека, и время создания новых прав, например «права на невмешательство в частную жизнь» в США.

Более того, казалось, что не просто все заговорили о правах человека в своих собственных странах, но говорить начали и о правах человека в других странах: заявление Картера о правах человека как главной заботе внешней политики США, Хельсинкские соглашения, распространение таких движений, как «Международная амнистия» (*Amnesty International*) и «Врачи без границ» (*Medians du Monde*), желание интеллектуалов третьего мира обсуждать права человека как главную и приоритетную проблему.

Два движения последних 10–20 лет — поиск новых «народов», права которых должны быть утверждены, и более интенсивные требования, касающиеся «прав человека» — были реакцией на разочарования и обманы эпохи 1945–1970 гг., которые привели к революции 1968 г. — революции, которая разворачивалась вокруг темы ложности надежд глобального либерализма и тех гнусных намерений, которые стояли за предлагаемой

мировым либерализмом программой рационального реформизма, Поначалу два ответа казались одним. Те же люди, что утверждали права «новых» народов, требовали и больших прав человека.

Однако к концу 1980-х гг. и особенно с геополитическими потрясениями прежней системы гегемонии США, отмеченными крахом коммунистических режимов, два движения пошли раздельными, даже противоположными, путями. К 1990-м гг. появились целые движения, использующие (вновь) тему прав человека, чтобы противопоставить ее правам «новых» народов. Это можно было наблюдать в неоконсервативной кампании против политкорректности в США. Но то же самое просматривается в поддержке *Medecins du Monde* и близкими к ним французскими интеллектуалами *droit d'ingerence*^[98] (права на интервенцию) вмешательства в Боснии и Сомали сегодня, в Китае и Иране — завтра; и (почему же нет) в находящиеся под властью чернокожих муниципальные органы управления в США — послезавтра.

Сегодня либерализм загнан в угол своей собственной логикой. Он продолжает утверждать законность прав человека и, чуть менее громко, прав народов. Он все еще не имеет в виду того, что есть на самом деле. Он утверждает права с целью, чтобы они не были применены в полном объеме. Но это все труднее сделать. И либералы, зажатые, как говорится, между Сциллой и Харибдой, показывают свою подлинную суть, превращаясь в большинстве в консерваторов и лишь в редких случаях в радикалов.

Давайте возьмем простой, очень важный и очень насущный вопрос, относящийся к делу: миграцию. Политическая экономия проблемы миграции чрезвычайно проста. Мировая экономика более, чем когда-либо, поляризована в двух отношениях: социально-экономически и демографически. Между Севером и Югом зияет разрыв, и есть все признаки, что в ближайшие десятилетия он станет еще шире. Последствия очевидны. Существует громадное давление миграционного потока с Юга на Север.

Посмотрим на него с точки зрения либеральной идеологии. Понятие прав человека очевидно включает в себя право на свободу передвижений. По логике либерализма, не должно быть ни паспортов, ни виз. Каждому должно быть позволено работать и селиться повсюду, как, например, происходит сегодня в США и в большинстве суверенных государств — уж точно в тех государствах, которые претендуют на то, что являются либеральными.

На практике, разумеется, большинство людей на Севере буквально приходит в ужас от идеи открытых границ. Но и политики в последнюю

четверть века идут вовсе не в этом направлении. Соединенное Королевство было первым государством, которое воздвигло новые барьеры, чтобы отгородиться от подданных своих прежних колоний. В одном только 1993 г. произошли три важных события. Парламент Германии жестко свернул гостеприимство для «беженцев», боясь того, что такими могут стать жители Восточной Европы. (Разоблачать злобных коммунистов, которые не выпускают народ из своих стран, было хорошим шоу, но теперь мы увидели, что происходит, когда больше нет злобных коммунистов у власти, способных ограничить эмиграцию.) Во Франции правительство провело законы, которые не только ограничили миграцию из бывших колоний, но даже усложнили условия получения гражданства детьми мигрантов, родившимися во Франции. А в США в 1993 г. губернатор крупнейшего штата, Калифорнии — и нельзя сказать, что факт скорого превращения ее в штат с небелым большинством не имеет отношения к делу, — призвал к принятию поправки к Конституции США, которая бы положила конец одной из наших наиболее чтимых традиций — *jus soli*^[99] делающего любого рожденного в США их гражданином по праву рождения.

Каковы аргументы, выдвигаемые в Великобритании, Германии, Франции, США? То, что мы (Север) не можем принимать на себя бремя (экономическое бремя) всего мира. А почему, собственно говоря, нет? Лишь столетием раньше тот же самый Север брал на себя «бремя белого человека», бремя «цивилизаторской миссии» среди варваров. Теперь варвары, опасные классы говорят: «Спасибо вам большое! Забудьте о том, чтобы цивилизовать нас; просто дайте нам возможность пользоваться некоторыми правами человека, скажем, правом на свободу передвижения и поиск работы всюду, где мы можем найти ее».

Внутренние противоречия либеральной идеологии носят тотальный характер. Если у всех людей равные права и у всех народов равные права, мы не можем сохранять такую неэгалитарную систему, какой всегда была и всегда будет капиталистическая мировая экономика. Но если это открыто признать, то капиталистическая мировая экономика потеряет легитимность в глазах опасных (то есть обездоленных) классов. А если система лишена легитимности, она не выживет.

Кризис тотален, дилемма тотальна. Мы будем переживать ее следствия в ближайшие полвека. Как бы мы ни разрешили коллективными усилиями этот кризис, какого бы рода новую историческую систему мы ни построили, будет ли она хуже или лучше, будет ли у нас больше или меньше прав человека и прав народов, одно несомненно: это не будет система, основанная на либеральной идеологии, какой мы ее знаем на

протяжении вот уже двух веков.

Глава 9. Геокультура развития или трансформация нашей геокультуры?

Развитие — это термин, в области социальных наук и публичной политики начиная с 1950-х гг. *Культура* — термин, вновь введенный в употребление в этих сферах с большой шумихой и новыми акцентами в 1970-е гг.

Не так трудно дать объяснение этой истории терминов. Возникновение термина «развитие» было прямым последствием политического появления так называемого третьего мира в период после 1945 г. Народы периферийных зон миросистемы эффективно организовывались для достижения двух главных целей: большей политической автономии внутри миросистемы и повышения благосостояния. Достижение большей автономии означало политическую независимость для народов, которые были прежде колонизованы, и более националистически ориентированные правительства для государств, которые уже были суверенными. Вообще говоря, эта задача была в той или иной форме решена почти во всех периферийных зонах в период 1945–1970 гг. Легитимность этих целей и задач была подтверждена не только структурой Объединенных Наций, но также и широко распространенным признанием концепции «самоопределения наций» и происходившей параллельно делегитимизацией «империализма».

Цель повышения благосостояния была признана в равной мере легитимной. Однако ее обеспечить было гораздо труднее, даже на поверхностном уровне, чем достичь большей политической автономии. Однако, и в этом отношении 1945–1970 гг., казалось, были благополучными. Произошла удивительная экспансия мироэкономики, и почти все части света, похоже, стали жить лучше, чем в период 1920–1945 гг. Широкое распространение получил оптимизм по поводу дальнейшего роста благосостояния. Хотя было признано наличие серьезного разрыва между «промышленными» и «аграрными» странами (или между «развитыми» и «слаборазвитыми» странами, или — в терминах более позднего периода — между «Севером» и «Югом») — а некоторые уже в 1950-х гг. замечали, что разрыв рос — все еще верилось, что так или иначе абсолютная (и относительная) нищета периферийных зон может быть преодолена. Процесс преодоления этого разрыва как раз и стал

называться «развитием».

Возможность (экономического) развития всех стран стала всеобщим убеждением, разделяемым в равной мере консерваторами, либералами и марксистами. Предметом ожесточенных споров были рецепты, предлагаемые для достижения подобного развития, но не сама его возможность. В этом смысле концепция развития стала основным элементом геокультурной опоры миросистемы. Это воплотилось в единодушном решении Объединенных наций объявить 1970-е гг. «десятилетием развития».

Трудно было выбрать менее удачное время. Экспансия мироэкономики, фаза «А» цикла Кондратьева прошла свой пик. Мироэкономика вступала в фазу «Б» кондратьевского цикла — фазу стагнации. Стагнация не означает, что в упадок приходит абсолютное благополучие каждого. Фаза «Б» — скорее время, когда это верно для большинства людей, но определенно не для всех. Для некоторых людей и некоторых географических районов фаза «Б» оказывается периодом большого личного или местного успеха.

Однако для большинства, страдавшего экономически в 1970–1990 гг. (и эти страдания продолжаются), фаза «Б» стала периодом огромного разочарования. Это объясняется тем, что искренне разделяя геокультурную веру в возможность развития, большинство людей находилось в состоянии социально-психологического ожидания. Развитие было путеводной звездой, а теперь оказалось иллюзией. ^[100]

Тут-то на сцену вышло понятие «культуры». Чтобы быть точным, культура уже обсуждалась раньше, в ходе дискуссий 1945–1970 гг., посвященных развитию, но обсуждалась прежде всего как «препятствие». С точки зрения многих теоретиков, особенно, хотя и не только, либеральной направленности, культура представляла собой явление «традиционное», то есть понятие, противопоставлявшееся «современному». О народах периферийной зоны говорилось, что они продолжают верить во многие так называемые традиционные ценности, а это якобы мешает им заниматься такими видами деятельности, которые дали бы им возможность самыми быстрыми темпами развиваться. Следовательно, им нужно было «модернизироваться». Это считалось непростой задачей. Тем не менее, просвещенные местные правительства при помощи международных агентств и правительств уже «развитых» государств могли предпринять реформы, которые ускорили бы процесс модернизации. Главные формы внешней поддержки местных реформ получили название «технической помощи». Слово «техническая»

употреблялось, чтобы подчеркнуть две существенные черты: предполагалось, что помощь самоочевидна с научной точки зрения, заявлялось, что она не основана на частных интересах. «Техническая» подразумевало «только техническая» и, тем самым, «аполитичная».

Что касается 1970-х гг., ни техническая помощь, ни проводимые в рамках государств реформы, казалось, не оправдали себя. Экономическая ситуация в большинстве этих стран заметно ухудшалась. Концепция, заключавшаяся в том, что «помощь» — это только передача научных знаний, себя не оправдала. Идея, что помощь не основана на частных интересах, приобрела горький привкус, поскольку множество стран попали в порочный круг очень высокой внешней задолженности, бегства капиталов и «отрицательного инвестирования».

Одним из результатов стало то, что многие из тех, кто прежде был среди самых «верных» сторонников концепции развития, начали обращаться против ее идеологов. Они сказали, в конце концов, следующее: вы (вы — политологи, вы — социологи) говорили нам, что экономическое развитие возможно во всем мире и что путь к нему идет через обдуманые политические перемены (или через либеральный реформизм, или через революционные преобразования). Но это оказалось явно неверным. Для бывших правоверных было характерно ощущение утраты, неподтвердившихся надежд. Найдите новую надежду! Если перемены в политической экономии более не считаются многообещающим или хотя бы внушающим доверие путем, которым следовало бы идти, если (а это так и есть) развитие, как оно проповедовалось в период 1945–1970 гг., в действительности было иллюзией, тогда, возможно, спасение может быть найдено в обращении к культуре. «Культура», которая в 1945–1970 гг. обсуждалась как «препятствие», которое следует убрать как можно быстрее, теперь стала восприниматься как оплот, без которого невозможно противостоять вырождению, распаду, упадку экономики и политической жизни, являющихся следствием расширяющегося процесса превращения всего в товар. «Культура» перестала быть главным злом, она стала добром.

И вот получилось так, что мы участвуем в конференции, ко-спонсором которой является ЮНЕСКО, в конференции под названием «Культура и развитие», причем не просто «развитие», а «устойчивое развитие». Это же самое ЮНЕСКО в 1953 г. опубликовало исследование Маргарет Мид, выполненное для Всемирной Федерации психического здоровья и основанное на совершенно иных подходах к теме. Данное исследование было предпринято во исполнение двух резолюций ЮНЕСКО^[101], и эти резолюции заслуживают того, чтобы их процитировать. Первая, № 3.231 от

1951 г., предлагает ЮНЕСКО «изучать возможные методы, ослабляющие напряжение, вызванное введением современной техники в неиндустриализованных странах и в странах, находящихся в процессе индустриализации». Вторая, резолюция № 3.24 от 1952 г., призывает ЮНЕСКО «для обеспечения социального прогресса народов поощрять изучение методов, чтобы гармонизировать введение современной технологии в страны, находящиеся в процессе индустриализации, при уважении к культурным ценностям этих стран».

Эти резолюции говорят сами за себя. В сущности ЮНЕСКО говорит следующее: современная техника вводится на периферии. Это, конечно, хорошо, но это создает напряжение — культурное и индивидуальное (исследование держит в центре внимания индивидуальное психическое здоровье). Кому-то нужно это «гармонизировать». Грамматика резолюций ужасна, потому что после этого слова нет предлога «с»; остается неясным, с чем же необходимо гармонизировать современную технологию. Можно, однако, предположить, что преследовалась просто цель успокоить людей. «Культурные ценности» вызывали подозрение, хотя и заслуживали «уважения». Больше всего ЮНЕСКО хотело обеспечить «социальный прогресс народам», что бы ни означало это добродетельное намерение.

Сегодня, однако, «культура» — уже не только предмет почитания, к которому воззвали, чтобы затем игнорировать. Она стала боевым кличем, провозглашаемым с целью обвинения. Что это такое — «культура», используемая как боевой клич? Почему мы добавляем к «развитию» определение «устойчивое»? Разве можно развиваться неустойчивым образом? Ответы на эти вопросы не самоочевидны с научной точки зрения. Сегодня, конечно же, по этой проблеме нет всеобщего консенсуса. Ответы сегодняшнего дня существенным образом различаются в зависимости от того, откуда вы прибыли.

Первая проблема заключается в том, о чьей «культуре» или «культурах» мы говорим? Слово *культура* употребляется в двух диаметрально противоположных смыслах. Она обозначает нечто общее, присущее двум или более индивидуумов, но она обозначает так же и то, что не является общим для двух или более индивидуумов. Иначе говоря, культура — это то, что объединяет людей, но также и то, что их разделяет^[102]. Когда мы поднимаем сегодня проблему «культуры» в ее отношении к «развитию», мы используем слово культура в смысле, разделяющем народы. Мы говорим о том, что «культура» Кореи отличается от китайской «культуры» и от британской «культуры».

Проблема в том, что же такое корейская, китайская или британская

культура? Является ли она системой ценностей и обычаев, проповедуемых и каким-то образом почитаемых и соблюдаемых большинством людей в Корее, или в Китае, или в Великобритании в 1993 г.? Или же это та часть этих ценностей и обычаев, которая проповедовалась, почиталась и соблюдалась большинством людей в Корее, Китае или Великобритании как в 1993 г., так и в 1793 г.? Или как в 1993 г., так и в 993 г.? По меньшей мере, не самоочевидно, что мы подразумеваем под выражением «корейская», или «китайская», или «английская» культура. Более того, совсем не самоочевидно, что существует некая единая культура, соответствующая этим определениям. Культура меняется в зависимости от времени, от региона внутри названных границ и, конечно же, от класса. Так что когда мы говорим, как Маргарет Мид, что следует уважать культурные ценности, необходимо знать, о чьих или о каких культурных ценностях мы говорим. В противном случае этот тезис слишком неопределенный.

Точно так же, когда мы говорим «устойчивое развитие», не ясно, что мы имеем в виду. Если говорится, что Корея, или Китай, или Великобритания должны «развиваться», идет ли речь на самом деле о Южной Корее, южном Китае, южных графствах Великобритании или действительно о стране в целом? Ведь в каждом из этих специфических случаев в 1993 г. положение дел в экономике лучше обстояло в «южной» зоне, чем в «северной»; и хотя причины в каждом из этих случаев были разными, разница между «южной» и «северной» зонами не только росла в последние 25 лет, но, похоже, будет продолжать расти в течение по крайней мере следующих 25 лет.

Основу геокультуры развития составляют три убеждения:

(а) что государства, являющиеся настоящими или будущими членами Организации Объединенных Наций, политически суверенны и, по крайней мере потенциально, экономически автономны; (б) что каждое из этих государств имеет фактически только одну, или только одну преобладающую и исконную, национальную «культуру»; (с) что каждое из этих государств с течением времени может отдельно «развиться» (что на практике, видимо, означает достижение уровня жизни нынешних членов ОЭСР).

Я считаю, что первые два утверждения не совсем верны, или верны лишь в том случае, если учитывать их многозначность, а третье — совершенно ошибочно. Политический суверенитет независимых государств, на котором основывается первое утверждение, большей частью является фикцией даже для тех стран, которые достаточно сильны в

военном отношении; более того, концепция экономической автономии — полная мистификация. Что касается второго утверждения — о существовании национальной «культуры», одной в каждой стране — несомненно, существует нечто, что можно определить подобным образом. Но такие национальные «культуры» — вовсе не последовательные, хорошо определенные и относительно не изменяемые модели поведения, а скорее сконструированные и постоянно перестраиваемые мифологии. С уверенностью можно сказать, что различия между тем, во что люди верят и как они в среднем ведут себя, между, скажем, Кореей, Китаем и Великобританией, огромны. Но гораздо труднее доказать, что в каждом из этих государств существует единая национальная культура с относительно непрерывной исторической преемственностью или что внутригосударственные культурные различия можно безболезненно игнорировать.

Что касается возможностей национального развития в рамках капиталистической мирозкономики, просто невозможно, чтобы оно реализовалось для *всех* государств. Процесс накопления капитала требует существования иерархической системы, в которой прибавочная стоимость распределена неравномерно как в пространстве, так и между классами. Более того, развитие капиталистического производства в историческом времени фактически вело к постоянно возрастающей социально-экономической поляризации населения мира (а на самом деле даже ее требовало). Это дополнялось демографической поляризацией. Таким образом, верно, что, с одной стороны, так называемое национальное развитие в определенной мере всегда возможно, но оно является циклическим процессом в системе. В то же время верно и то, что, поскольку неравное распределение преимуществ как исторически, так и теоретически, постоянно, всякое «развитие» в одной части мирозкономики на самом деле имеет своей оборотной стороной «упадок», или «регресс», или «слаборазвитость» в какой-то другой ее части. Это было не менее справедливо для 1893 г., чем для 1993 г.; более того, про 1593 г. можно сказать то же самое. Таким образом, я не говорю, что страна X не может «развиваться» (сегодня, вчера или завтра). Я утверждаю лишь, что в рамках существующей системы не существует пути, двигаясь по которому могли бы одновременно развиваться все (или хотя бы многие) страны.

Отсюда не следует, что какие-либо страны не могут вводить новые формы механизированного производства или развивать информационные технологии, или строить высотные здания, или создавать какие-то другие внешние символы модернизации. В известной степени это могут все. Но

это не обязательно означает, что страна или, по крайней мере, большинство ее населения будут жить лучше. Состояние страны или населения может фактически ухудшиться, несмотря на видимое «развитие». Вот почему мы говорим теперь об «устойчивом развитии», подразумевая нечто реальное и прочное, а не статистический мираж. Без сомнения, именно в этой связи мы говорим о культуре. Она предполагает, что не всякое «развитие» благо, а только то, которое как-то поддерживает, возможно, даже насильственно возобновляет определенные местные культурные ценности, которые мы считаем позитивными и чье сохранение является большим плюсом не только для местного населения, но и для мира в целом.

Вот почему я написал заглавие в форме вопроса: «Геокультура развития, или трансформация геокультуры?» Потому что геокультура развития — историческая форма культурного давления во всех государствах с целью обеспечения программы «модернизации» или «развития», программы, которая оказалась бесполезной для этих стран, — эта геокультура развития привела нас в нынешний тупик. Мы разочаровались в иллюзиях, связанных с «развитием» в том виде, в каком оно проповедовалось в 1945–1970 гг. Мы теперь знаем, что оно может привести в никуда.

Итак, мы ищем альтернативы, которые, однако, все еще часто формулируются как альтернативные пути к «национальному развитию». Вчера это было государственное планирование и замещение импорта, сегодня — структурная перестройка (или шоковая терапия) и экспортно-ориентированная рыночная специализация. А кое-где — какой-то невнятный третий путь. Мы движемся от заклинания к заклинанию, безумно, отчаянно, иногда цинично. В ходе этого процесса у немногих дела идут хорошо и еще лучше, но у большинства — это не получается. Проведем ли мы следующие 30 лет в том же беличьем колесе? Я надеюсь, что нет, иначе мы бы точно сошли с ума и исторгали гневные проклятия. На самом деле, определенным образом мы уже взрываемся безумным гневом — от Сараево до Могадишо, от Лос-Анджелеса до Ростoka, от Алжира до Пхеньяна. Вместо бесплодных поисков неубедительных альтернативных решений невозможных дилемм, поставленных геокультурой развития, мы должны переключить наше внимание на трансформацию геокультуры, которая происходит на наших глазах и ставит перед нами вопрос о том, куда мы направляемся и куда хотим прийти.

Разочарование в геокультуре развития означало утрату веры в государство, как проводник реформ и оплот личной безопасности. Это

запустило самоподдерживающийся цикл. Чем меньше легитимности признается за государствами, тем труднее им навязывать порядок или гарантировать минимальный уровень социального благополучия. И чем труднее становилось государствам выполнять эти функции, которые для большинства людей являются *raison d'être*^[103] существования государства, тем меньше легитимности за государствами признавалось.

Перспективы пугают людей. После 500 лет последовательного роста силы и легитимности государственных структур, к тому моменту, когда большинство людей отказались от альтернативных гарантий безопасности и благополучия, государства внезапно начали терять свою ауру. (Конечно, эти 500 лет можно было насчитать не во всех частях света, множество зон были введены в современную миросистему совсем недавно; но для подобных регионов это справедливо в отношении того периода, когда они уже вошли в современную миросистему.) Испуганные люди ищут защиты. Они обратились за защитой к «группам» — к этническим группам, к религиозным группам, к расовым группам, к группам, воплощающим «традиционные» ценности.

В то же самое время и в тесной связи с общим разочарованием в реформизме, основанном на действиях государства или его поддержке, возникла идея «демократизации» — требование политического равенства, идущего много дальше одного лишь избирательного права. Требование «демократизации» выдвигалось не только по отношению к авторитарным государствам, но также и по отношению к государствам либеральным, поскольку либеральные государства были созданы не для развития демократизации, но фактически для ее предотвращения.

Формой, которую приняло требование «демократизации» в последние 25 лет, стало требование больших прав для «групп»: для «большинства» внутри любого государства, не являющегося либеральным, и в еще более жесткой форме — для «меньшинств» внутри любых государств, которые провозгласили себя либеральными. Конечно, понятие «меньшинство» очень условно. Численность «меньшинств» может составлять более 50 % всего населения. Черные в Южной Африке, индейцы в Гватемале, женщины в любом государстве мира являются такими «меньшинствами», потому что, какова бы ни была статистика, в политическом и социальном отношениях они являются угнетаемыми группами. Но, конечно, чернокожие в США, турки в Германии, курды в Турции, корейцы в Японии также являются примерами подобных меньшинств (в этом случае как с социальной, так и со статистической точек зрения).

Таким образом, новый поворот к «группам» имеет два совершенно

различных, почти противоположных, источника. С одной стороны, он питается страхом, дезинтеграцией, и прежде всего — боязнью дезинтеграции в будущем. А с другой стороны, он питается самоутверждением угнетенных, их позитивными требованиями мира, действительно основанного на равенстве. Эта двойственность источника новой надежды на «группы» может привести к огромным беспорядкам. Ничто не может быть лучшей иллюстрацией этого, чем распад Югославии. Не надо забывать, что еще недавно Югославия считалась образцом того, как можно разумно избежать межгруппового конфликта. Сегодня кажется, что мир и все народы прежней Югославии с ощущением обреченности стоят перед фактом непрерывно распространяющейся и усиливающейся кровавой резни.

Не являются ли эти «группы», с которыми люди связывали свою веру, теми же сущностями, которые мы имели в виду, говоря о «культурах»? Мы освобождаемся, отстаивая отличительные черты нашей культуры. Мы используем это, чтобы защитить себя, обеспечить наши права, потребовать равного отношения. Но в то же самое время каждый раз, когда мы отстаиваем нашу особость, мы покушаемся на самоутверждение других. В прежней Югославии, если вернуться к нашему примеру, политический распад государства начался несколько лет назад, когда Сербия отменила автономный статус Косова. В том, что касается Косова, очевидны два факта. Факт первый — огромное большинство населения там сегодня исповедует ислам и говорит преимущественно по-албански. Факт второй — большинство сербов считают Косово историческим сердцем сербской культуры. Сербия без Косова — это Сербия, лишенная своей культурной истории. Не просто одновременно удовлетворить требования, вытекающие из этих двух фактов.

Для сербов Сербия без Косова все равно как Израиль без Иерусалима. А кстати, это еще один хороший пример! И отличаются ли эти требования, относящиеся к «культуре», от претензий Ирака к Кувейту? И если да, то в чем отличие? Как можно вытащить самих себя из того, что угрожает стать засасывающей трясиной требований и контртребований, которые находят выражение в бесконечном насилии? Конечно, было бы бесполезно и, более того, лицемерно отделяться проповедью пацифизма, основанного на показном универсализме, за которым фактически спрятан призыв оставить все как есть, в соответствии со сложившимся в данный момент в мире распределением огневой мощи.

Действительность такова, что мы живем в мире глубокого неравенства, и у нас нет морального права просить кого-то воздержаться от попыток

уменьшить это неравенство. Следовательно, мы должны желать «устойчивого развития» для всех, и мы должны признавать требования «культурной» целостности, предъявленные любой группой, любой страной. Если эти требования создают для нас сегодня проблемы, — это происходит не потому, что выдвигаются требования, а потому, что ослабевают репрессивные механизмы миросистемы. Великий всемирный беспорядок, в который мы вступили, вызван не борьбой угнетенных, но кризисом структур, которые их угнетают.

В этот период великого всемирного беспорядка, кризиса нашей современной миросистемы исторического капитализма мы пойдем вперед только в том случае, если будем в состоянии ясно рассмотреть всю картину. Поскольку это будет период борьбы двоякого рода — борьбы за сиюминутное выживание и борьбы за оформление грядущей исторической системы, которая в конце концов возникнет из нынешнего системного хаоса. Те, кто пытаются создать новую структуру, повторяя ключевую черту существующей системы — иерархическое неравенство, сделают все для сосредоточения нашего внимания на проблеме сиюминутного выживания, чтобы мы не смогли выдвинуть исторические альтернативы их проекту поддельной трансформации, поверхностной трансформации, оставляющей в неприкосновенности существующее неравенство.

Тот факт, что историческая система находится в кризисе, не означает, что люди не продолжают день за днем делать или пытаться делать то же самое (или, по крайней мере, многое из того), что они делали прежде. Всемирное производство товаров на рынок будет продолжаться. Государства по-прежнему будут иметь армии и вести войны. Правительства по-прежнему будут использовать полицейскую силу для подкрепления своей политики. Накопление капитала будет продолжаться, хотя и с возрастающими трудностями, социально-экономическая поляризация миросистемы будет углубляться. Как государства, так и отдельные индивидуумы будут по-прежнему искать способы, обеспечивающие им вертикальную мобильность, направленную вверх в иерархии системы, или по крайней мере предохраняющие их от движения вниз.

С одним, однако, существенным отличием от того, как все это происходило 500 последних лет! Флуктуации внутри системы будут все более бурными и болезненными. Между тем, если во времена, когда историческая система была относительно стабильной, крупномасштабные действия (например, так называемые революции) оказывали относительно небольшое воздействие на функционирование системы, теперь даже незначительные действия могут оказать относительно большое влияние —

в меньшей степени на реформирование сегодняшней системы, чем на определение возможных очертаний системы или систем, идущих ей на смену. Таким образом, вознаграждение за действия человека может быть очень велико, но и наказание за бездействие или неверные действия тоже велико.

Давайте, в связи со сказанным, рассмотрим антисистемную культурную критику существующей системы и ее геокультуры за 500 лет. В последние 25 лет эта критика с большим шумом сосредоточила свое внимание на четырех центральных положениях: материализме, индивидуализме, этноцентризме и деструктивности «пути Прометея»^[104]. Каждое из направлений этой критики было очень сильным, но порой каждому направлению недоставало убедительности.

1) Критика материализма была очень тривиальной. Она заключалась в том, что стремление к благополучию, комфорту и материальным выгодам обычно вело (на самом деле вынужденно) к игнорированию других ценностей, иногда называемых духовными. Это было следствием непрерывного движения к секуляризации государств и всех основных социальных институтов. А эта секуляризация была важной опорой системы государств, которая обеспечивала внутренние рамки для бесконечного накопления капитала. Действительно, бесконечное накопление капитала — определяющая черта нашей исторической системы, есть квинтэссенция материалистических ценностей.

Исторически с этой критикой были две проблемы. Во-первых, наметилась тенденция вести ее в интересах прежних привилегированных слоев, на место которых пришли новые привилегированные слои. Поэтому часто эту критику вряд ли можно было бы назвать честной. Она на самом деле была не антиматериалистической, вопрос преимущественно сводился к тому, чье быка забьют. Или же она использовалась не как критика сильных, но как критика слабых, чьи протесты принимали несколько анархичные формы. И это была, следовательно, форма обвинения жертвы.

Во-вторых, антиматериалистическая критика приобретает смысл только тогда, когда материализм преувеличен. Удовлетворение того, что называют «основными потребностями», (и еще некоторых потребностей) не есть что-то материалистическое, но является вопросом выживания и человеческого достоинства. Антиматериализм никогда не был слишком убедителен для неимущих. А в иерархической системе, основанной на индивидуальных различиях в доступе к капиталу, антиматериализм был не очень убедителен также и для средних классов, имеющих возможности

вблизи увидеть, что происходит на самом верху.

2) Критика индивидуализма является производной от критики материализма. Система, ставящая на первое место материальные ценности, открывает дорогу крысиным гонкам, войне всех против всех. В результате возникает абсолютно эгоцентрическое мировоззрение, смягченное в лучшем случае определенной приверженностью к нуклеарной семье (ведь все-таки человек смертен). Критики вместо этого превозносили «общество», «группу», «общину», часто «семью». А некоторые критики говорили о приоритете всего человечества.

Здесь критики добились несколько большего успеха, ибо им удавалось убедить большие группы людей подчинить свои индивидуальные устремления неким групповым целям. Но эта преданность коллективному оказывалась непрочной. Как только такие общности создавались, они — начинали стремиться к тому, чтобы институционализировать свою способность к достижению коллективных интересов через приобретение того или другого вида политической власти. В итоге они вновь втягивались в процесс функционирования современной миросистемы. Система показала себя слишком мощной, чтобы быть сломленной индивидуальной решимостью, в частности индивидуальной решимостью лидеров групп. Власть «развращает», как говорил лорд Эктон^[105]. Но это была не просто власть, а власть внутри данной специфической исторической системы с ее огромными возможностями для определения путей накопления капитала.

Неизбежным следствием «развращения», «коррупционности» стало разочарование в коллективизме. Те, кто пожертвовал своими личными целями, обнаружили, что выгоду от этого получили другие, а сами они в долгосрочной перспективе жить лучше не стали (на самом деле часто стали жить хуже).

3) Третье направление критики касалось этноцентризма, особенно его господствующей и наиболее заразной в рамках исторического капитализма формы — европоцентризма, оборачивавшегося на поверку расизмом. Критики указали, что грубой версией европоцентризма стал расизм, ведущий к социальной дискриминации и сегрегации групп, отмеченных знаком «низшие». Но критики шли дальше. Европоцентризм, говорили они, имеет и утонченное, более «либеральное» лицо — универсализм.

Европейцы навязывали свои частные ценности остальному миру, выдавая их за ценности универсальные. И таким образом защищали свое собственное господство и материальные интересы. Действительно, последней, наиболее изощренной формой этноцентрического универсализма стала концепция меритократии, требующая, чтобы

«крысиные гонки» велись по честным правилам, но игнорирующая тот факт, что бегуны начинали гонку с разных стартовых позиций, которые обусловлены социально, а не генетически.

Эта критика была очень мощной, но ее ослабляли последствия элементарной тактики *divide et impera*^[106] со стороны власть имущих. Нападки на этноцентризм выпустили пар; разделяющая линия между теми, кого считали высшими, и теми, кого считали низшими, постоянно сдвигалась, вводя внутрь высшего слоя некоторых наиболее энергичных борцов. После этого борцы быстро пересматривали свои взгляды. Поскольку в миросистеме существует постоянная демографическая поляризация, передвигать разделяющую линию было просто, эти подвижки просто служили для поддержания примерно постоянного процента тех, кто находится наверху. Но в политическом отношении это означало, что каждое поколение протестующих должно было фактически начинать с нуля.

4) Наконец, критика «пути Прометея» была самой последней по времени, но во многих отношениях наиболее эффективной. Необходимость накопления капитала привела не только к технологическому прогрессу (вероятно, нейтральному в худшем случае, благотворному — в лучшем), но и к огромным разрушениям. Беспокойство по поводу подверженности исторического капитализма социально-психологической коррозии, выражаемое в терминах концепций «отчуждения» и «аномии»^[107], соединилось с беспокойством по поводу подверженности исторического капитализма геофизической коррозии, что выражается в экологических концепциях.

Сегодня признается, что склонность исторического капитализма к саморазрушению громадна и увеличивается быстрыми темпами. Но и это направление критики имеет свои пределы в смысле удовлетворяемости жалоб. Отчуждение и аномия породили товар — психотерапию. Экология породила товары очистки и использования вторичных ресурсов. Вместо искоренения причин деструкции мы пытаемся заштопать порванную ткань.

Мы сегодня стоим перед вызовом — в эпоху перехода к новой исторической системе надо взять четыре направления критики исторического капитализма (глубокой критики, которая, однако, была сформулирована недостаточно убедительно) и преобразовать их в позитивную модель альтернативного общественного устройства, которая не попала бы в ту же ловушку, в какую попала предыдущая (частичная) критика. Мы должны быть радикальными, то есть должны добратсья до

сути дела. И мы должны предложить действительно фундаментальную перестройку. Это проект, по крайней мере, на 50 лет. И это проект общемирового охвата, он не может быть осуществлен только в некоторых местах или частично, хотя действия на местах должны сыграть главную роль в этом преобразовании. И для него требуется на полную мощность использовать человеческое воображение. Но это возможно.

Подобное возможно, но отнюдь не гарантировано. Триумфализм сведет на нет наши усилия. То, что мы должны отыскать — скорее правильное сочетание трезвости и фантазии. И мы можем обнаружить это в самых неожиданных местах, в каждом уголке мира.

Глава 10. Америка и мир: сегодня, вчера и завтра

Бог, похоже, благословил Америку трижды — в настоящем, в прошлом и в будущем. Я говорю «похоже» потому, что пути Господни неисповедимы, и мы не можем с уверенностью утверждать, что понимаем их. Благословения, о которых я говорю, таковы: в настоящем — процветание, в прошлом — свобода, в будущем — равенство.

Каждое из этих благословений всегда предполагало измерение Соединенных Штатов Америки мировой меркой. Несмотря на длительную историю попыток США рассматривать себя как нечто удаленное от остального мира, и особенно от Европы, их самоопределение на самом деле всегда осуществлялось в мировых понятиях. А остальной мир, в свою очередь, на протяжении вот уже двухсот лет всегда держал США на переднем крае своего внимания.

Проблема Божьих благословений всегда в том, что за них приходится чем-то расплачиваться. И цена, которую мы готовы заплатить, всегда ставит под вопрос нашу праведность. Каждое благословение сопровождалось этим противоречием. И не всегда очевидно, что те, кто получал благословение, были и платящими соответствующую цену. По мере нашего движения из сегодня в завтра вновь пришло время сосчитать наши благословения, оценить наши грехи и подвести итоги.

Сегодня

Сегодня, о котором я веду речь, началось в 1945 г. и завершилось в 1990 г. В этот период, именно в этот период и не более того, США были державой-гегемоном нашей миросистемы. Эта гегемония имела своим

источником наше процветание; ее следствием было наше процветание; знаком нашей гегемонии было наше процветание. Что же мы делали, чтобы оправдать эту единственную в своем роде и редко дающуюся привилегию? Мы что, родились великими? Или же величия мы добились? Или же величие было кем-то нам пожаловано?^[108]

Настоящее началось в 1945 г. Мир только что вышел из затяжной и ужасной мировой войны. Полем битвы был весь Евразийский континент, от западного острова (Великобритания) до островов на Востоке (Япония, Филиппины, острова Тихого Океана) и от северных районов Евразии до северной Африки, юго-восточной Азии и Меланезии на юге. По всей этой обширной географической зоне произошло грандиозное истребление человеческих жизней и материальных ценностей, бывших основой мирового производства. Некоторые районы были опустошены сильнее, чем другие, но почти не осталось районов, не затронутых разрушением. На самом деле единственным крупным промышленным регионом мира, где оборудование и национальная инфраструктура остались нетронутыми, была Северная Америка. Предприятия США не только никто не бомбил, но они вышли на новые уровни эффективности благодаря мобилизации и планированию военного времени.

Поскольку США вступили в войну с производственным аппаратом, который уже был сопоставим по крайней мере со всем остальным миром, военные разрушения, затронувшие других, создали несоизмеримый разрыв в производственных возможностях и эффективности. Именно этот разрыв создал для предприятий США возможность процветать в предстоящие 25 лет так, как они не были в состоянии когда-либо раньше. И именно этот разрыв привел к тому, что единственным способом, делающим возможным процветание этих предприятий, было позволить существенное увеличение реальной заработной платы работающих на них. И именно этот рост реальной заработной платы — воплотившийся во владение домами, автомобилями, товарами длительного пользования, а также в широкое распространение возможностей получить образование (особенно в колледжах) — составлял то процветание, которое узнали американцы и которое восхищало мир.

Процветание — это прежде всего возможности: возможность наслаждаться, возможность творить, возможность участвовать. Но процветание — это и бремя. И первым бременем, которое возлагается процветанием, является постоянная необходимость поддерживать его. Кто же захочет отказаться от хорошей жизни? Всегда существует малое число аскетов и еще какое-то небольшое количество людей, желающих отказаться

от привилегий из чувства стыда или чувства вины. Но для большинства людей отречение от хорошей жизни — знак святости или безумия, и, даже вызывая восхищение, оно не для них. США как страна в 1945–1970 гг. вели себя вполне нормально. Страна процветала и стремилась сохранить это процветание.

Наша страна — ее лидеры, но также и ее граждане — преследовали в качестве очевидной национальной цели не счастье (пожалуй, этот образ, вписанный Томасом Джефферсоном в Декларацию Независимости, является утопическим и романтическим), но процветание. Чего Соединенным Штатам стоило поддержание того процветания, которое они держали в руках? С точки зрения лет, непосредственно следовавших за 1945 г., США нуждались в трех вещах: в потребителях для громадной промышленности; в мировом порядке, позволяющем осуществлять торговлю с наименьшими издержками; в гарантиях, что процесс производства будет непрерывным.

Ни одна из этих трех целей не казалась в 1945 г. легко достижимой. Та самая разрушительность мировой войны, которая дала Соединенным Штатам их невероятное преимущество, одновременно разорила многие из богатейших регионов мира. В Европе и Азии был голод, и живущие там люди вряд ли могли себе позволить покупку детройтских автомобилей. Конец войны оставил нерешенными массу «национальных» проблем не только в Европе и северной Азии, но и во многих странах, не входивших в зону военных действий, тех, которые мы позже стали называть третьим миром. Социальный мир казался отдаленной перспективой. А в самих США американцам предстояло сбалансировать и разрешить собственные разрушительные социальные конфликты 1930-х гг., которые были отодвинуты, но едва ли разрешены политическим единением военного времени.

США принялись, с куда меньшими колебаниями, чем предполагалось, делать все необходимое для устранения этих угроз своему процветанию и надеждам на еще большее процветание. Соединенные Штаты призвали свой идеализм на службу своим национальным интересам. Они верили в себя и в свою доброту и стремились служить миру и направлять мир так, как им казалось справедливым и мудрым. В этом процессе США заслужили аплодисменты многих и проклятия других. Они обижались, когда их проклинали, и тепло относились к аплодисментам, но прежде всего они чувствовали себя обязанными следовать по пути, который сами себе наметили и который считали путем праведности.

Соединенные Штаты склонны оглядываться на послевоенный мир и

отмечать четыре основных достижения, которые они считают главной своей заслугой. Первое — это восстановление опустошенного Евразийского континента и его включение в продолжающуюся производственную деятельность мироэкономики. Второе — поддержание мира в миросистеме, одновременное предотвращение ядерной войны и военной агрессии. Третье — в основном мирная деколонизация прежде колониального мира, сопровождаемая существенной помощью для экономического развития. Четвертое — интеграция американского рабочего класса в экономическое благосостояние и полное участие в политической жизни параллельно с окончанием расовой сегрегации и дискриминации в США.

Когда, сразу после Второй мировой войны, Генри Люе провозгласил, что настал «американский век»^[109], он указывал на ожидания именно таких свершений. Это действительно был американский век. Это были реальные достижения. Но каждое из них имело свою цену и свои непредвиденные последствия. Правильный баланс итогов гораздо сложнее свести и морально, и аналитически, чем мы хотели бы.

Конечно, правда, что США стремились помочь в восстановлении Евразийского континента. В 1945 г. они немедленно предложили поддержку, коллективную через ЮНРРА^[110] и индивидуальную через пакеты КЭР^[111]. Вскоре затем они перешли к более существенным, долгосрочным мерам, наиболее заметной из которых был «план Маршалла». Между 1945 и 1960 гг. в реконструкцию Западной Европы и Японии было вложено изрядно денег и политической энергии. Цели этих инициатив были ясны: заново отстроить разрушенные предприятия и инфраструктуру; воссоздать функционирующую рыночную систему со стабильными валютами, хорошо интегрированную в международное разделение труда; обеспечить существенные возможности для занятости. Соединенные Штаты не ограничивались только прямой экономической помощью. Они стремились также поддержать создание межевропейских структур, которые могли бы предотвратить возрождение протекционистских барьеров, ассоциировавшихся с трениями межвоенного периода.

Строго говоря, все это не было просто альтруизмом. Соединенные Штаты нуждались в широком круге потребителей для продукции своих предприятий, если хотели, чтобы те работали эффективно и прибыльно. Восстановленные Западная Европа и Япония как раз и обеспечили бы необходимую базу. Далее, американцам нужны были надежные союзники,

которые подхватывали бы на мировой сцене политические реплики, брошенные США, и западноевропейские государства, как и Япония, были наиболее вероятными кандидатами на эту роль. Этот союз нашел свое институциональное воплощение не только в НАТО и американо-японском договоре об обороне, но и в еще большей мере в тесной непрерывной политической координации действий этих стран при «лидерстве» США. Чистым выигрышем от этого стало то, что, по крайней мере на начальной стадии, все основные решения, касающиеся международной жизни, принимались в Вашингтоне, при большей частью безоговорочном подчинении и поддержке со стороны системы мощных государств-клиентов.

Единственным серьезным препятствием, которое США видели на международной арене, был Советский Союз, который, казалось, преследовал совершенно иные, даже противоположные, политические цели. СССР в одно и то же время был единственной, кроме США, значимой военной державой в мире после 1945 г. и политическим центром мирового коммунистического движения, якобы преданного идее мировой революции.

Когда мы обсуждаем отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом в послевоенный период, мы обычно используем два кодовых слова: *Ялта* и *сдерживание*. Их значение кажется достаточно разным. От Ялты пахнет циничной сделкой, если не «распродажей», со стороны Запада. Сдерживание же, напротив, символизирует решимость США остановить советскую экспансию. На самом же деле Ялта и сдерживание не были двумя отдельными друг от друга, или тем более противоположными, политическими установками. Это было одно и то же. Сделкой было именно сдерживание. Как большинство сделок, оно было предложено более сильным (США) более слабому (СССР) и принято обеими сторонами, так как служило их общим интересам.

С завершением войны советские войска оккупировали восточную половину Европы, а американские оккупировали ее западную часть. Границей была Эльба или линия от Щецина до Триеста, как описал в 1946 г. Черчилль расположение того, что он назвал «железным занавесом». С поверхностной точки зрения, сделка просто обеспечивала военный статус-кво и мир в Европе, при свободе США и СССР осуществлять в своих зонах такое политическое устройство, которое им кажется необходимым.

Этот военный статус-кво — назвать ли его Ялтой или сдерживанием — скрупулезно соблюдался обеими сторонами с 1945 по 1990 г. Ему предстояло быть в свое время названным «Великим американским миром»

и стать предметом ностальгических взглядов назад в прошлое, в золотую эру.

Однако к сделке существовали три «дополнительные протокола», которые не так уж часто, обсуждаются. Первый из них должен был касаться функционирования мироэкономики. Советская зона не должна была ни обращаться за американской поддержкой для восстановления, ни получать ее. Ей было позволено, а на самом деле даже предложено, укрыться в квазиавтаркической скорлупе. США имели от этого несколько выигрышей. Стоимость восстановления советской зоны грозила быть непомерной, а Соединенные Штаты уже выделили более чем достаточно средств для помощи Западной Европе и Японии. Более того, вовсе не было ясно, могли бы даже восстановленные СССР (и Китай) быстро обеспечить значительный рынок для американского экспорта, и уж во всяком случае они не могли дать ничего сопоставимого с Западной Европой и Японией. Инвестиции в восстановление дали бы в этом случае недостаточную отдачу. В краткосрочном плане Ялта представляла собой чистый экономический выигрыш для США.

Второй дополнительный протокол касался сферы идеологии. Каждой из сторон позволялось (на самом деле каждая из сторон к тому поощрялась) наращивать громкость взаимных обвинений. Джон Фостер Даллес провозгласил, и Сталин с ним согласился, что нейтральную позицию следует считать «аморальной». Борьба между так называемыми коммунистическим и свободным мирами оправдывала жесткий внутренний контроль внутри каждого из лагерей: антикоммунистический маккартизм на Западе, «шпионские» процессы и чистки на Востоке. Кого на самом деле стремились поставить под контроль — как на Западе, так и на Востоке — так это «левых», то есть все те элементы, которые хотели бы радикально оспорить существующий мировой порядок, капиталистическую мироэкономику, которая оживала и процветала под гегемонией США при тайном сговоре с тем, кого можно назвать их субимпериалистическим агентом — с Советским Союзом.

Третий протокол заключался в том, что никому во внеевропейском мире — на пространстве, которое мы позже стали называть третьим миром, а совсем недавно Югом, — не должно было позволяться оспаривать «Великий американский мир» в Европе и его институциональную подпорку — доктрину «Ялта + сдерживание». Обе стороны рассматривали это условие как обязательное и в общем-то уважали его. Но оказалось, что его было трудно интерпретировать и еще труднее принудить к его выполнению.

В 1945 г. США не предвидели, что третий мир окажется столь бурным, каким он оказался на самом деле. США подходили к проблемам третьего мира с мировоззрением Вудро Вильсона, но слишком вяло. Они были за самоопределение наций; они были за улучшение их благосостояния. Но они не считали эти дела срочными. (То же самое, если не считать различий в риторике, относилось и к Советскому Союзу.) В целом США отдавали приоритет своим отношениям с Советским Союзом и с Западной Европой. Европейские державы в 1943 г. все еще были колониальными державами с владениями в Африке, значительной части Азии и в Карибском бассейне и были полны решимости осуществлять изменения исключительно теми темпами и в тех формах, которые определялись бы исключительно ими самими. В результате они были куда менее доброжелательно настроены к вмешательству США в дела их колониальных империй, чем к вмешательству в любых иных сферах, включая их собственную внутреннюю политику. (СССР, следует заметить, имел сходные проблемы с западноевропейскими компартиями.)

Европейские проволочки и советские колебания означали, что первоначальной позицией США была минимальная вовлеченность в развивавшуюся политическую борьбу в третьем мире. Но на самом деле Западная Европа оказалась политически гораздо слабее в колониальном мире, чем ожидалось, и СССР был вынужден быть более активным, чем ему хотелось бы, из-за давления, оказываемого на него необходимостью соответствовать своей ленинистской идеологической риторике.

Соответственно и США пришлось принять на себя более активную роль. Ж. Президент Трумэн провозгласил «четвертый пункт» — доктрину помощи в экономическом развитии. В его речи это был самый последний пункт, но он единственный, который мы запомнили. США начали оказывать очень осторожное давление на западноевропейские страны, чтобы ускорить процесс деколонизации и заставить принять полную политическую независимость как законный исход этого процесса. Они начали также выращивать «умеренных» националистических лидеров. Ретроспективно определение «умеренный» кажется совершенно ясным. «Умеренным» националистическим движением было такое, которое, стремясь к политической независимости, было готово принять (и даже расширить) интеграцию страны в производственные процессы мироэкономики, включая возможность транснациональных инвестиций. В любом случае США воспринимали свою политику как направленную на поддержание и выполнение своей исторической приверженности антиколониализму, коренящейся в происхождении самих США как

независимого государства.

Наконец, не оставался в пренебрежении и внутренний фронт. Сегодня мы часто забываем, насколько США 1930-х гг. были отягощены конфликтами. В то время мы были заняты всеохватывающей и бурной дискуссией о нашей роли в мировых делах: изоляционизм против интервенционизма. Это было также время острой классовой борьбы между трудом и капиталом. Одному из народных героев послевоенного времени, Уолтеру Рейтеру, разбили голову на детройтском мосту во время сидячей забастовки 1937 г. На Юге был очень силен ку-клукс-клан, и все еще линчевали негров. Годы войны были временем социального перемирия, но многие боялись возобновления социальных конфликтов в США после завершения войны. Между тем трудно было бы быть державой-гегемоном, если бы страна осталась столь же разьединенной, какой она была в 1930-е гг. И было бы трудно в полном объеме пользоваться выгодами экономических преимуществ США, если бы ход производства постоянно прерывался забастовками и трудовыми конфликтами.

Однако в течение очень короткого времени США, казалось, сумели навести порядок в своем доме. Изоляционизм был похоронен символическим, но чрезвычайно значимым обращением сенатора Вандерберга, который запустил в обращение идею «двухпартийной внешней политики» США, которые теперь были готовы «принять на себя ответственность» на мировой арене. Великая забастовка 1945 г. на «Дженерал Моторс», руководимая все тем же Уолтером Рейтером, пришла к хэппи-энду, завершившись компромиссом, которому предстояло на 25 лет стать образцом для основных отраслей с высоким уровнем профсоюзной организованности: существенное повышение зарплаты в сочетании с обязательством не прибегать к забастовкам, рост производительности, поднятие цен на конечный продукт. Были предприняты два основополагающих шага для преодоления узаконенной в период после Реконструкции Юга сегрегации черных и белых: интеграция вооруженных сил президентом Трумэном в 1948 г. и единоголосное решение Верховного Суда в 1954 г. по делу «Браун против Совета по образованию» (отменившего решение по делу «Плесси против Ферпосона») о неконституционности сегрегации^[112]. США были очень горды собой, и «Голос Америки» не уставал восхвалять нашу практическую приверженность свободе.

К 1960 г. США, казалось, великолепно продвигались к достижению своих целей. Новое процветание было налицо. Пригороды процветали. Возможности получения высшего образования и доступа к

здравоохранению расширились неимоверно. Была построена подлинно общенациональная сеть шоссе и авиационных маршрутов. Западная Европа и Япония оставались далеко позади. СССР успешно сдерживали. Организованное рабочее движение США, после вычищения из него левого крыла, было признанным компонентом вашингтонского истеблишмента. И 1960 г. был «годом Африки», когда шестнадцать африканских государств, бывшие колонии четырех европейских держав, провозгласили свою независимость и стали членами Организации Объединенных Наций. Избрание в том же году Джона Ф. Кеннеди казалось апофеозом новой американской действительности. Власть перешла, сказал он, к новому поколению, рожденному в этом столетии, и потому, как предположил он, полностью свободному от старых колебаний и неадекватностей, к поколению, полностью приверженному миру постоянного процветания и, предположительно — расширяющейся свободы.

Однако именно в этот момент начала становиться ясной цена процветания, стали ощущаться его непредвиденные последствия, а его институциональные структуры если и не развалились, то по меньшей мере поколебались. Одновременно с процветанием США, и даже с мировым процветанием, пришло понимание растущего разрыва, как на международном уровне, так и внутри США, между богатыми и бедными, центром и периферией, включенными и исключенными. В 1960-х разрыв был только относительным, в 1970-х и особенно в 1980-х он стал абсолютным. Но именно относительный разрыв, пожалуй, особенно относительный разрыв, предвещал проблемы. И проблемы общемировые.

Проблемы с Западной Европой и Японией казались поначалу относительно невинными. К 1960-м гг. эти страны стали «догонять» США — прежде всего в производительности, затем, с некоторым отрывом, в уровне жизни. К 1980-м они превзошли США в производительности и сравнялись в уровне жизни. Эти явления можно назвать «невинным» проявлением проблем, поскольку они питали спокойную форму отвержения гегемонии США; форму отвержения тем более эффективную, что она была мирной и опиралась на уверенность в будущем. Несомненно, наши союзники были связаны своей благодарностью; тем не менее они шаг за шагом стремились выйти из-под опеки и играть свою самостоятельную роль в миросистеме. США вынуждены были применить всю свою институциональную и идеологическую мощь, чтобы удержать своих союзников под контролем, и отчасти им это удавалось до конца 1980-х гг.

Однако повсюду в других местах мятежи были не столь «невинны». Большинство людей в странах Восточной Европы, как левых, так и правых,

отказывались принимать легитимность ялтинского урегулирования. Первоначальная идеологическая жесткость «холодной войны» не могла удержаться ни в Соединенных Штатах, ни в Советском Союзе. Сенат США в 1954 г. вынес порицание Маккарти, а Хрущев на XX съезде КПСС разоблачил и осудил сталинские преступления. Народы Восточной Европы использовали каждое ослабление идеологического цемента, чтобы попытаться тем или иным способом вернуть себе отнятую свободу действий, — особенно заметные попытки были предприняты в 1956 г. в Польше и Венгрии, в 1968 г. в Чехословакии, в 1980 г. вновь в Польше. Все эти политические выступления были направлены не против США, а в непосредственном смысле против Советского Союза; США считали необходимым никоим образом не вмешиваться. Таким образом они сохраняли верность соглашениям с Советским Союзом, и последний имел свободу рук, чтобы применять меры, необходимые для подавления выступлений.

Третий мир оказался тем местом, где события в наибольшей степени вышли из-под контроля, причем с самого начала. Сталин оказывал давление на китайских коммунистов, чтобы они пришли к соглашению с Гоминьданом. Однако те проигнорировали указания и в 1949 г. вошли победным маршем в Шанхай. Реальная озабоченность США была связана не с тем, что Китай теперь станет марионеткой СССР, а с тем, что он ею не станет. Этот страх оказался оправданным. Через год войска США оказались вовлечены в длительные и дорогостоящие военные действия на Корейском полуострове, чтобы хотя бы сохранить статус-кво. Не суждено было произойти умеренной мирной деколонизации и в Индокитае. Сначала французы, а затем американцы были вовлечены в еще более длительную и еще более дорогостоящую войну, которую США в конце концов проиграли в военном отношении. Осторожный сценарий на Ближнем Востоке — консервативные арабские государства и Израиль, все надежно прозападные — был разрушен появлением Насера и насеризма, который вызвал различные формы политического эха повсюду от Северной Африки до Ирака. Война за независимость в Алжире пустила на дно Четвертую Французскую республику и привела к власти во Франции фигуру, наименее сочувствующую американской опеке, — Шарля де Голля. А в Латинской Америке длительное политическое бурление приняло новые и более радикальные формы с приходом на Кубе к власти Кастро.

Поскольку эти восстания в третьем мире были фактически направлены прежде всего не против Советского Союза, а против США (в отличие от выступлений в Восточной Европе), последние считали себя вправе

вмешиваться. И вмешивались на самом деле, и весьма жестко. Если подвести баланс за 45 лет, то можно сказать, что на военном уровне США что-то выиграли и что-то проиграли, и на политическом уровне они, похоже, что-то приобрели, а что-то потеряли. Главная сила США была сосредоточена на экономическом уровне, в их способности наказывать государства, оцениваемые ими как враждебные (Вьетнам, Куба, Никарагуа). Чрезвычайно важно, по моему мнению, отметить тот факт, что с глобальной точки зрения во всех этих делах СССР играл подчиненную роль. С одной стороны, движения в третьем мире вдохновлялись отрицанием американского мирового порядка, а СССР был частью этого мирового порядка. Движущая сила была местного происхождения. «Великий американский мир», с точки зрения этих движений, не служил интересам народов третьего мира. С другой стороны, поскольку эти восстания заставляли США уделять гораздо большее военное и политическое внимание третьему миру, чем кто-либо мог бы представить в 1945 г., фактом является, что ни одно из этих движений в одиночку, ни даже все они коллективно не могли разрушить «Великий американский мир» или непосредственно угрожать американскому процветанию. Тем не менее цена для США становилась все выше и выше.

И дома тоже приходилось платить. Такая необходимость рождалась из двух источников. Первым была стоимость поддержания порядка в третьем мире. Особенно показательный пример — Вьетнамская война. И стоимость в человеческих жизнях, и стоимость в показателях финансовой стабильности правительства были высоки. Но в конечном счете самая высокая цена была заплачена легитимностью государства. Уотергейт никогда не заставил бы президента подать в отставку, не будь к этому времени само президентство подорвано Вьетнамом.

Вторым источником стали издержки относительной бедности. Именно интеграция профсоюзов в политический истеблишмент и окончание законной сегрегации в сочетании с ростом реальных доходов квалифицированных рабочих и среднего класса выдвинули на передний план вопрос об условиях существования маргиналов. США перешли от своего состояния до 1945 г., когда процветало лишь меньшинство, к состоянию после 1945, когда процветающим, хотя и в умеренной степени, стало себя ощущать большинство. Это оказалось спусковым механизмом для действий в пользу маргинальных групп, действий, которые приняли форму нового самосознания — наиболее заметно самосознания чернокожих, самосознания женщин, а впоследствии и других меньшинств.

1968 был годом, когда все эти вызовы оказались вместе в одном

большом плавильном тигле — возмущение американским империализмом, возмущение советским субимпериализмом и его сговором с США, возмущение интеграцией «старых левых» движений в систему, превращением их подразумеваемой оппозиционности в соучастие, возмущение социальным отторжением угнетенных меньшинств и женщин (постепенно распространившимся на отторжение всех других маргинальных групп — инвалидов, геев, коренного населения и т. д.). Всемирный взрыв 1968 г. — в США и Западной Европе, в Чехословакии и Китае, в Мексике и Индии — продолжался так или иначе три года, пока силы, поддерживающие миросистему, не укротили пламя. От огня остались головешки, но в ходе процесса серьезно пострадала идеологическая поддержка «Великого американского мира». Отныне возможный конец такого мира стал лишь вопросом времени.

«Великий американский мир» имел своим источником американскую экономическую мощь. Его вознаграждением было американское процветание. Отныне ему предстояло быть подорванным собственным успехом. Начиная примерно с 1967 г. восстановление Западной Европы и Японии достигло такой точки, когда эти страны стали конкурентами США. Более того, все мировое производство вошло в длительную понижающуюся фазу, которую мы с тех пор и переживаем и которая привела к эрозии американского процветания. Между 1967 и 1990 гг. США пытались сдержать тенденцию к упадку. Было два способа сопротивления тенденции. Одним способом было занятие Никсоном, Фордом и Картером «позиции снизу». Эта линия оказалась неэффективной в столкновении с Ираном. Вторым способом стал наигранный мачизм ^[113] Рейгана и Буша. Он встретил отпор в Ираке.

Решение «позиция снизу» по отношению к угрозе потери США своей гегемонии основывалось на трех опорах: трехсторонность, подъем стран ОПЕК и поствьетнамский синдром. Трехсторонность была попыткой удержать Западную Европу и Японию от достижения политической автономии, пригласив их в качестве младших партнеров в процесс принятия решений. Трехсторонность достигла успеха в той мере, в которой предотвратила сколько-нибудь значительные разногласия между странами ОЭСР по вопросам военной политики, политической стратегии и всемирного финансового регулирования. Западноевропейцы и японцы продолжали формально уважать лидерство США. Но в реальности они без громких заявлений неустанно стремились к относительному улучшению своих позиций в мировом производственном процессе, осознавая, что в конце концов гегемонистские позиции США неизбежно будут подорваны

из-за недостаточно прочной экономической основы.

Подъем стран ОПЕК под руководством главных агентов США в этой области (Саудовской Аравии и шахского Ирана) проектировался прежде всего для перекачки избыточного капитала в центральный фонд с целью последующего перераспределения в третий мир и социалистические страны, главным образом в форме государственных кредитов, обеспечивая краткосрочную стабильность в этих государствах и искусственно поддерживая мировой рынок для промышленной продукции. Вторым предполагаемым выигрышем от подъема стран ОПЕК было то, что он создавал для Западной Европы и Японии большие трудности, чем для США и тем самым замедлял рост их конкурентоспособности. Третье последствие состояло в том, что, стимулируя инфляцию в странах ОЭСР, особенно в США, он снижал реальную заработную плату. В течении 1970-х гг. подъем стран ОПЕК имел желаемые последствия. Он и в самом деле сработал на замедление упадка экономических преимуществ США.

Третьим аспектом ответа в стиле «позиции снизу» явился поствьетнамский синдром, который был не реакцией против Никсона, а исполнением его стратегии: открытие Китая и уход из Индокитая, оба события с неизбежностью повлекли такие последствия, как поправка Кларка об Анголе^[114] и отказ от поддержки как Сомосы в Никарагуа, так и шаха в Иране. Даже советское вторжение в Афганистан подкрепило такое развитие, потому что оно затащило политическую энергию Советов в трясину, поставив их в труднейшую ситуацию, лишило их возможности укрепить свои позиции в исламском мире и предоставило США оправдание, чтобы вновь раздуть огонь идеологической войны в поникшей Западной Европе.

Однако США, очевидно, не учли, что движение, руководимое аятоллой Хомейни, пошло по пути, совершенно отличному от известных в послевоенный период в третьем мире движений национального освобождения. Китайская коммунистическая партия и Вьетминь, насеристы и алжирский ФНО, кубинское Движение 26 июля и ангольское МПЛА — все противостояли гегемонии США и существующей миросистеме, но тем не менее действовали в базовых рамках просвещенческого мировоззрения XVIII в. Они были против системы, но принадлежали ей. Вот почему в конечном счете, приходя к власти, они все могли без особых трудностей инкорпорироваться в продолжавшие свое развитие структуры системы.

Хомейни ничуть не был склонен пойти по этому пути. Он с первого взгляда узнавал Сатану. Сатаной № 1 были США, Сатаной № 2 был

Советский Союз. Хомейни же не желал играть по правилам, служившим интересам того или другого. США не знали, как вести дела со столь фундаментальной инакостью, благодаря которой Хомейни и был способен столь основательно унизить США и тем самым подорвать их гегемонию даже эффективнее, чем мировая революция «новых левых» и отверженных в 1968 г. Хомейни сбросил Картера и покончил с политикой «позиции снизу».

Затем США разыграли свою последнюю карту — рейгановский наигранный мачизм. Врагом, сказал Рейган, является не столько Хомейни, сколько Картер (подразумевались также Никсон и Форд). Решение состояло в преувеличенном подчеркивании мощи. Для наших союзников — не продолжение кокетливой трехсторонности, а реидеологизация. Союзники ответили продолжением своей собственной политики в стиле «позиции снизу» по отношению к Соединенным Штатам. Для третьего мира — вторгнуться на Гренаду, бомбить (однажды) Ливию, и в конце концов сместить нашего собственного агента-ренегата в Панаме Норьегу. Третий мир отвечал тем, что принудил США уйти из Ливана, когда террорист-самоубийца взорвал две сотни морских пехотинцев. А для самих американцев настало время урезания реальной зарплаты, на сей раз не в результате инфляции, а из-за резкого ослабления профсоюзов (начали с авиадиспетчеров), перераспределения национального дохода в пользу богатых, резкого спада деловой активности, что перевело многих людей, имевших средние доходы, на низкооплачиваемые рабочие места. Столкнувшись с кризисом задолженности в мироэкономике (прямым следствием ОПЕКовского повышения цен на нефть), прибегнуть к военному кейнсианству в США. Рост военных расходов необходимо было финансировать, распродавая достояние США нашим союзникам. Долговое бремя США стало грандиозным, а это не могло не привести в долгосрочной перспективе к дефляции американской валюты. И, разумеется, необходимо было обличать «империю зла».

Рональд Рейган может верить, что это он запугал СССР до такой степени, что появился Горбачев. Но Горбачев появился в СССР потому, что Рональд Рейган показал, что США более не были достаточно сильны для поддержания специальных протоколов с СССР. Советский Союз отныне был предоставлен сам себе, а в результате, без «холодной войны», он оказался в отчаянно плохой форме. Его экономика, которая могла держаться на плаву и даже демонстрировать значительный рост во время великого расширения мироэкономики в 1950-х и 1960-х, обладала слишком негибкой структурой, чтобы справиться с великой стагнацией мироэкономики 1970-х

и 1980-х. Его идеологический запал полностью угас. Ленинистский «девелопментализм» доказал свою неэффективность, так же, как ее доказали за последние 50 лет и все другие разновидности такой политики — как социалистические, так и свободно-рыночные.

Горбачев проводил единственную политику, которая была возможной для СССР (или, пожалуй, лучше сказать, для России), чтобы сохранить значительную мощь в XXI в. Ему нужно было прекратить высасывание советских ресурсов его псевдоимперией. Горбачев, таким образом, стремился ускорить ликвидацию военного фасада «холодной войны» (поскольку теперь политическая польза от него исчезла) путем квази-одностороннего разоружения (вывод войск из Афганистана, снятие с боевого дежурства ракет и т. п.), таким образом принуждая США следовать такому примеру. Точно так же он нуждался в избавлении от все более беспокойного имперского бремени в Восточной Европе. Восточноевропейцы, конечно же, были счастливы с этим согласиться. В течение по крайней мере 25 лет они не желали ничего большего. Но чудо 1989 г. сделалось возможным не потому, что США изменили свою традиционную позицию, а потому, что это сделал Советский Союз. А СССР изменил свою позицию не из-за силы США, а из-за их слабости. Третья задача Горбачева состояла в том, чтобы восстановить в СССР дееспособную внутреннюю структуру, включая возможность справиться с освобожденными теперь национализмами. И в этом он потерпел поражение.

Чудо 1989 г. (продолженное потерпевшим неудачу переворотом 1991 г. в СССР), несомненно, было благословением для народов Восточной и Центральной Европы, включая народы СССР. Это не будет благословением в чистом виде, но по крайней мере будут открыты возможности для обновления. А вот для США это вовсе не было благословением. США не выиграли, а проиграли «холодную войну», поскольку «холодная война» была не игрой, которую следовало выиграть, а скорее менуэтом, который необходимо было протанцевать. Если даже при рассмотрении ее как игры можно говорить о победе, то победа эта оказалась пирровой. Окончание «холодной войны» в конечном счете уничтожило последнюю из основных опор гегемонии и процветания США — советский щит.

Результатом стал кризис с Ираком и в Персидском заливе. Ирак обнаружил свои претензии на Кувейт не внезапно. Он заявлял эти претензии в течении по крайней мере 30 лет. Почему же он выбрал именно этот момент времени для вторжения? Непосредственная мотивация выглядит вполне очевидной. Ирак, как и еще сотня стран, страдал от

катастрофических последствий нефтяного жульничества ОПЕК и последующего кризиса задолженности. В его случае это было обострено дорогостоящей и бессмысленной иранско-иракской войной, в которой Ирак нашел поддержку менее странной, чем это кажется на первый взгляд, коалиции в составе США, Франции, Саудовской Аравии и СССР, пытавшейся подорвать силу хомейнистского Ирана. В 1990 г. Ирак был полон решимости не пойти на дно, и захват Кувейта с его нефтяными доходами (и тем самым ликвидация значительной части внешней задолженности) казался выходом из ситуации.

Но почему Саддам Хуссейн решился на это? Я не верю в то, что он просчитался. Я думаю, что он все хорошо подсчитал. Он играл ва-банк. У него было два козыря. Козырь номер один: Саддам знал, что СССР не будет на его стороне. Если бы он вздумал напасть на Кувейт пятью годами раньше, это вторжение немедленно спровоцировало бы конфронтацию между США и СССР, включающую возможность применения ядерного оружия и тем самым быстрое урегулирование конфликта между США и СССР. И у Ирака не было бы иного выхода, кроме как уступить, как сделала Куба в 1962 г. Ирак мог совершить нападение именно потому, что он освободился от сдерживающего влияния СССР.

Козырь номер два: ситуация в регионе. На заре новой горбачевской дипломатии США и СССР начали процесс разрешения так называемых региональных конфликтов, то есть отказались от поддержки конфронтации в четырех регионах, где такие конфликты наиболее активно поддерживались в 1970-х и 1980-х гг.: в Индокитае, в Центральной Америке, в Южной Африке и на Ближнем Востоке. В первых трех регионах процесс переговоров успешно развивался. Лишь на Ближнем Востоке эти переговоры завершились провалом. Когда стало ясно, что переговоры между Израилем и ООП зашли в тупик и США не обладают достаточной силой, чтобы заставить Израиль продолжать их, Ирак вышел из-за кулис в центр сцены. Пока переговоры продолжались, Саддам Хуссейн ничего не мог сделать, поскольку не мог пойти на риск быть обвиненным палестинцами и всем арабским миром в торпедировании переговоров. Но как только они были торпедированы Израилем, Саддам Хуссейн мог изобразить из себя освободителя палестинцев.

В расчетах Ирака содержался один решающий пункт. США при любом образе действий проигрывали. Если бы США не делали ничего, Саддам Хуссейн продвинулся бы по пути превращения в Бисмарка арабского мира. Если бы США среагировали так, как они поступили на самом деле, и создали бы военную коалицию, основанную на прямом использовании

войск США, Саддам Хуссейн мог пасть (именно поэтому игра велась ва-банк), но и США не могли выиграть. Война была неизбежна с первого же дня, потому что ни Хуссейн, ни Буш не могли принять иного исхода, чем военное столкновение. Ирак, разумеется, потерпел жесточайшее поражение в военном смысле, понес громадные потери в живой силе, оказалась разрушенной значительная часть его инфраструктуры. Но на самом деле все еще было бы преждевременно доказывать, что он проиграл политически.

США доказали миру, что являются сильнейшей военной державой. Но необходимо заметить, что впервые после 1945 г. им был брошен вызов в форме прямой военной провокации, который заставил их демонстрировать военную силу. Выиграть в таких условиях означало отчасти и проиграть. Потому что, если кто-то осмеливается бросить вызов, кто-то более осторожный может начать готовиться. Даже Джо Луис^[115] в конечном счете устал.

Демонстрация военной силы США подчеркнула их экономическую слабость. Многие заметили, что военные усилия США финансировались другими, поскольку сами США были не в силах финансировать их. США громко вопили, что теперь они являются мировым дипломатическим брокером. Однако они играли эту роль не как уважаемый старейшина, а скорее как держава, обладающая большой дубинкой, но с экономической точки зрения являющаяся колоссом на глиняных ногах.

Извлекать преимущества из осуществления функций брокера можно только при обеспечении устойчивых результатов. США были вынуждены сами начать на Ближнем Востоке вторую игру ва-банк. Если бы они сумели добиться значимого соглашения между Израилем и ООП, они сорвали бы всеобщие аплодисменты. Но такой результат кажется невероятным. Если же в предстоящие два-три года мы окажемся втянуты в новые войны на Ближнем Востоке, на сей раз, вероятно, с использованием ядерного оружия, США станут объектом обвинений, их консервативные арабские союзники потерпят крах, и Европа будет призвана для спасения ситуации, которая, возможно, является безвыходной. Если все это случится, не Саддаму ли Хуссейну придет пора радостно кукарекать? Из войны в Персидском заливе не было извлечено ничего полезного для мощи США в мире.

Иранский кризис 1980-го и иракский кризис 1990-го были совершенно различны. Они представляли собой две альтернативные модели реакции третьего мира на «Великий американский мир». Иранская реакция основывалась на фундаментальном отторжении западных ценностей.

Реакция Ирака была совершенно другой. В Ираке существует баасистский режим, а БААС является самым секуляризованным движением в арабском мире. Реакция Ирака в конечном счете была военной реакцией, попыткой построить крупные государства третьего мира, основанные на достаточной и современной военной мощи с целью навязать новое *rapprochement* между Севером и Югом. У будущего два возможных облика. С «позицией снизу» в политике США покончил Хомейни. С «наигранным мачизмом» покончил Саддам Хуссейн.

Золотые дни американского процветания теперь в прошлом. Леса, использованные при его строительстве, разобраны. Фундамент осыпается. Как мы оценим эру гегемонии США, 1945–1990 гг.? С одной стороны, это был «Великий американский мир» и эра великого материального процветания. Это также была, по историческим стандартам, эра сравнительной терпимости, по крайней мере в основном, несмотря на многие конфликты, или, пожалуй, из-за тех форм, в которых эти конфликты протекали. Но она основывалась на слишком большом количестве исключительных обстоятельств, чтобы просуществовать долго. И теперь она закончилась.

Теперь мы вступаем в будущее Америки, по отношению к которому мы имеем основания и для отчаяния, и для больших надежд. Но мы не поймем, куда подует ветер, пока не бросим взгляд в американское прошлое.

Вчера

С какого момента мы начнем нашу историю американского прошлого? Я начну эту историю с несколько необщепринятой даты, с 1791 г., основываясь на двух важных событиях, случившихся тогда, — на принятии Билля о правах и принятии Республики Вермонт в Союз.

Нет большего символа и более конкретной основы американской свободы, чем Билль о правах. Мы вполне правомерно превозносим его. Мы склонны забывать, что он был принят только в 1791 г. как первые десять поправок к Конституции. И это очень важный факт, что эти десять статей отсутствовали в первоначальной Конституции, написанной в 1787 г. Так случилось из-за того, что они встретили сильное противодействие. К счастью, в конце концов те, кто выступал против этих положений, проиграли сражение. Но полезно помнить, что приверженность США основным правам человека вовсе не была самоочевидной для отцов-основателей. Мы, конечно же, знаем, что Конституция также

санкционировала рабство и исключала из политической жизни коренных американцев. Эта Конституция была продуктом белых поселенцев, многие из которых, но не все, хотели прочно утвердить основные права человека, по крайней мере для себя, в своей политической структуре.

Принятие Вермонта демонстрирует другие противоречия и двусмысленности. Вермонт, как известно, не был в числе тринадцати колоний, провозгласивших Декларацию независимости, так как Вермонт провозгласил себя независимым образованием лишь в 1777 г., Континентальному Конгрессу не рекомендовалось признавать его до 1784 г., и фактически его не принимали в Союз вплоть до 1791 г., когда штат Нью-Йорк отказался от своих возражений. Эта борьба за признание иллюстрирует многие двусмысленности американской войны за независимость. В то время как тринадцать колоний сражались за свою независимость от Великобритании, Вермонт боролся за свою независимость против Нью-Йорка (и в меньшей степени против Нью-Хэмпшира). Его отношение к англичанам было сложным. Хотя Вермонт большей частью был на стороне Континентального Конгресса, различные его лидеры в различные моменты между 1776 и 1791 гг. вступали в разного рода переговоры с Великобританией.

Что было предметом раздоров? С одной стороны, права человека. Когда Вермонт принял конституцию штата в 1777 г., это была первая в США конституция, отменявшая рабство и предусматривавшая всеобщее избирательное право для мужчин старше 21 года. Вермонт был тогда в авангарде и, похоже, стремился с тех пор там и оставаться. Вермонтская конституция действительно оказалась в остром противоречии с принятой Нью-Йорком годом раньше олигархической конституцией, которая жестко ограничивала право голоса в штате, где рабство все еще играло важную роль и существовало до 1827 г.

Но с другой стороны, это была просто ссора между многочисленными группами земельных спекулянтов, ни одна из которых не отличалась какими-то моральными достоинствами. Если Нью-Йорк блокировал допуск Вермонта в структуры США с 1777 по 1791 г., он делал это, чтобы защитить интересы своих земельных спекулянтов. И если он должен был снять свои возражения в 1791 г., то это произошло из-за Кентукки, подавшего заявку на вступление в Союз, и Нью-Йорк, подсчитывая голоса в сенате, захотел, чтобы Вермонт, как «северный» штат, уравнивал новый «южный» штат. Таким образом, 1791 г. предопределил 1861 г.

В каком смысле и для кого Америка была «землей свободы»? Совершенно нормально, что существовало множество мотивов, которые

побуждали различные группы участвовать в войне за независимость. Владельцы плантаций, крупные купцы, городские наемные работники и мелкие фермеры имели существенно различающиеся интересы. Лишь некоторые из их мотивов соотносились с правами человека или с требованиями большего равенства. Многие были гораздо сильнее заинтересованы в предохранении своих прав собственности как от британского налогообложения, так и от американских радикалов. Например, право экспроприировать коренных американцев и сгонять их с их земель было как раз одним из тех прав, которое, как боялись белые поселенцы, британцы были не слишком склонны поддерживать.

И тем не менее, американская революция была революцией во имя свободы. И авторы Декларации независимости возвестили об этом миру. В конце концов, это была революция; иначе говоря, она утверждала самым решительным образом не только то, что «все люди созданы равными», но также что правительства учреждаются людьми, дабы обеспечить «жизнь, свободу и стремление к счастью», и что если какая-либо форма правительства становится «губительной для самих этих целей», «народ имеет право изменить или упразднить ее». Революция тем самым становилась не только законной, но и обязательной, даже если «благоразумие... потребует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств...»

Новые Соединенные Штаты Америки, рожденные в результате мятежа против материнской страны, узаконенные писаной конституцией, которая претендовала на то, чтобы быть сознательно выстроенным общественным договором, создающим правительство «при согласии управляемых», подкрепленные Биллем о правах, провозгласившим защиту от этого самого правительства, казались сами себе и европейскому миру путеводной звездой надежды, рационализма и человеческих возможностей. Свобода, которую они проповедовали, имела три измерения: свобода индивидуума по отношению к государству и всем общественным учреждениям (прежде всего свобода слова), свобода группы по отношению к другим, более сильным группам (прежде всего религиозная свобода), свобода народа в целом от внешнего контроля (независимость).

Эти права не были чем-то совершенно не известным в то время, но в Соединенных Штатах они выглядели более гарантированными и более широкими, особенно после того как Французская революция, казалось, пошла неверным путем и завершилась в 1813 г. Реставрацией. Более того, европейцы, чувствовавшие себя угнетенными в своих странах, видели в

США землю индивидуальных возможностей, действительно осуществляющую лозунг Французской революции о «*carriere ouverte aux talents*»^[116]. Открытая страна, обширная и малонаселенная страна, США хотели притока иммигрантов и предлагали их детям автоматическое гражданство (*Jus soli*). США были обширной, девственной и, прежде всего, новой страной (не отягощенной феодальной историей).

Или, по крайней мере, мы так говорили, и тогда, и впоследствии. И в это верили здесь и повсюду, тогда и впоследствии. И это в значительной мере было правдой, если мы помним, что это было правдой по отношению только к белым, прежде всего к белым мужчинам, и в течение долгого времени только к белым мужчинам-протестантам, выходцам из Западной Европы. Политическое первенство белых европейцев было свойственно не только США. Дело в том, что, несмотря на прокламирование всеобщих свобод, в этом отношении США не отличались от других стран. Для этой привилегированной группы США на протяжении всей своей истории могли предложить очень многое. Границы расширялись; так называемый «фронт» (граница) обустроивался и заселялся; иммигранты ассимилировались; и страна сохраняла себя, как это сформулировал Джордж Вашингтон, свободной от «коварных уловок иностранного влияния...». США, таким образом, были не только землей возможностей, но и землей-убежищем.

В 1858 г. Авраам Линкольн сказал фразу, ставшую широко известной: «Я убежден, что это правительство не может постоянно оставаться наполовину рабовладельческим и наполовину свободным». Был ли он прав с ретроспективной точки зрения? Несмотря на Прокламацию об освобождении^[117], несмотря на 13-ю, 14-ю и 15-ю поправки к Конституции, несмотря даже на решение по делу «Браун против Совета по образованию», не продолжали ли мы в течение длительного времени оставаться наполовину рабами и наполовину свободными? Существовал ли в нашей истории хотя бы один момент, когда было бы невозможно сказать, что кто-то, и даже многие, страдают или терпят лишения просто из-за цвета своей кожи или тому подобных несущественных причин?

Мы должны посмотреть на нашу историю холодным и жестким взглядом и задаться вопросом, не была ли очень реальная свобода половины населения обеспечена ценой очень реального отсутствия свободы у другой половины? Было ли рабство (понимаемое широко) всего лишь анахронизмом, преодоление которого являлось нашей исторической судьбой (предназначением), или же оно составляло структурную основу и

интегральное условием «американской мечты»? Была ли американская дилемма непоследовательностью, которую надлежало преодолеть мудростью и разумом, или же составной частью нашей системы?

Факт, что в момент перехода от нашего прошлого к нашему настоящему, то есть в 1945 г., наша летопись была очень славной в одних отношениях, но в высшей степени мрачной в других. Существовала изрядная доля апартеида не только на Юге, но и в крупных городах и крупных университетах Севера. Вплоть до 1970-х мы не были готовы даже признать и обсуждать эти мрачные стороны нашего наследия. И даже сегодня в дискуссии большую роль играют обскурантисты.

Уже древние греки развили систему свободы и равного политического участия для граждан и рабства для (иностранных) илотов. Мы разработали нашу собственную систему политических образцов на основе контраста между, с одной стороны, тиранией, деспотизмом или абсолютной монархией и, с другой стороны, республиканской демократией или демократической республикой. Мы забыли, что один из исторических источников нашей политической традиции — *Magna Carta*^[118] 1215 г. — была документом, навязанным королем Англии его лордами и баронами, чтобы гарантировать их права, а вовсе не права их сервов.

Мы думаем о деспотической системе как о такой системе, где один человек или очень небольшая группа, стоящая наверху, может управлять всеми другими и эксплуатировать их. Но на самом деле эти немногие наверху ограничены в своих политических возможностях извлекать слишком многое из тех, кто внизу, и они нуждаются не в столь многом, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. Как только мы начинаем расширять эту группу наверху, делать принадлежащих к ней политически более равными по отношению друг к другу, становится не только возможным, но и необходимым извлекать больше из тех, кто внизу, чтобы удовлетворить потребности тех, кто наверху. Политическая структура, которая дает полную свободу верхней половине, может нижней половиной восприниматься как самая угнетательская. И во многих отношениях она окажется наиболее стабильной. Пожалуй, страна, являющаяся наполовину свободной и наполовину рабской, может поддерживать свое существование очень и очень долго.

Сама возможность индивидуального подъема наверх, в обеспечении и институционализации которой США как страна явились пионером и которую другие страны потом заимствовали, является одним из самых эффективных инструментов в сохранении общества наполовину свободным и наполовину рабским. Вертикальная мобильность оправдывает реальность

социальной поляризации. Она снижает недовольство, поднимая многих потенциальных лидеров протеста с нижней половины наверх, маня миражом потенциального успеха тех, кто остается внизу. Люди стремятся улучшить свое положение, конкурируя с другими. И когда один слой продвигается более или менее вверх, всегда другой спускается вниз.

В любом случае здесь есть обратная сторона. Идеология свободы и потенциального улучшения — универалистская доктрина. И хотя она может требовать, чтобы половина была рабами для обеспечения свободы другой половины, это порождает тревогу. Именно поэтому Мюрдаль мог говорить об американской дилемме^[119]. А наша история подтверждает его правоту. Ведь мы мощно сражались с дьяволом и, согрешив, мы всегда боялись Божьего гнева. Сочетание *hybris*^[120] и глубокого кальвинистского чувства вины было хлебом насущным американцев самых разных происхождений и верований на протяжении всей нашей истории.

В некотором смысле наше прошлое, от 1791 (или 1776, или 1607) по 1945 г., было длительной прелюдией к нашему настоящему. Мы провозгласили свободу по всей стране. Мы усердно трудились, чтобы преобразовать природу и стать экономическим гигантом 1945 г. Мы использовали нашу свободу, чтобы достичь нашего процветания. И делая так, мы подали пример миру. Конечно, это был недостижимый пример. Если наша страна состояла наполовину из свободных и наполовину из рабов, то ведь и весь мир был устроен так же. Если свобода оплачивалась рабством, если процветание оплачивалось нищетой, если включение в общество, одних оплачивалось исключением из него других, то как бы смог каждый достичь того, за что выступала Америка? И как даже все американцы могли бы достичь этого? Это была наша историческая дилемма, наша историческая судьба, наша историческая тюрьма.

Говорят, что самый ранний четко сформулированный протест против рабства исходил в 1688 г. от джермантаунских меннонитов^[121], которые вопрошали: «Разве у этих несчастных нигеров не столько же права бороться за свободу, как у вас — держать их в рабстве?» Конечно, все те, кто не получил своей полной доли свободы в этих Соединенных Штатах, всегда отвечали на вопрос меннонитов «да». Они имели право и боролись за него как только могли. Когда они боролись особенно упорно, им удавалось добиваться кое-каких уступок. Но уступки никогда не предшествовали требованиям и всегда были результатом политических потребностей, а не даром великодушия.

Благословение свободы было подлинным благословением; но оно

всегда было и моральным бременем, поскольку всегда было и по сей день вынуждено быть благословением лишь для некоторых, даже если этих некоторых много, или (повторю еще раз) быть может, *особенно* когда их много.

И вот таким образом с 1791 по 1945 гг. мы перешли через Синайскую пустыню, не попадая в «ловушки альянсов» и сохраненные на пути Бога, чтобы прибыть в землю, текшую млеком и медом в 1945–1990 гг. Будем ли мы теперь изгнаны из земли обетованной?

Завтра

Действительно ли упадок столь ужасен? Возможно, это самое большое благословение из всех. И вновь именно Авраам Линкольн провозгласил моральный постулат: «Как я не хотел бы быть рабом, точно так же я не хотел бы быть господином». Мы были господами мира, может быть, милостивыми и благодетельными господами (по крайней мере так говорили некоторые из нас), но тем не менее господами. Это время прошло. Так ли это плохо? Нас любили как господ, но нас и ненавидели. Мы любили себя, но и ненавидели себя. Можем ли мы теперь прийти к более взвешенному взгляду? Пожалуй, но еще, боюсь, не сразу. Я верю, что мы входим в третью часть нашей исторической траектории, вероятно наиболее богатой потрясениями, наиболее веселой и наиболее ужасной из всех.

Мы не первая держава-гегемон, пришедшая к упадку. Такой державой была Великобритания. Такими были Соединенные Провинции (Голландия). И Венеция, по крайней мере в контексте средиземноморской мироэкономики. И каждый упадок был неспешным и с материальной стороны относительно комфортабельным. У гегемонов накапливается изрядный жирок, и за счет него можно прожить лет 30 или 100. Разумеется, невозможно быть слишком экстравагантным, но мы, как нация, не собираемся быть приписанными к какому-нибудь мусорному ящику.

Взять один только факт, что мы останемся на какое-то время сильнейшей военной державой мира, несмотря на то, что мы стали слишком слабы, чтобы предотвращать появление выскочек наподобие Ирака, вынуждающих нас к военным действиям, или по крайней мере слишком слабы, чтобы делать это иначе, чем очень высокой политической ценой. И хотя наша экономика шатается и доллар неустойчив, нет сомнения, что мы вполне хорошо будем себя чувствовать в следующем цикле расширения мироэкономики, который наверняка начнется в

ближайшие пять-десять лет. Хотя бы в качестве младшего партнера в возможном японо-американском экономическом картеле, США получат высокую долю в мировых доходах. И политически США останутся весомой державой, хотя и станут лишь одной среди нескольких.

Но психологически упадок будет ужасен. Нация стояла высоко, и с этой высоты нам придется спускаться. Нам потребовалось 30 лет, чтобы научиться элегантно и эффективно выполнять обязанности мирового лидера. Несомненно, не меньше 30 лет придется учиться, как элегантно и эффективно принять менее значимую роль, которая нам теперь будет предписана.

И поскольку глобальный текущий доход будет меньше, немедленно и безотлагательно встанет вопрос, кто будет нести бремя падения, пусть и небольшого падения, нашего уровня жизни? Мы уже видим сложности в наших текущих дебатах о том, кто будет платить за громадные растраты и мошенничества кредитных учреждений, и кто должен платить за сокращение бремени задолженности. По мере того как растет наша чувствительность к экологическим проблемам, и, несомненно, она будет продолжать расти, кто будет платить за восстановление причиненных Экссоном разрушений на Аляске^[122], за Лав Кэнэл^[123] и разгребание еще более опасных груд мусора, которые мы, вне всякого сомнения, обнаружим в грядущие десятилетия? Наша экономика и вправду была похожа на магию вуду, когда непонятно, отчего достигается чудесный эффект. И не только в рейгановские времена. Нет ничего более отрезвляющего, чем получить изрядный счет, который ты не в состоянии оплатить, и обнаружить, что в кредит уже не дают. Потому что кредиты дают кредитоспособным, а экономическая кредитоспособность США быстро утекает. Несомненно, мы еще будем проживать накопленный жирок, и даже проживать какие-то европейско-японские благотворительные пожертвования, даваемые из нежной памяти о «Великом американском мире», а потом еще распродавать наше семейное серебро, но это в долгосрочном плане будет еще более унижительным, чем взятие аятоллой Хомейни всего американского посольства в плен.

И что же мы тогда будем делать, мы как нация? Перед нами есть два основных пути. Есть путь ужесточения, насильственных социальных конфликтов, когда волнующиеся низшие классы будут удерживаться грубой и не знающей предрассудков силой, — разновидность неофашистского пути. И есть путь национальной солидарности, общего ответа на разделяемый всеми социальный стресс, путь, по которому мы от благословения свободы и благословения процветания будем двигаться к

благословению равенства, пожалуй, не достигающему совершенства, но тем не менее реального, не знающего крупных исключений.

Я придерживаюсь оптимистической позиции и считаю, что неофашистский путь мало вероятен. Я не считаю его невозможным, но в наших национальных традициях очень многое будет решительно противодействовать успеху неофашистских движений. Более того, я не думаю, что мы настолько отчаемся, чтобы прыгнуть (а это действительно был бы прыжок вниз) на этот путь. Я скорее думаю, что нам предстоит увидеть реализацию равенства большего, чем мы когда-либо мечтали возможным, и равенства большего, чем знала любая другая страна. Это будет третье из благословений Господних. И, как и у первых двух, у него будет своя цена и свои непредвиденные последствия.

Причина, по которой в следующие 30 лет мы заметно продвинемся в царство равенства жизненных возможностей и жизненных вознаграждений, очень проста. Она будет прямым следствием наших предыдущих благословений — свободы и процветания. Из-за нашей устойчивой приверженности свободе, пусть и несовершенной в осуществлении, мы выработали политические структуры, которые замечательно восприимчивы к подлинно демократическому принятию решений, у нас есть воля и способность организовываться политически. Если мы возьмем четыре области, где осуществляется неравное распределение — пол, раса и этническая принадлежность, возраст и классовая принадлежность, — ясно, что те, кто получает меньше своей справедливой доли, присоединяются к большинству, тем самым давая ему возможность добиваться своего..

Это то, к чему пришла эра процветания. Именно осознание процветающей Америки подчеркнуло разрывы и исключения и, в языке, выработанном той эпохой, создало «совесть». Первый взрыв этой совести случился в 1968 г. Это была всего лишь репетиция того второго взрыва совести, который может случиться в грядущее десятилетие. Эта совесть породит волю. А процветание создало возможности. Ни в одной стране мира сегодня обездоленные слои не являются настолько материально мощными, в любом случае достаточно сильными, чтобы финансировать свою политическую борьбу. И в конечном счете новые проблемы породят новый протест. Смесь будет горючей.

Конгресс не будет знать, что бьет по нему. Требования поднимутся со всех сторон и одновременно. И очень скоро, как мне кажется, США могут превратиться из лидера консервативной, незыблемой, свободно-рыночной экономики на мировой сцене в, пожалуй, самое социально ориентированное государство благосостояния в мире, в государство с

наиболее развитыми перераспределительными структурами. И если бы сегодня не твердили со всех сторон, — что идея социализма мертва, можно было бы подумать, — давайте прошепчем непроизносимое, — что США станут квазисоциалистическим государством. Кто знает? Может быть, в этом процессе даже будет лидировать республиканская партия, как это было с Дизраэли и Бисмарком в XIX в. Кого-то такая перспектива может ужаснуть, кого-то подбодрить, но давайте на мгновение усомнимся, прежде чем выражать наши эмоции.

Я сделаю еще два предположения. Первое — что наша традиция свободы не потерпит никоим образом ущерба от этого нового эгалитаризма, что Верховный суд будет и дальше расширять понимание наших гражданских свобод, что власть государственной полиции не будет расти за счет прав личности и что культурный и политический плюрализм будут процветать. Второе предположение — этот новый эгалитаризм не повлияет отрицательным образом на эффективность производства. Мы будем обладать, по причинам, указанным выше, более низким ВВП на душу населения, но новый эгалитаризм будет ответом на это, а не причиной. И в любом случае ВВП на душу будет все же высоким.

Достигнем ли мы тогда Утопии? — Разумеется, нет. Ведь цена будет очень высока, а последствия пугающими. Основной ценой будет социальное исключение. Если мы уничтожим социальное исключение внутри государства, мы еще более обострим его на мировом уровне. Пожалуй, США впервые перестанут быть наполовину рабскими, наполовину свободными. Но именно поэтому мир станет наполовину рабским, наполовину свободным в еще более острой форме. Если в период 1945–1990 гг. для поддержания высокого уровня доходов у половины нашего населения, мы должны были усилить эксплуатацию другой половины, представьте, что потребуется для поддержания на разумно высоком уровне дохода 90% нашего населения. Это означает еще большую эксплуатацию, и главным образом это будет эксплуатация народов третьего мира.

Двадцать лет движения по этому пути и не трудно угадать, что произойдет. В первую очередь давление желающих приехать в Америку станет сильнее, чем когда бы то ни было в ее истории. Если Соединенные Штаты выглядели привлекательными в XIX в., и в еще большей мере в период после 1945 г., подумайте, как они будут выглядеть в XXI в., если двум моим предположениям — довольно зажиточная, с высоким уровнем равенства страна и экономически неимоверно поляризованная миросистема — суждено сбыться. Как давление, так и напряжение миграции достигнут

максимума. Каким образом смогут США остановить нелегальную миграцию, исчисляемую миллионами, даже десятками миллионов? Ответ простой — никак не смогут.

Между тем те, кто не эмигрировал, остался дома на Юге, еще более эффективно исключенные из процветания Севера — не только Северной Америки, но и Европы, и Северной Азии — совершенно точно друг за другом начнут следовать примеру либо Ирана, либо Ирака. США захотят сделать что-либо с этим (так же, как Европа и Япония) из-за вполне оправданного опасения глобального взрыва. Вспомним, что секретными разработками ядерного оружия занимаются, а может быть, уже и добились в этом успеха, Бразилия и Аргентина, Израиль и Ирак, Южная Африка и Пакистан, а вскоре к ним присоединятся еще многие. Во время «Великого американского мира» мы боялись ядерного холокоста, хотя в реальности его вероятность была очень низкой из-за сделки между США и СССР. Вероятность ядерной войны, пусть региональной (но все равно достаточно ужасной), в следующие 50 лет будет гораздо более реальной.

Что будут США делать перед лицом угроз массовой нелегальной иммиграции и региональных ядерных войн? Существует вероятность, что квазисоциалистическая Америка станет Америкой-крепостью. Пытаясь изолироваться от безнадежности и издержек войн в третьем мире, она может обратиться к защите своего богатства и своей собственности. Не преуспев в воздвижении плотин от прилива миграции, она может обратиться к созданию дамбы между правами граждан и неграждан. Почти сразу же США окажутся в ситуации, когда нижние 30, а то и 50 % наемной рабочей силы будут состоять из неграждан, без избирательных прав и с ограниченным доступом к системе социального обеспечения. Случись это, мы как будто переведем часы на 150–200 лет назад. Вся история Соединенных Штатов и западного мира в период с 1800 по 1950 г. была историей расширения политических, экономических и социальных прав трудящихся классов. Но если они принадлежат только гражданам, тогда мы возвращаемся к исходному пункту, со значительной долей постоянного населения, лишенного политических, экономических и социальных прав.

Но и здесь наши проблемы не закончатся. Мы обнаружим — уже обнаруживаем, — что самый быстрый и наименее дорогой путь к экологически чистым Соединенным Штатам — выбрасывать мусор куда угодно — в третий мир, в открытое море, даже в космос. Конечно, это лишь откладывает решение проблем для нас на 50 лет ценой перекладывания проблем на других как в течение этих 50 лет, так и позже. Но, когда тебя прижимают к стенке, разве не очень соблазнительно отодвинуть проблемы

на 50 лет? Через 50 лет большинство нынешних взрослых избирателей уже умрет.

Таким образом, третье благословение Америки — равенство — в лучшем случае даст Америке еще 25–50 лет. Где-то после этого, в 2025 или 2050 гг., придет день расплаты. И США (но не одни они) встанут перед тем же выбором, что и сегодня, но в мировом масштабе. Либо миросистема движется к репрессивной перестройке, либо она движется к эгалитаристской перестройке. Но последняя потребует куда большего перераспределения существующих средств, чем эгалитарное перераспределение только внутри сегодняшних Соединенных Штатов.

Разумеется, в этот момент мы говорим об отречении от существующей миросистемы и замене ее чем-то фундаментально отличным. И по сути невозможно предсказать, каким будет исход. Мы окажемся в точке бифуркации, и случайные отклонения будут влечь за собой громадные последствия. Все, что мы сможем делать, это быть ясно мыслящими и активными, потому что наша собственная активность будет частью этих отклонений и будет иметь глубочайшее влияние на результат.

Я старался прояснить свое видение грядущих 50 лет: на одной стороне Север с растущим богатством, Север, в своих границах сравнительно эгалитарный (для своих граждан), США не являются больше лидером экономически или хотя бы геополитически, но лидируют в социальном равенстве; на другой стороне все более обездоленный Юг, готовый использовать свою военную мощь, которая будет расти и расшатывать миросистему, часто обращаясь против всех ценностей, которые взлелеял Запад, с большой частью своего населения, стремящейся по пути индивидуальной миграции на Север, создавая тем самым Юг внутри Севера.

Кто-то может назвать это видение пессимистическим. Я же отвечаю, что оно не просто реалистично, оно и оптимистично. Потому что в нем остается большой простор для воли. С уходом ныне существующей миросистемы мы на самом деле можем создать намного лучшую. Просто никоим обрезом не является исторически неизбежным то, что мы это сделаем. Мы должны воспользоваться шансом и бороться за спасение. Отчасти мой реализм исходит из того, что США не могут достичь спасения в одиночку. Они пытались сделать это с 1791 по 1945 гг. Они пытались сделать это другим способом с 1945 по 1990 гг. Я предсказываю, что они вновь попытаются делать это какими-то новыми способами между 1990 и 2025 гг. Но до тех пор, пока США не поймут, что нет иного спасения, чем спасение всего человечества, ни они, ни остальной мир не преодолеют

структурного кризиса нашей миросистемы.

Концепция американской исключительности

Америка всегда верила в свою исключительность. И я, может быть, сыграл на этой вере, сфокусировав мой анализ вокруг трех последовательных Божьих благословений Америке. Однако не только Америка не является исключительной, но и американская вера в свою исключительность не является чем-то исключительным. Мы не единственная страна в новой истории, чьи мыслители стремились доказать, что их страна исторически уникальна, отлична от массы других стран мира. Я встречал сторонников французской исключительности и сторонников русской исключительности. Есть индийские и японские, итальянские и португальские, еврейские и греческие, английские и венгерские сторонники идеи исключительности своих стран и народов. Вера китайцев и египтян в свою исключительность — подлинная черта национальных характеров. И польская вера в исключительность вряд ли уступит любой другой. Представлением об исключительности до мозга костей пропитаны все цивилизации, которые были порождены нашим миром.

Я заявил, что американский дух в течение долгого времени сочетал *hybris* и кальвинистское чувство вины. Пожалуй, следует напомнить, что под *hybris* древние греки понимали не что иное, как стремление людей стать богами; а в кальвинистской теологии всегда подчеркивалось, что если мы верим во всемогущество Божие, то-из этого логически следует, что мы не можем считать все предопределенным, так как такое предопределение ограничило бы Божие всемогущество.

Наверное, новый Иерусалим не находится ни здесь, ни в Иерусалиме, ни где бы то ни было еще. Наверное, землей обетованной является просто наша земля, наш дом, наш мир. Наверное, единственным богоизбранным народом является человечество. Наверное, мы добьемся искупления, если приложим к этому усилия.

Часть IV. Смерть социализма, или Капитализм в смертельной опасности

Глава 11. Революция как стратегия и тактика трансформации

Была ли Французская революция безуспешной? Была ли Русская революция безуспешной? Такие два вопроса одно время могли показаться абсурдными. Больше они абсурдными не кажутся. Но как ответить на такого рода вопросы?

«Революция» (revolution) — странное слово. Изначально оно употреблялось в своем этимологическом смысле и означало круговое движение, возвращающееся в исходную точку. И до сих пор оно может употребляться с таким значением^[124]. Но вскоре значение слова подверглось расширению, в результате которого оно стало обозначать просто поворот, а затем — переворот. Уже в 1600 г. Оксфордский словарь фиксирует его употребление в смысле «свержения правительства подчиненными ему лицами». Но, конечно же, свержение правительства необязательно несообразно с понятием возвращения в исходную точку. Уж сколько раз бывало так, что политическое событие, его протагонистами называвшееся «революцией», ими же провозглашалось восстановлением поправных прав и оттого — возвращением к более ранней и лучшей системе.

В марксистской традиции, однако, революция прочно водворилась в линейной теории прогресса. Виктор Кирнан лучше всех улавливает этот момент, как мне кажется, когда утверждает, что она означает «имеющий характер катаклизма скачок» от одного способа производства к другому^[125]. И все же, только лишь определить революцию, как большинство понятий, недостаточно; надо поставить ее в оппозицию к какой-то альтернативе. И как мы знаем, опять же в марксистской традиции (но не только) альтернативой «революции» являются «реформы».

В дебатах конца XIX и XX столетий антитеза «революция *versus* реформы» стала означать противопоставления медленных составных изменений и быстротечных изменений, мелкомасштабных изменений и крупномасштабных изменений, обратимых изменений и необратимых изменений, изменений совершенствующих (которые потому просистемны)

и изменений трансформирующих (которые потому антисистемны), а также изменений недействительных и изменений действительных. Конечно же, в каждой из этих антиномий я заведомо подыгрываю одной из сторон, давая каждой из них ту характеристику, которую использовал революционный дискурс.

В добавление к этому, есть неоднозначность внутри самой марксистской традиции. Марксисты часто делали различие между революцией политической (которая могла быть поверхностным феноменом) и революцией социальной (она — настоящая). Да вдобавок Маркс и Энгельс и сами были не прочь использовать слово *революция* для таких понятий, как *промышленная революция*, и даже указывать, будто «промышленная революция» была важнее или фундаментальнее, чем «Французская революция». Это указание, конечно же, было вполне созвучно базовой философской тенденции исторического материализма, но оно отнюдь не обязательно оказывалось большим подспорьем волюнтаристскому политическому действию. Оттого-то и повелось, что революция в традиции марксизма партий и особенно — в традиции большевиков стала все более и более символизировать насильственное свержение буржуазного правительства пролетариатом, или уж по крайней мере, свержение реакционного правительства прогрессивными народными силами.

На том неоднозначности не кончаются. Понятие «насильственного свержения» не является самоочевидным. Составляют ли революцию так называемое стихийное восстание, или дезинтеграция существующей властной структуры, или же революция — это только если таковое восстание затем направляется в определенное русло революционной партией? Когда началась Французская революция — со взятием Бастилии или с фактическим приходом к власти якобинцев? Традиционно считалось, что русская (Октябрьская) революция началась со штурма Зимнего дворца. Позднее, однако, стали полагать, что революции начинаются до собственно захвата власти. То есть, полагалось существенным, чтобы непосредственно к захвату подвели длительные партизанские кампании, что все в целом было охарактеризовано Мао Цзэдуном как «длительная борьба». Затем эта длительная борьба была выдвинута как сущностный элемент революционного процесса, и не только до захвата государственных органов, но и впоследствии («культурная революция»).

И остается отметить еще одну последнюю неоднозначность. После бакинского съезда антиимпериалистическую борьбу прозвали «революционной» деятельностью, но теоретическое отношение таковой

антиимпериалистической революции к социалистической революции так до конца и не прояснилось. А это из-за того, что не было решительно никакого консенсуса. Находилась ли алжирская революция в одной категории с вьетнамской революцией или они совершенно различны? Фактических траекторий было много. На Кубе до захвата власти «революция» была немарксистской и даже несоциалистической, а после — марксистской и социалистической. В Зимбабве пройденный риторический путь был обратным.

Во всяком случае, как мы теперь ясно видим, результаты были чрезвычайно разнохарактерные. Сегодня уже не кажется, что Мексиканская революция имела очень уж революционные результаты. А китайская? Русские революционеры теперь историческое воспоминание, и воспоминание, не особенно почитаемое в России на данный момент. Первый вопрос, который представляется разумным задать, потому такой: более или менее действенной, чем траектория реформ, на деле была так называемая революционная траектория? Разумеется, мы можем проделать такой же скептический обзор свершений социал-демократических реформ. Насколько фундаментально смогла трансформировать Великобританию лейбористская партия? Да даже шведская социал-демократическая партия? В 1990-е гг., когда едва ли не все, от Китая до Швеции, до Мексики, говорят на языке «рынка», можно с полным основанием задаться вопросом, не прошли ли даром 150–200 лет революционной традиции.

Еще больше можно ломать голову над тем, насколько велико было различие между революционной и реформистской деятельностью. Определенные партии, определенные социальные движения и определенные комплексы социальной деятельности, воспринимаемой как длительное и крупное «революционное» событие, все могут описываться (вероятно, без исключений) как локусы меняющихся тактик, такие что в одни моменты времени они выглядели отчетливо революционными (или повстанческими, или радикальными, или трансформирующими), а в другие моменты это отнюдь не бросалось в глаза.

Реальные революционные лидеры всегда стремились держаться средней линии, часто зигзагообразной по форме, между двумя крайностями: не «продаться» с одной стороны и не впасть в «авантюризм» с другой. Конечно же, что одному «авантюризм», то другому «верность революционным идеалам». Кто-то «продался», а кому-то «шаг назад, два шага вперед».

Быть может, пора перестать бросать друг в друга камни и трезво взглянуть на объективные ограничения на левую политическую

деятельность на протяжении последних двух веков по всему миру и на степень силы подземного давления в направлении трансформации. Начнем с исходных положений. Мы живем в капиталистической миросистеме, которая характеризуется глубоким неравенством и угнетением. Для нее же характерно и успешное наращивание мирового производства, благодаря которому внушительная экономическая сила притекает в руки основных получателей выгод этой миросистемы. Мы можем считать, что те, кому это выгодно, желают сохранить миросистему более или менее такой, какая она есть, и будут вкладывать внушительную политическую энергию в поддержание статус-кво. Можем ли мы считать, что те, кому это не выгодно, с равным рвением желают ее трансформировать? Нет, не можем — тому несколько причин: невежество, страх и апатия. Более того, индивидуальная социальная мобильность предоставляет выход ловкому меньшинству угнетенных. Вдобавок, неполучатели выгод слабее — в экономическом и военном отношении, — чем получатели.

Эта асимметрия политической силы и социально-психологической позиции и есть та базовая дилемма, перед которой стоят левые всего мира с тех самых пор, как в XIX в. они стали сознательно организовываться. К дискуссии о том, что нам делать с этой асимметрией, как раз и сводились дебаты «реформы versus революция». В ретроспективе примечательно видеть, насколько ответы, даваемые каждой стороной, были схожи друг с другом. Коллективное самообразование преодолет невежество; коллективная самоорганизация преодолет страх и апатию. Организованная классовая культура удержит искушаемых индивидуальной социальной мобильностью потенциальных дезертиров, предлагая им руководящие роли в движениях настоящего и правительствах будущего. А неуравновешенность социальных сил между получателями и неполучателями выгоды может быть преодолена, если отобрать у получателей контроль над государственными механизмами.

Именно этим основные движения и занимаются уже 150 с лишним лет. Стратегия и тактика Коммунистической партии Китая, Африканского национального конгресса ЮАР и Социал-демократической партии Австрии — если взять три известных примера — были замечательно сходны, учитывая, как по-разному сложились их исторические обстоятельства. Все три движения можно записать либо в разряд грандиозных успехов, либо в разряд горьких неудач. Что мне принять трудно — это любой анализ, в котором степень успеха каждого из этих трех оценивается неодинаково. Их можно считать грандиозным успехом за способность к массовой мобилизации, за достижение отдельных значительных реформ в своих

странах, таких что ситуация сегодня коренным образом отлична от ситуации, скажем, в 1900 г. и, для некоторых лиц и в некоторых отношениях, эта ситуация коренным образом лучше. Эти движения оказались горькими неудачами в том, что мы по-прежнему живем в капиталистической мирозакономике, которая, во всяком случае, отличается большим неравенством, чем в 1900 г. В каждой из этих стран все еще есть множественные формы угнетения, а движения эти скорее различными способами ограничивают, чем облегчают, нынешние протесты против некоторых из этих форм угнетения.

Стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст? Быть может, мы задаем не тот вопрос. Вопрос — были ли для каждого из этих движений в XIX и XX вв. исторически альтернативные стратегии, которые в ретроспективе кажутся правдоподобными и могли бы достичь большего. Я в этом сомневаюсь. Переписывать историю на основе моделирования — упражнение во многом неумное. Но мне в самом деле кажется, что альтернативные движения, которые реально представлялись в каждом из указанных случаев, проиграли потому, что они были очевидно менее действенны с точки зрения получателей выгод системы, а сумма реформ, осуществленных доминирующими движениями, хоть чего-то, да стоит, даже если ни в одной из трех стран пост-капиталистической утопии нет. Как раз наоборот.

И все же итог очень неприятный, учитывая, какая невероятная социальная энергия была вложена в революционную деятельность в XX в. (и XIX в.). Я разделяю ощущение революционеров 1968 г., что старые левые во всех их вариантах к тому моменту во времени стали «частью проблемы». С тех пор, однако, левые всего мира не останавливались на достигнутом. Всемирная революция 1968 г. повсюду оказала огромное воздействие на силы, осмыслявшие себя как антисистемные. Наш способ анализа выявляет шесть основных следствий, каждое из которых я хочу сформулировать отдельно.

1. Двухшаговая стратегия — сперва взять государственную власть, затем трансформировать общество — сместилась от статуса самоочевидной (для большинства) истины к статусу сомнительного предположения.

2. Организационное допущение, будто политическая деятельность в каждом государстве будет наиболее результативной, если она будет протекать по каналам единой, спаянной партии, более не является общепринятым.

3. Представление о том, что внутри капитализма единственным

фундаментальным конфликтом является конфликт между трудом и капиталом и что все прочие конфликты, в основе которых лежат различия по полу, расе, этничности, сексуальной ориентации и т. п., все вторичны, производны или атавистичны, более не разделяются большинством.

4. Идея о том, что демократия — это буржуазное понятие, препятствующее революционной деятельности, уступает дорогу мысли о том, что демократия может оказаться идеей глубоко антикапиталистической и революционной.

5. Идея о том, что увеличение производительности труда является сущностной предпосылкой построения социализма сменилась озабоченностью последствиями продуктивизма в отношении экологии, качества жизни и вытекающих отсюда последствий превращения в товар всего и вся.

6. Вера в науку как краеугольный камень строительства утопии уступил место скепсису по поводу классической науки и популярного сциентизма, в пользу готовности мыслить в терминах более сложного отношения между детерминизмом и свободной волей, порядком и хаосом. Прогресс более не является самоочевидным.

Ни одна из этих шести ревизий наших посылок не является вполне новой. Но революция 1968 г., поколебав легитимность старых левых, трансформировала сомнения, которые испытывала малая горстка лиц, в куда более распространенный ревизионизм, в самую настоящую «культурную революцию». Каждая из этих шести ревизий посылок сложна и допускает пространные разъяснения. Я этого сделать здесь не могу. Могу лишь обратиться к следствиям этих ревизий для антисистемной политической деятельности, в особенности для стратегии и тактики «революции».

Первым и наиболее фундаментальным следствием является то, что «революция» — как это слово употреблялось марксистско-ленинскими движениями — более не является жизнеспособной концепцией. Она более не имеет никакого смысла, во всяком случае, теперь никакого смысла. «Революции» полагалось описывать деятельность партии, ее борьбу за достижение государственной власти, ее роль как знаменосца труда в борьбе труда и капитала, ее презрение к демократии как всего лишь «буржуазным правам», ее приверженность повышению производительности, ее претензии на научность. Существуют ли еще партии, отвечающие этому описанию и привлекающие сколько-нибудь значительную поддержку? Если и есть таковые, я их вижу немного.

На их месте видим две вещи. Первая — это старые левые партии,

часто со сменившимися названиями, борющиеся за электоральное выживание на основе эклектичных центристских программ, в которые они, кажется, и сами не очень-то верят, наследники смутного чутья социальной справедливости (таким же образом, как радикал-социалисты во Франции времен Третьей республики воплощали в себе традицию светскости). Вторая — это вечно эволюционирующий набор партий и движений, которые в выхолощенном виде представляют собой наследников революции 1968 г.: партии «зеленых», феминистские движения, движения угнетенных этнических и расовых так называемых меньшинств, движения геев и лесбиянок, а также то, что можно назвать низовыми коммунитарными движениями (base community movements).

В Соединенных Штатах в 1980-е гг. были разговоры о создании «Коалиции Радуги»^[126] из такого рода движений. Но в итоге ничего путного из этой идеи не вышло. В самом деле, вступая в 1990-е, мы наблюдаем две громадные политические дилеммы для антисистемных движений всего мира.

Во-первых, новые антисистемные движения, возникшие из революции 1968 г., осуществили вполне успешную атаку на послышки, обручем стягивавшие старых левых, но с тех пор они барахтаются в поисках альтернативной стратегии. Имеет еще значение государственная власть или нет? Что могло бы быть основой для сколько-нибудь прочного союза между движениями? Время проходит, а ответы на эти вопросы кажутся все более похожими на ответы ныне крайне эклектичных движений старых левых.

Во-вторых, в 1990-е гг. наблюдается распространение начинавшихся в 1980-е гг. движений расистского и популистского толка. Однако довольно часто они используют темы и принимают тональности, которые частично пересекаются с тем, что делают новые антисистемные движения. Есть громадный риск политического смешения множества типов.

Вот мы каковы: истасканные, эклектичные остовы старых левых партий; никакой жизнеспособной концепции того, что мы называем революцией; новые антисистемные движения, полные сил, но без ясного стратегического видения; да еще новые расистско-популистские движения нарастающей силы. И посреди этого всего, осажденные защитники существующей капиталистической миросистемы никоим образом не разоружены и ведут политику гибкого откладывания противоречий, дожидаясь момента, когда они смогут провести свою собственную радикальную трансформацию от капиталистического способа производства к какой-то новой, но столь же неэгалитарной и недемократической миросистеме.

Давно прошло время, когда нам надо было с некоторой ясностью определить стратегию, альтернативную отжившей свой век стратегии «революции». Я думаю, что такое переопределение является всемирной коллективной задачей. Здесь могу лишь указать некоторые направления действий, которые могли бы стать элементами такой стратегии, но которые сами по себе в целостную стратегию не складываются.

1. Во-первых, это возвращение к традиционной тактике. Повсюду, на каждом рабочем месте, мы должны стремиться выжать больше, то есть — добиваться того, чтобы большая доля прибавочной стоимости удерживалась рабочим классом. Когда-то это казалось таким очевидным, но было обойдено вниманием в силу самых различных причин: из-за боязни тред-юнионизма и экономизма у партий; из-за протекционистских тактик рабочих в областях высоких зарплат; из-за действующих с логикой работодателей государственных структур, в которых доминировали движения. Одновременно мы должны напирать на необходимость полной интернализации затрат на каждом предприятии. При постоянном нажиме на местном уровне, таковая интернализация и прибавки — больше в Детройте, больше в Гданьске, больше в Сан-Паулу, больше на Фиджи — способны глубоко поколебать закономерности накопления капитала.

2. Во-вторых, повсюду, в каждой политической структуре на каждом уровне, больше демократии, то есть, больше народного участия и больше открытости в принятии решений. Опять же, когда-то представлявшееся очевидным, это направление сдерживалось глубоким недоверием левых движений к психологии масс, откуда и происходил их авангардизм. Быть может, это было правомерно в XIX в., но трансформация в лучшую миросистему не будет возможна без неподдельной, глубоко осознанной народной поддержки, которую необходимо создать и развить посредством большей демократии уже сейчас.

3. В-третьих, левым всего мира надо определиться с их дилеммой в отношении универсализма и партикуляризма. Наполеоновскому имперскому универсализму, примеряемому старыми левыми, поставить в заслугу нечего. Но и бесконечное прославление все более и более малых партикуляризов ни к чему. Нам надо искать способ конструирования нового универсализма, который бы покоился на фундаменте бесчисленных групп, а не на мифическом, атомизированном индивидууме. Но это требует такого глобального социального либерализма, какой мы принять не склонны. Посему нам надо придать операциональный смысл (а не только разрекламированность) «rendez-vous de donner et de recevoir»^[127]

Сенгора^[128]. Надо попробовать на бесчисленных местных уровнях.

4. В-четвертых, нам следует осмысливать государственную власть как тактику, утилизировать ее, когда только сможем и для любых непосредственных нужд, не инвестируя ее и не усиливая ее. Прежде всего мы должны избегать управления системой на любом уровне. Мы должны прекратить ужасаться при мысли о политическом сломе системы.

Трансформирует ли это систему? Не знаю. Мне это видится как стратегия того, как «перегрузить» систему, принимая всерьез идеологические лозунги либерализма, чего сами либералы никогда не предусматривали. Что могло бы перегрузить систему больше, нежели, к примеру, свободное перемещение людей? А помимо перегрузки системы, это стратегия того, как «сохранить свои варианты» и сразу же перейти к лучшему, оставляя всю ответственность за управление существующей миросистемой тем, кому она выгодна, и сосредоточиваясь на созидании новой социальности на местном и мировом уровне.

Коротко говоря, мы должны сделаться стойкими, практичными, оставляющими свой след рабочими в винограднике, обсуждать наши утопии и продвигаться вперед. Когда нынешняя миросистема рухнет на нас в течение ближайших пятидесяти лет, нам надо будет иметь готовую содержательную альтернативу, которая была бы коллективным творением. Лишь тогда у нас будет шанс добиться грамшианской гегемонии^[129] в мировом гражданском обществе, а тем самым, и шанс победить в борьбе против тех, кто стремится все поменять, чтобы ничего не менялось.

Глава 12. Марксизм после крушения коммунистических режимов

Марксизму... неминуемо назначено погибнуть, рано или поздно, и это относится и к его форме как теории... В ретроспективе (и только в ретроспективе) по тому, как он погибнет, будет возможно сказать, из какого теста был сделан марксизм.

Balibar 1991, 154

Смерть Маркса констатировали регулярно и столь же часто его реанимировали. Подобно любому мыслителю его масштаба, прежде всего Маркса стоит перечитывать в свете текущих реальностей. Сегодня вновь

умирает не только Маркс, но и целый ряд государств, которые назвались марксистско-ленинскими и, в основном, разваливаются. Кого-то это радует, кого-то печалит, но мало кто пытается подвести разумный и всесторонний итог этому опыту.

Вспомним вначале, что марксизм — не полное собрание идей и сочинений Маркса, но уж скорее множество теорий, анализов и рецептов политического действия, несомненно, вдохновленных рассуждениями Маркса, из которых сделали нечто вроде догмы. Эта версия марксизма, доминирующая версия, явилась продуктом деятельности двух исторически существовавших партий, которые ее сконструировали, в тандеме и последовательно, совместно, но не в сотрудничестве друг с другом: германской социал-демократической партии (особенно до 1914 г.) и партии большевиков, позднее ставшей Коммунистической партией Советского Союза.

Хотя эта доминирующая версия марксизма никогда не была единственной, другие версии имели крайне ограниченную аудиторию, по крайней мере, до сравнительно недавнего времени. Истинные истоки «взрыва» марксизма, о котором писал Лефевр (*Lefebvre* 1980), можно обнаружить в мировой революции 1968 г. Это событие более или менее совпадает с наступлением брежневского застоя в СССР и с последующим ростом неупорядочности и дезинтеграции внутри так называемого социалистического блока.

Это совпадение несколько запутывает анализ, ибо оно вовлекает нас в непростое дело разграничения аргументов «марксизма партий» (доминирующей версии марксизма) — которые оказались сильно скомпрометированы, если не вовсе опровергнуты, крушением «реального социализма» — и аргументов самого Маркса (или по крайней мере тех аспектов его мысли и марксистской практики), которые не имели отношения, по крайней мере существенного, к этому историческому опыту. Мой аргумент достаточно прост. Умер марксизм как теория современности, теория, развивавшаяся вкупе с теорией современности либерализма, в действительности во многом вдохновлявшаяся ею. Еще не умер марксизм как критика современности и ее исторического проявления — капиталистической мирозаконономики. Умер марксизм-ленинизм как реформистская стратегия. Еще не умер антисистемный напор — народный и «марксовский» (Marxian)^[130] в своем языковом выражении — который вдохновляет реальные силы общества.

Я полагаю, что доминирующий марксизм, ставший марксизмом-ленинизмом, основывался на пяти основных предположениях,

выработанных не учеными-марксоведами, а воинствующими марксистами, как явствует из практики партий за долгие годы.

Для того чтобы достичь коммунистического общества — конечной цели человечества, необходимым первым шагом было как можно быстрее взять государственную власть. Это возможно лишь путем совершения революции.

Этот тезис не столь самоочевиден, как кажется. Что значит — «взять государственную власть»? И еще труднее: что есть «революция»? Внутрипартийные дебаты по этим тактическим вопросам всегда были жаркими, но так никогда и не привели к окончательным выводам. Именно поэтому собственно политические решения были во многом разнообразны и неизменно носили несколько оппортунистический характер.

Однако же, преобладали два образа: либо народное восстание, либо ошеломляющая победа на выборах. В том и другом видели событие, приводящее в движение кардинальные, далеко идущие перемены во властных структурах, после которых поворот вспять считался невозможным.

Партии вне власти любыми доступными им средствами стремились достичь такого поворотного пункта. Достигавшие власти (пусть даже путем, не предусмотренным в теории) любыми средствами стремились остаться у власти, чтобы тем самым доказать, что «революция», в самом деле, являлась необратимым поворотным пунктом. Приход партии к власти в этом смысле виделся аналогичным пришествию Христа на землю. Он не представлял собою конца времен — куда там, — но это был такой момент, когда история трансформировалась. События 1989–1991 гг. оказались таким потрясением, особенно для марксистов-ленинцев, именно потому, что эти события камня на камне не оставили от концепции необратимой исторической трансформации. Это было больше, чем глубокое разочарование, эти события означали ниспровержение базовых посылок политического действия.

Для того чтобы взять и удержать в своих руках государственную власть, так называемым прогрессивным силам и/или рабочему классу было крайне важно создать всеобщую организованную партию.

Независимо от того, была ли то массовая партия, за которую выступали германские социал-демократы, или же партия авангарда, за которую выступали большевики, этой партии полагалось играть роль духовной отчизны ее лидеров и членов, призванных посвятить всю свою

жизнь достижению и удержанию государственной власти.

Тем самым в партии видели главное (даже единственное) устремление в жизни ее членов. Всякая связь с другими организациями, или даже всякий интерес вне рамок программы партии, представлялись серьезной угрозой ее дееспособности. Именно в этом, куда больше, чем в доктринальном атеизме, генезис великой подозрительности к религиям. По той же причине партия враждебно относилась к националистическим, этническим, феминистским и прочим подобным движениям.

Коротко говоря, партия декларировала, что классовые конфликты извечны, а все прочие конфликты эпифеноменальны. Посему партия неоднократно приводила доказательства того, что эти прочие схватки составляют отклонение от центральной задачи, если только они не интегрируются в текущую программу партии из сиюминутных, второстепенных, тактических соображений. Более всего партия опасалась, что ее члены не верны ей всецело и неотступно. Можно сомневаться в том, удавалось ли партиям у власти хоть когда-нибудь создать подлинно тоталитарное государство, но как будто вовсе нет сомнения, что создать тоталитарные партии им удалось.

Между этими двумя тезисами было фундаментальное противоречие. При том что второй тезис о структуре партии изначально замышлялся и казался неплохо приспособленным для мобилизации, необходимой для достижения власти, он был никуда не годным принципом, когда партия уже находилась у власти. Роль партии у власти была в высшей степени двусмысленной. В действительности, в той мере, в какой она вообще функционировала, партия у власти попросту оказывалась органом принятия решений, внутри которого крохотная группа решала все текущие вопросы. Власть руководства носила абсолютно личный характер и была окутана непрозрачным ореолом соучастия. Для большинства своих членов партия стала всего лишь инструментом индивидуальной социальной мобильности в повседневной жизни.

К тому моменту партия была чем угодно, только не духовной отчизной. Беспартийным она казалась совершенно нелегитимной структурой, а партийные относились к ней все больше цинично. Партия была реальностью, которую приходилось брать в расчет, но преданности ей не было ни у кого. Именно из-за природы партии после взятия власти «революция» не оказалась необратимой. Главной целью тех, кто стремился разрушить коммунистические режимы, было изгнать такую партию из власти, как только позволит изменившийся мировой контекст.

Для того чтобы перейти от капитализма к коммунизму, необходимо было пройти через этап, названный диктатурой пролетариата, то есть передать власть всецело и исключительно рабочему классу.

Эти два ключевых слова — *диктатура* и *пролетариат* — оба вызывали вопросы. Безотносительно к тому, какое значение придавалось «диктатуре» изначально, его реальным историческим значением явилось отрицание в этих режимах всех так называемых буржуазных гражданских прав, которые создавались (по крайней мере, частично) в парламентских демократиях «либеральных» государств. Всякая организация, не контролируемая партией, лишалась не только свободы слова, но и самого права на существование. Это же было верно для любых центров интеллектуальной деятельности, утверждавших какую-либо независимость от партии.

Тем не менее, даже если публичные дебаты представляли собой монолог, из этого не следует, что никакой политической дискуссии или разногласий не было. Однако же дебаты носили сугубо приватный характер и ограничивались горсткой людей. Изредка поднимавшийся ропот населения, который иногда накладывал кое-какие ограничения на принятие политических решений, являлся единственной формой выражения настроений народа.

Диктатура претендовала на легитимность в силу того, что государство и партия «представляли» рабочий класс. Какова была действительность? Разумеется, многие лидеры в своей юности были рабочими, — несомненно, таковых было больше, нежели в других государствах миросистемы. Но став членами правящего класса, эти лица «обуржуазивались» и составляли теперь пресловутую *номенклатуру*.

Несомненно, верно было и то, что среди обычных людей квалифицированные рабочие зачастую зарабатывали столько же, а то и больше, чем школьный учитель или средний «работник умственного труда». Эта ситуация представляла собой зеркальное отражение обычной иерархии заработной платы. Но перевернуть иерархию заработной платы и упразднить ее — не одно и то же.

По месту работы у рабочего не было возможности воспользоваться своими профсоюзными правами в отношении администрации предприятия. На деле возможностей выдвижения требований у рабочего было меньше, чем в несоциалистических государствах. Рабочие имели, тем не менее, существенную компенсацию: социальные гарантии (особенно гарантии сохранения рабочего места) и неявное право на низкий уровень производительности труда. Но на деле эти социальные преимущества

зависели от общих доходов государственной казны, и когда государства начинали испытывать серьезные финансовые трудности, отчасти вызванные низкими уровнями производительности труда, страдала социальная «страховочная сеть». Так называемые социалистические государства более не могли выполнять свои обещания, и в результате разразился социальный кризис. Из этого кризиса возникла «Солидарность» и все последующие события.

Несмотря на все официальные речи, почти никто не думал, что действительно живет в государстве рабочих. Самое большее, считали, что живут при режиме, стремящемся к улучшению условий жизни рабочих — иными словами, в реформистском государстве. Когда те немногие преимущества, что предлагались этими государствами, пошли на убыль, режимы утратили свою социальную базу.

Социалистическое государство составляло необходимый этап на всеобщем, верном пути прогресса, ведущем в коммунистическую утопию.

Это была ленинистская (или точнее, сталинистская) версия теории прогресса, сама по себе являвшаяся наследием Просвещения, доставшейся марксизму (а также и либерализму), наследием, которое, в свою очередь, в силу определенного рода *Aufliebung* (снятия) было секуляризированной версией христианской эсхатологии.

Теория этапов, основанная на непоколебимой вере в прогресс, оправдывала все. Утверждая, что все, что бы партия — непогрешимый гарант прогресса — ни делала, — все правильно, эта теория обеспечивала моральные и рациональные устои не только для первых трех тезисов, но и для всяких отклонений от путей, очерченных марксистской традицией.

Поскольку каждый этап следовал правилам социальной эволюции, теоретически, регресса быть не могло. Более того, поскольку эти исторические этапы предопределялись партией, каждый член партии по определению становился апостолом прогресса. Наконец, ввиду того, что у власти теперь стояли рабочие, государство не могло не продвигаться вперед безошибочно. Теория прогресса допускала, пожалуй, даже требовала, чтобы более молодые революционные государства находились под защитой более передовых революционных государств — система иерархии старшинства, которая, как предполагалось, господствовала в семье марксистско-ленинских государств (и даже вообще всех прогрессивных государств). То, что одни описывали как империализм, другие называли естественным долгом. До тех пор, пока общественное мнение имело основания верить в реальность прогресса, это право сильнейшего не

казалось слишком уж шокирующим. Но стагнация, усугублявшая латентные конфликты, возбуждала антиимпериалистические настроения, направленные против Советского Союза, и тем самым вела не только к расшатыванию марксистско-ленинских государств, но и к слову «мира» социалистических государств как такового — геополитического концепта, от которого теперь ничего не осталось.

Для того чтобы совершить переход от этапа социализма (партии у власти) к этапу коммунизма, необходимо было «строить социализм», то есть осуществлять национальное развитие.

Коммунистические партии приходили к власти в суверенных, независимых (но осажденных) государствах. В то время как Маркс предсказывал, что первые революции произойдут в наиболее технологически передовых странах, на самом деле последующие захваты власти произошли в периферийных и полупериферийных зонах мироэкономики.

Таким образом «строительство социализма» претерпело немалую метаморфозу. Оно приняло характер процесса, благодаря которому полупериферийные (и даже периферийные) государства намеревались догнать центральные зоны капиталистической мироэкономики. В этой программе было три основных элемента.

Первым из них было планирование, повлекшее за собой создание крайне тяжеловесных бюрократических структур. Эти структуры довольно неплохо справлялись со своим делом в период «первоначального накопления». Но по мере того как инфраструктура модернизировалась, аппарат планирования вынужден был брать на себя гораздо более сложные задачи, а этому препятствовала роль партии. В конечном итоге планирование превратилось в своеобразный переговорный процесс между хозяйственниками, которые постоянно задним числом пересматривали планы, с тем чтобы подогнать их под реальные результаты. Это явно было формулой неудачи.

Вторым элементом в «строительстве социализма» была тотальная индустриализация, как можно более автаркического свойства. При постановке этой цели упустили из виду тот факт, что индустриализация — это нечто большее, нежели сооружение тяжелых промышленных агрегатов, — что она включает в себе соображения рентабельности, которые, в свою очередь, находятся в зависимости от постоянно развивающегося распространения технологий по всему миру. На деле, по мере распространения по всему миру технологического прогресса

(стимулом к которому в немалой степени было «строительство социализма») промышленность социалистических государств становилась все менее и менее конкурентоспособной и оттого все менее и менее способной вносить свой вклад в догоняющее развитие.

Третьим элементом было превращение всего в товар, столь необузданное, что без иронии лицедреть его было трудно, до того являл он собой противоположность всей риторике о коммунистическом обществе.

И все же, для обеспечения планирования и индустриализации, было необходимо, чтобы труд и все прочее подчинялось рыночным транзакциям, пусть бы даже транзакции эти строго централизованно контролировались.

Вначале национальное развитие представлялось немалым достижением социалистических стран. Темпы роста были высокими, оптимизм — оправданным. Но экономическая стагнация 1970-х и 1980-х гг. показала, что эти государства являлись такими же периферийными или полупериферийными, как и все прочие государства «третьего мира». Это явилось огромным разочарованием для этих государств, прежде похвалявшихся своими быстрыми темпами национального развития.

В общем, случилось так, что один за другим, каждый из пяти тезисов партийного марксизма (реального марксизма) стал рассматриваться с известным скепсисом теми самыми лицами, благодаря которым эти режимы существовали. Избавляясь от марксизма-ленинизма, они думали, что избавляются от самого Маркса. Но это не так-то просто. Выводишь Маркса в дверь, а он грозитя пролезть в окно. Ибо Маркс не исчерпал своего политического значения и своего интеллектуального потенциала (как раз наоборот). К этому как раз сейчас и обратимся.

Мысль Маркса содержит четыре ключевых идеи (идеи в основном, но не исключительно марксовские), которые мне кажутся по-прежнему полезными, даже незаменимыми для анализа современной миросистемы. Несмотря на весь отрицательный опыт марксистско-ленинских движений и государств в XX в. эти идеи по-прежнему высвечивают тот политический выбор, который нам надо сделать.

Классовая борьба

«Совершенно ясно, что идентичность марксизма всецело зависит от определения, важности и правомерности его анализа класса и классовой борьбы. Без этого анализа марксизма нет...» (Balibar 1991, 156).

Для начала давайте не будем забывать, что большая часть внутренней оппозиции марксистско-ленинским партиям-государствам была выражением классового конфликта, конфликта рядовых рабочих и этой новой, несколько своеобразной, разновидности буржуазии — *номенклатуры*. (Анализируя *номенклатуру* в польской ситуации 1980–1981 гг., Маркс провел бы время столь же упоительно, как при анализе классовой борьбы во Франции в период между 1848 и 1851 гг.)

Концепция о том, что различные классы имеют различные, в действительности антагонистические, интересы, — это идея, изобретенная не Марксом. Она витала в воздухе в Западной Европе во всех основных дискуссиях с 1750 по 1850 гг. Изначально это даже не была левая концепция. Однако Маркс и Энгельс придали ей немалую популярность в «Манифесте коммунистической партии», и с тех самых пор она является почти что определяющей концепцией рабочих движений.

Основных возражений этой концепции было два. Первое — возражение моральное, и стало быть, политическое. Оно строилось так: допустим, кое-где есть классовые конфликты, но они не являются чем-то неизбежным или желательным. Это равнозначно тому, что классовая борьба есть лишь один из возможных политических вариантов (а стало быть, добровольный выбор) и потому ее моральный и рациональный характер — дело отнюдь не бесспорное. Лица (обычно в правой части политического спектра), развертывающие подобную аргументацию, на деле проповедуют перед рабочим классом политику переговоров, примиренчества и соглашательства.

Какой бы действенной ни была такая политика, подобные рекомендации чужды марксистскому анализу. Хотя в письме Маркса неоспоримо присутствует определенный характерный тон морализирования, сам Маркс никогда не претендовал на то, чтобы быть проповедником или пророком. Скорее он притязал на то, чтобы быть аналитиком, научным аналитиком. Стало быть, всякий, кто желает опровергнуть Маркса, обязан поставить себя на тот же уровень анализа. Маркс не призывал рабочих (или кого-либо еще) начать классовую борьбу, он заметил, что они уже ведут такую борьбу, часто даже сами того в полной мере не осознавая.

В основе аргументации Маркса лежали две широко (если не повсеместно) принимавшиеся посылки. Первая состояла в том, что все люди стремятся улучшить материальные условия своей жизни и потому борются против тех, кто их эксплуатирует или пользуется их трудностями. Это сильное утверждение, отрицать его трудно. Тот факт, что

эксплуатируемые часто слабы, смирились и боятся, и редко когда сильны, полны решимости и дерзки, быть может, верен. Но это лишь комментарий о тактических вероятностях классовой борьбы, а вовсе не опровержение ее существования.

Вторая посылка, лежащая в основе аргументации Маркса, состояла в том, что в объективно параллельных или сходных ситуациях люди имеют тенденцию действовать сходным образом, это позволяет говорить о групповых реакциях (в данном случае, о классовых реакциях), хотя, конечно же, никакая группа никогда не бывает полностью однородной или монолитной. Далее, если отказаться анализировать действия социальных групп, оказывается невозможно объяснить социальную реальность. Опять-таки, Маркс всего лишь подчеркивал историческую реальность классовой борьбы. Для того чтобы выдвинуть аргументы против этой посылки, мы должны эмпирически показать, что такого рода борьбы не происходит, что, разумеется, очень непросто. Или же надо выдвинуть аргумент, несколько более правдоподобный, о том, что замечание в отношении классовой борьбы верно, но утрировано. При таком взгляде важность классовой борьбы оказывается меньше, чем указывают марксисты, потому что другие формы борьбы выступают более рельефно. Это частое возражение, и не только справа. По всему миру аналитики подчеркивают значимость борьбы национально-освободительной, расовой, этнической, религиозной и гендерной. Ясно, что такого рода схватки существуют и они значимы, и надо признать, что марксисты (включая самого Маркса) долгое время имели тенденцию пренебрегать ими, чернить, игнорировать, даже осуждать их — по одной простой причине: их преследовал ужас перед разьединением рабочего класса и посему они всеми способами старались преодолеть это размежевание. Это подвигло их осознанно умалить теоретическую важность всякого раскола в обществе, кроме классового.

Недостаточность марксистского анализа националистической, расовой, этнической или гендерной борьбы широко отмечается уже, по меньшей мере, два десятилетия — то есть задолго до крушения коммунистических режимов в 1989 г. Однако сделаем ли мы из-за этого вывод, что все эти социальные схватки равнозначны? Маркс сам попытался показать в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», как выступления мелких собственников-крестьян в конечном итоге явились формой борьбы рабочего класса.

Тезис о том, что классовая борьба неизбежна и имеет фундаментальное значение, никоим образом не опровергается всплеском других форм борьбы, ибо всегда возможно аргументированно заявлять, что

последние являлись замаскированными формами первой (см. *Wallerstein* 1991a, 1991b). В самом деле, тезис Маркса во многом усиливается, до такой степени, что можно привести убедительные доказательства того, что многие классовые схватки ведутся под ярлыком борьбы между «народами». Конечно же, нам следует пояснить, как и почему так происходит. Но сделав это, мы будем иметь более твердое понимание взлетов и падений истории нового времени. Нечего и говорить, однако, что тогда уже невозможно будет превозносить заслуги единой, всеобъемлющей организованной партии.

Поляризация

Маркс придает немалое значение феномену поляризации, понимаемому в двояком смысле. С одной стороны, Маркс настаивает на тенденции к экономической поляризации, обнищанию, под которым он имеет в виду, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. С другой стороны, он также стремится анализировать социальную поляризацию, под которой он имеет в виду, что каждый становится или буржуа, или пролетарием, а все промежуточные и труднокатегоризируемые группы исчезают.

Тезис об обнищании давно встречает сильное сопротивление на том основании, что в течение, по крайней мере, столетия реальный доход рабочего класса в индустриальных странах повышается. Из этого делался вывод: никакой абсолютной поляризации нет и даже относительная поляризация снизилась благодаря перераспределению государства благосостояния. Таким образом, утверждали — Маркс явно ошибался.

Безусловно верно то, что реальный доход рабочего класса (или, точнее, квалифицированных рабочих) повышался, так, что абсолютной поляризации между буржуазией и пролетариатом не произошло (хотя не столь ясно — что мы можем сказать об относительной поляризации). Но беря каждое индустриальное государство изолированно, мы совершаем ту же теоретическую ошибку, которую делали и марксисты, объединенные в партии, и классические либералы. В действительности, страны, о которых идет речь, являются лишь частью целого капиталистической мирозаконономики и именно в рамках последней происходят процессы, описанные Марксом. Стоит взять за единицу анализа капиталистическую мирозаконономику, как сразу же видишь две вещи.

Во-первых, на уровне мирозаконономики обнищание постоянно. Оно не

только относительное (это принимает даже Мировой банк), но носит и абсолютный характер (о чем свидетельствует, к примеру, растущая неспособность периферийных зон обеспечить достаточное количество основных продуктов питания для своего населения).

Во-вторых, наблюдение, касающееся повышающихся реальных доходов рабочего класса в индустриальных странах, искажается чрезмерно узкой перспективой. Мы часто склонны забывать, что все эти страны (изначально в основном Соединенные Штаты, но на сегодняшний день все) — это страны иммиграции, принимающие постоянный поток иммигрантов из периферийных зон, и эти иммигранты не извлекают выгод из этих повышающихся реальных доходов. А это — еще один способ напомнить об отношении классовой борьбы и борьбы «народов», на что указывалось ранее.

«Рабочий класс», реальные доходы которого действительно повышаются, состоит по большей части из местных «туземных», или этнически доминирующих, групп. Нижний слой, однако, — это слой преимущественно иммигрантов первого или второго поколения, для которых экономическая поляризация остается реальностью. Не будучи «местного» происхождения, они имеют тенденцию вести свою классовую борьбу под знаменем борьбы за права угнетенных рас и этнических групп. Социальную поляризацию можно отрицать, лишь давая истинной буржуазии и пролетариату чересчур узкие определения (по преимуществу отражающие социальную ситуацию XIX в.). Если же мы применим более полезное определение — лица, живущие по существу на текущие доходы, которые, однако же, поляризуются — то тогда увидим, что Маркс был совершенно прав. Даже большая доля населения мира попадает в ту или другую категорию. Они живут не со своей собственности и не на ренту, но на доход, который извлекают из своего включения в настоящее время в реальные экономические процессы мира.

Идеология

Маркс был материалистом. Он полагал, что идеи не приходят из ниоткуда и не являются просто продуктом раздумий интеллектуалов. Наши идеи, наши науки отражают социальную реальность нашей жизни, говорил он, и в этом смысле все наши идеи производны от конкретного идеологического климата. Многие с удовольствием указали, что эта логика должна быть приложима и к самому Марксу, и к рабочему классу, который

Маркс поместил в специальную категорию, так как считал его универсальным классом. Разумеется, эта критика правомерна, но она лишь расширяет ту область, к которой применимы аргументы Маркса.

Сегодня, когда вновь открылось для обсуждения все историческое и обществоведческое интеллектуальное наследие XIX в., размышлять о социальных базисах наших идей и наших мыслителей представляется необходимым как никогда. Очевидно, что не Марксом выдуман тезис о социальной детерминации идей, даже несмотря на то, что этот тезис оказался связан с его мировоззрением. Общепринято считать этот тезис марксовским. Поэтому нет оснований недооценивать как важность анализа идеологий (включая марксизм), так и важность вклада Маркса в этот анализ.

Отчуждение

Концепт отчуждения известен менее других, поскольку сам Маркс использовал его не столь часто. Тем более, что некоторые аналитики даже приписывают этот концепт только «молодому Марксу» и потому отметаю его. В этом они явно не правы, поскольку, как мне кажется, концепт отчуждения имеет фундаментальное значение для мысли Маркса.

Рассматривая отчуждение как воплощение зла капиталистической цивилизации, Маркс в его ликвидации видел величайшее достижение будущего коммунистического общества. Ибо, по Марксу, отчуждение есть тот недуг, который, в своем главном воплощении — собственности — разрушает цельность человеческой личности. Бороться против отчуждения — значит, бороться за то, чтобы восстановить людям их достоинство.

Оспаривать этот тезис можно единственным образом: выдвигать доказательства того, что отчуждение есть неизбежное зло (своего рода первородный грех), что с ним невозможно что-либо сделать, разве что со временем можно ослабить его наиболее губительные выражения. Тем не менее, трудно было бы отрицать, что глубинной причиной всех значительных социальных возмущений нашего времени является не что иное, как отчуждение.

Маркс предлагает нам возможность представить социальный порядок иного типа. Несомненно, его часто упрекали в том, что он недостаточно ясно проговаривал свои утопии, но тогда это предстоит сделать нам. Его мысль никуда не делась. Если ее полностью игнорировать, кому, или чему, это пойдет на пользу?

Литература

Balibar Etienne. From class struggle to classless struggle? // Race, nation, class, ed. E. Balibar and I. Wallerstein. London: Verso. L: Verso, 1991. P. 153–184.

Lefebvre Henri. Marxism exploded // Review, 4, 1985. P. 19–32.

Wallerstein Immanuel. Class conflict in the capitalist world-economy // Race, nation, class, ed. E. Balibar and I. Wallerstein. London: Verso. L: Verso, 1991. P. 115–124.

Wallerstein Immanuel. Social conflict in post-independence Black Africa: the concepts of race and status-group reconsidered // Race, nation, class, ed. E. Balibar and I. Wallerstein. London: Verso. L: Verso, 1991. P. 187–203.

Глава 13. Крах либерализма

1989–1991 гг. обозначили решающий поворотный пункт современной истории. С этим, кажется, согласны все. Но от чего к чему произошел поворот? 1989 — это год так называемого конца так называемых коммунистических режимов. 1990–1991 гг. — непосредственные временные границы так называемой войны в Персидском заливе.

Эти два события, теснейшим образом связанные, вместе с тем совершенно различны по характеру. Конец коммунистических режимов обозначил окончание эпохи. Война в заливе — начало эпохи. Одно событие закрывает, другое открывает. Одно взывает к переоценке, другое к оценке. Одно — история обманутых надежд; другое — история еще не реализованных страхов.

И все же, напоминает нам Бродель, «события — это пыль», даже великие события. События не обретают смысла, пока мы не можем включить их в ритмы *conjunctures*^[131] и в тенденции *longue duree*^[132]. Но это легче сказать, чем осуществить, поскольку мы должны еще решить, какие *conjunctures* и какие структуры имеют отношение к проблеме, наиболее релевантны ей.

Давайте начнем с конца коммунистических режимов. Я определил его как конец эпохи, но какой эпохи? Будем ли мы анализировать его как конец послевоенной эпохи (1945–1989 гг.) или как конец коммунистической эпохи (1917–1989 гг.), или как конец эпохи Французской революции (1789–1989 гг.), или же как конец восхождения современной миросистемы (1450–1989 гг.)? Его можно интерпретировать во всех этих смыслах.

Позвольте мне, однако, отвлечься на время от последней из интерпретаций и начать с анализа этого периода как окончания эпохи 1789–1989 гг., с ее двумя ключевыми революционными движениями — 1548 и 1968 гг. Заметьте, пока что мы не упоминаем о 1917-м. Как можно охарактеризовать этот период? Как период промышленной революции? Буржуазной(ых) революции(ий)? Демократизации политической жизни? Современности? Каждая из этих интерпретаций является общим местом и обладает некоторой (и даже немалой) убедительностью.

Вариацией на эти темы, причем наиболее точной, пожалуй, могло бы стать определение эпохи 1789–1989 гг. как эпохи триумфа и господства либеральной идеологии; в этом случае 1989 г., год так называемого конца коммунистических режимов, на самом деле обозначил бы падение либерализма как идеологии. «Возмутительно и неправдоподобно! Это при возрождении-то веры в свободный рынок и права человека!» — скажете вы? Тем не менее этот так. Но, чтобы оценить доказательства, давайте начнем с самого начала.

В 1789 г. во Франции произошли политические потрясения, которые назвали Французской революцией. Как политическое событие, она прошла через много фаз, от начальной фазы неопределенности и замешательства к якобинской фазе, а затем, через междуцарствие Директории, — к наполеоновской фазе. Мы можем доказать, что в определенном смысле революция нашла свое продолжение в последующих революциях 1830, 1848, 1870 гг., и даже в Сопротивлении во время Второй мировой войны. Через все эти события был пронесен лозунг «свобода, равенство, братство» — звонкий клич современного мира, который оказался исключительно двусмысленным.

Итоги Французской революции, если говорить собственно о Франции, весьма неоднозначны. Произошли необратимые перемены, которые действительно многое изменили, и было много кажущихся перемен, которые не изменили ничего. Была преемственность между «старым порядком» и революционным процессом, как давно показал Токвиль^[133], и были решительные разрывы. Однако не эти итоги для Франции являются предметом нашего внимания. Двухсотлетний юбилей с его банальностями уже прошел.

Влияние Французской революции (взятой в широком смысле) на миросистему как целостность — вот та тема, которой я хотел бы заняться. Французская революция преобразовала умонастроения и положила начало «современности» как мировоззрению современного мира. Под современностью мы понимаем восприятие нового как чего-то хорошего и

желаемого, потому что мы живем в мире, на каждом уровне нашего существования пронизанном прогрессом. Если говорить конкретно о политической арене, современность означает признание перемен «нормой» в противовес восприятию их чем-то «ненормальным» и преходящим, случайным. Наконец, этос, созвучный структурам капиталистической мирозкономики, стал так широко распространен, что даже те, кто чувствуют себя при нем неуютно, вынуждены считаться с ним в своем публичном дискурсе.

Проблема стала состоять в том, как обходиться с «нормальностью» изменений на политической арене, ведь те, кто потерял власть, всегда стремятся вернуться к ней. Различные подходы к тому, как обходиться с «нормальностью» перемен, составляют суть того, что мы стали называть «идеологиями» современного мира. Первой идеологией, вышедшей на сцену, был «консерватизм», тот взгляд, что от изменений следует воздерживаться как можно дольше, а их размах необходимо сдерживать как можно энергичнее. Заметим, однако, что ни один серьезный консервативный идеолог никогда не предлагал полной неподвижности, то есть не занимал позицию, которой можно было придерживаться в предшествующую эпоху.

Ответом «консерватизму» стал «либерализм», который рассматривал разрыв со «старым порядком» как решающий политический разрыв и конец эпохи «незаконных» привилегий. Политическая программа, воплощенная в идеологии либерализма, состоит в совершенствовании современного мира средствами продолжающейся «реформы» его институтов.

Последней появилась идеология «социализма», которая отвергала индивидуалистические презумпции либеральной идеологии и настаивала на том, что общественная гармония не придет просто в результате освобождения индивидов от всех ограничений, навязываемых традицией. Скорее общественная гармония должна быть социально сконструирована, и для некоторых социалистов она могла быть сконструирована лишь; в результате длительного исторического развития и великой социальной битвы, «революции».

Все три идеологии уже присутствовали к 1848 г. и с тех пор в течение XIX и XX вв. вели между собой шумные битвы. Повсюду создавались политические партии, явно отражающие эти идеологические позиции. Строго говоря, никогда не существовало бесспорной и окончательной версии ни одной из этих идеологий, всегда существовало немало путаницы с разграничительными линиями между ними. Однако как в профессиональном, так и в народном политическом дискурсе всегда было

общепризнанным существование этих идеологий и то, что они представляли три разных «настроения», три различных стиля политики при признании перемен нормой: политика осторожности и осмотрительности; политика постоянной рациональной реформы; политика ускоренного преобразования. Иногда мы называем это политикой правых, центра и левых.

Необходимо отметить три момента, касающиеся идеологий в период, последовавший за 1848 г., потому что всемирная революция 1848 г. — она совмещала первое появление сознательного рабочего движения как политического действующего лица с «весной народов» — определила политическую повестку дня на следующие полтора века. С одной стороны, «потерпевшая поражение» революция (революции) 1848 г. показала (показали), что политические изменения не будут ни такими быстрыми, как хотелось бы ускорителям, ни такими медленными, как хотелось бы осторожным. Наиболее убедительным предсказанием (именно предсказанием, а не пожеланием) была постоянная рациональная реформа. Таким образом, либеральный центр добился триумфа в центральных зонах мирозкономики.

Но кто должен был осуществлять эти реформы? Здесь обнаруживается первая аномалия, которую следует рассмотреть. При начальном расцвете идеологий, между 1789 и 1848 гг., все три идеологии занимали в антиномии государство — общество явно антигосударственные позиции. Центральный пункт этой антиномии также был последствием Французской революции. Консерваторы разоблачали ее как попытку использовать государство для подрыва и отрицания институтов, понимавшихся как основополагающие для общества, — семьи, общины, церкви, монархии, феодальной иерархии. Либералы, однако, также разоблачали государство как структуру, которая мешала каждому индивидууму — который считался ими главным действующим лицом в конституировании общества — преследовать свои собственные цели, как он/она определил(а) их для себя, основываясь на том, что Бентам называл «калькуляцией удовольствия и боли»^[134] И социалисты тоже отвергали государство на том основании, что оно отражает волю привилегированных вместо воли всего общества. Потому для всех трех идеологий «отмирание государства» казалось искренне желаемым идеалом.

И тем не менее — в этом и состоит аномалия, о которой мы упомянули — несмотря на этот единодушно отрицательный взгляд на государство в теории, на практике (особенно после 1848 г.) выразители всех трех идеологий многими путями двигались к усилению государственных

структур. Консерваторы пришли к взгляду на государство как на замещающий механизм, ограничивающий то, что они считали распадом морали, в связи с тем, что традиционные институты более не были в состоянии выполнять эту функцию либо не могли ее выполнять без поддержки государственных полицейских учреждений. Либералы пришли к взгляду на государство как на единственный рациональный механизм, способный поддерживать устойчивую скорость и правильное направление реформ. Социалисты после 1848 г. почувствовали, что никогда не смогут преодолеть препятствия на пути глубокого преобразования общества, не овладев государственной властью.

Вторая большая аномалия состояла в том, что, хотя все говорили о трех различных идеологиях, в политической практике каждая идеологическая партия пыталась свести политическую сцену к дуальности, провозглашая, что две другие идеологии в основе своей схожи. Для консерваторов и либералы, и социалисты были людьми, верующими в прогресс, желающими использовать государство для манипулирования органическими структурами общества. Для социалистов консерваторы и либералы представляли лишь варианты защиты статус-кво и привилегий высших слоев (комбинации старой аристократии и новой буржуазии). Для либералов и консерваторы, и социалисты были авторитарными оппонентами либерального идеала, расцвета индивидуальности во всех ее потенциях. Это сведение трех идеологий к дуальной схеме (в трех различных версиях), несомненно, отчасти было лишь преходящей политической риторикой. Однако на более фундаментальном уровне оно отражало постоянное переструктурирование политических союзов. В любом случае в течение 150 лет это сведение троичности к дуальности создавало немало политической путаницы, не в последнюю очередь в понимании идеологических этикеток.

Но самой большой аномалией было то, что 120 лет после 1848 г. — то есть по крайней мере до 1968 г. — под видом трех конфликтующих идеологий мы на самом деле имели лишь одну, безоговорочно господствующую, идеологию либерализма. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть, какая конкретная проблема была неизменным предметом дебатов в течение всего периода, причем фундаментальная общественная проблема, требующая решения.

Великой «реформой», к которой призывали, чтобы капиталистическая миросистема оставалась политически стабильной, была интеграция рабочего класса в политическую систему, чтобы преобразовать таким образом господство, основанное только на силе и богатстве, в господство,

основанное на согласии. У этого процесса реформ были две главные опоры. Первой было согласие на введение всеобщего избирательного права, притом таким образом, что, хотя каждый мог голосовать, результатом могли быть лишь незначительные институциональные изменения. Вторая состояла в передаче части всемирного прибавочного продукта трудящимся классам, но так, что большая часть оставалась в руках господствующих слоев и сохранялась система накопления капитала.

Географической зоной, где наиболее настоятельно требовалась такая социальная «интеграция», были государства центральной зоны капиталистической мировой экономики — прежде всего Великобритания и Франция, а также другие государства Западной Европы, США, колонии белых поселенцев. Мы знаем, что эти преобразования были постепенно осуществлены в период 1848–1914 гг., и к началу Первой мировой войны уже существовали модели всеобщего избирательного права (хотя в большинстве случаев лишь для мужчин) и государства благосостояния, уже реализовавшиеся, пусть и не полностью, во всех этих государствах.

Мы можем просто сказать, что либеральная идеология достигла своих целей, и остановиться на этом, но этого будет недостаточно. Мы должны отметить также, что произошло в ходе этого процесса и с консерваторами, и с социалистами. Ведущие консервативные политики превратились в «просвещенных консерваторов», то есть в реальных соперников официальных либералов в процессе интеграции трудящихся классов. Дизраэли, Бисмарк и даже Наполеон III являются хорошими примерами этой новой версии консерватизма, который можно определить как «либеральный консерватизм».

В то же время социалистическое движение промышленно развитых стран, включая его наиболее воинствующие образцы типа германской социал-демократической партии, стало ведущей парламентской силой в борьбе за либеральные реформы. Через свои партии и профсоюзы социалисты осуществляли «народное» давление, чтобы добиться того, чего хотели либералы, приручая трудящиеся классы. Не только Бернштейн, но также и Каутский, Жорес и Гед, не говоря уж о фабианцах, стали теми, кого можно назвать «либеральными социалистами».

К 1914 г. политическая работа в промышленно развитых странах была большей частью разделена между «либеральными консерваторами» и «либеральными социалистами». В ходе этого процесса чисто либеральные партии начали исчезать, но произошло это только потому, что все значительные партии фактически стали либеральными. Под маской идеологического конфликта скрывалась реальность идеологического

консенсуса.

Первая мировая война не разрушила этот консенсус. Она скорее укрепила и расширила его. 1917 г. был символом этого расширения либерального консенсуса. Война началась политическим убийством в периферийной зоне мироэкономики, в Боснии-Герцеговине. Для государств центра настал момент выйти за пределы узкой цели интегрировать собственные трудящиеся классы и задуматься об интеграции более широких сегментов всемирных трудящихся классов, тех, что жили в периферийных и полупериферийных зонах миросистемы. Говоря сегодняшним языком, проблемой стало приручение Юга способами, аналогичными способам приручения трудящихся классов центральной зоны.

Было предложено два способа разрешить проблемы Север-Юг. Один был выдвинут глашатаем обновления либерализма на общемировом уровне, Вудро Вильсоном. Вильсон просил США вступить в Первую мировую войну, «чтобы сделать мир безопасным для демократии». После войны он призвал к «самоопределению наций». Какие нации имел в виду Вильсон? Очевидно не нации в государствах центральной зоны. Процесс создания эффективного и легитимного государственного механизма давно уже был завершен во Франции и Великобритании, и даже в Италии и Бельгии. Вильсон говорил, разумеется, о нациях или «народах» трех великих империй, находившихся в процессе распада: Российской, Австро-Венгерской и Османской — все три включали в себя периферийные и полупериферийные зоны мироэкономики. Короче, он говорил о том, что сегодня мы называем Югом. После Второй мировой войны принцип самоопределения наций был распространен на все остальные колониальные зоны — в Африке, Азии, Океании и Карибском бассейне.

Принцип самоопределения наций был на всемирном уровне структурной аналогией принципа всеобщего избирательного права на национальном уровне. Так же, как каждый индивидуум должен был считаться политически равным и имеющим один голос, так и каждая нация должна быть суверенной и потому политически равной и, следовательно, имеющей один голос (принцип, воплощенный сегодня в Генеральной Ассамблее ООН).

Но на этом вильсонизм либерализм не остановился. На национальном уровне следующим шагом после введения всеобщего избирательного права было учреждение государства всеобщего благосостояния, то есть перераспределение части прибавочного продукта посредством государственного трансферта доходов. На всемирном уровне

следующим шагом после самоопределения должно было стать «национальное (экономическое) развитие», программа которого была выдвинута Рузвельтом, Трумэном и их наследниками после Второй мировой войны.

Нет необходимости говорить, что консервативные силы реагировали со своими обычными осторожностью и неприязнью к явственному призыву вильсонианцев к глобальной реформе. Также нет необходимости говорить, что после разрушений, причиненных Второй мировой войной, консерваторы начали видеть в либеральной программе достоинства, и вильсонианский либерализм после 1945 г. фактически стал либерально-консервативным тезисом.

Но 1917 г. бесспорно имел и другое значение. Это был год Русской революции. Только что родившееся вильсонианство столкнулось с великим идеологическим оппонентом, ленинизмом. Идеи Ленина и большевиков возникли на политической арене как протест в первую очередь против преобразования социалистической идеологии в то, что я назвал либеральным социализмом (то же, что бернштейновский ревизионизм, к которому Ленин относил и позицию Каутского). Ленинизм, таким образом, предлагал воинствующую альтернативу, сначала своей оппозицией участию рабочих в Первой мировой войне, а затем захватом государственной власти в России большевистской партией.

Мы знаем, что в 1917 г. социалисты повсеместно, в том числе и в России, рассчитывали на то, что первая социалистическая революция произойдет в Германии; в течение нескольких лет большевики ожидали, что их революцию продолжит революция в Германии. Мы знаем, что революция в Германии так и не произошла, и большевикам пришлось думать, что же делать дальше.

Принятое ими решение имело две стороны. С одной стороны, они решили строить «социализм в одной стране». Тем самым они вступили на путь, где основным требованием советского государства по отношению к миросистеме стала политическая интеграция советского государства в миросистему в качестве великой державы и экономическое развитие посредством быстрой индустриализации. Это была программа Сталина, но так же и Хрущева, и Брежнева, и Горбачева. Таким образом, на практике эта программа требовала «равных прав» для советского государства на мировой арене.

А что же тогда с мировой революцией? Ленин изначально основал Третий Интернационал с явственной целью решить воинственными методами те задачи, от которых фактически отрекся Второй

Интернационал. Однако вскоре Третий Интернационал превратился просто во внешнеполитический придаток СССР. Чего он никогда не делал, так это не подталкивал реальных восстаний трудящихся классов. Вместо этого центр его деятельности переместился, начиная с бакинского Съезда народов Востока в 1921 г., куда Ленин пригласил не только коммунистические партии, но и разного рода националистические и национально-освободительные движения.

Программа, появившаяся в Баку и затем ставшая реальной программой мирового коммунистического движения, была программой антиимпериализма. Но что такое антиимпериализм? Это был перевод вильсонианской программы самоопределения наций на язык большей агрессии и нетерпения. В период после Второй мировой войны, когда одно за другим национально-освободительные движения приходили к власти, какую программу они выдвигали? Это была программа национального (экономического) развития, обычно переименованного в социалистическое развитие. Ленинизм, великий оппонент либерал-социализма на национальном уровне, стал подозрительно напоминать либерал-социализм на уровне всемирном.

В период 1848–1914 гг. либеральная программа состояла в приручении трудящихся классов центральных зон посредством всеобщего избирательного права и государства благосостояния. Она была осуществлена путем комбинации социалистической воинственности и изощренной консервативной хитрости. В период 1917–1989 гг. либеральная программа на всемирном уровне состояла в приручении Юга. Она была осуществлена путем комбинации социалистической воинственности и изощренной консервативной хитрости.

Вторая всемирная революция 1968 г., как и первая всемирная революция 1848 г., преобразовала идеологические стратегии капиталистической мирозкономики. В то время как революция 1848 г. своими успехами и поражениями обеспечила триумф либерализма как идеологии и постепенное преобразование двух ее соперников — консерватизма и социализма — в простые придатки, революция 1968 г. своими успехами и поражениями разрушила либеральный консенсус. Революционеры 1968 г. выдвинули протест слева против этого консенсуса, и прежде всего против исторической трансформации социализма, даже ленинистского социализма, в либерал-социализм. Это приняло форму возрождения различных анархистских мотивов, но также, и, пожалуй, в первую очередь, маоизма.

Перед тем, как во всемирном либеральном консенсусе пробили брешь

так называемые «новые левые», впервые после 1848 г. обновилась и консервативная идеология, которая вновь стала скорее агрессивной, чем оборонительной. Иногда это явление называли неоконсерватизмом, но иногда и неолиберализмом, что отражало тот факт, что его программа была направлена прежде всего на снятие ограничений с рынка, и тем самым на уход от перераспределенческих механизмов государства всеобщего благосостояния; это был первый регресс социальной политики такого масштаба в течение века.

Как мы можем оценить итоги всемирной революции 1968 г. и ее последствия для идеологических стратегий? В терминах структуры миросистемы как целостности мы можем сказать, что политика либерализма — приручение всемирных трудящихся классов посредством всеобщего избирательного права/суверенитета и государства благосостояния/национального развития — достигла своих пределов. Дальнейшее расширение политических прав и экономического перераспределения угрожало бы самой системе накопления капитала. Но она достигла своих пределов раньше, чем все секторы всемирных трудящихся классов оказались на самом деле приручены подачками небольшой, но существенной части благ.

Большинство населения периферийных и полупериферийных зон все еще оставалось исключенным из функционирования системы. Но это же относится и к весьма значительному меньшинству населения центральных зон, к так называемому внутреннему третьему миру. Добавим, что женщины мира стали осознавать свое постоянное глубоко укоренившееся исключение из общественной жизни на всех классовых уровнях, начиная от отсутствия подлинных политических прав и кончая неравным в большинстве случаев экономическим вознаграждением.

Таким образом, 1968 г. представлял собой начало свертывания той культурной гегемонии, которую господствующие слон мира создавали и укрепляли с большим усердием после 1848 г. Период с 1968 по 1989 гг. ознаменовался непрерывным распадом того, что еще оставалось от либерального консенсуса. Справа консерваторы все сильнее стремились разрушить либеральный центр. Сравните заявление Ричарда Никсона — «все мы теперь кейнсанцы» — с кампанией Джорджа Буша в 1988 г. против «Л-мира» («Л» означало либералов). Мы были свидетелями подлинного переворота в британской Консервативной партии, где Маргарет Тэтчер покончила с традицией просвещенного консерватизма, уйдя назад от Дизраэли к сэру Роберту Пилу 1840-х гг.

Еще сильнее была эрозия слева. Она приняла наиболее выразительную

форму в распаде либерально-социалистических режимов.

Как в периферийных, так и в полупериферийных зонах даже самые «прогрессивные» и воинственные в своей риторике из этих режимов были явно неспособны добиться национального развития в сколько-нибудь значимых масштабах. Как реакция на это либерально-социалистические режимы, при всем своем славном прошлом национально-освободительной борьбы, один за другим теряли народную поддержку. Кульминацией этого процесса был так называемый крах коммунистических режимов — горбачевизм в СССР, «особые экономические зоны» в Китайской Народной Республике, падение однопартийных коммунистических систем во всех странах Восточной Европы.

В 1968 г. те, кто был разочарован либеральным консенсусом, выступил против либерально-социалистической идеологии во имя анархизма и/или маоизма. В 1989 г. те, кто был разочарован либеральным консенсусом, повернулся против наиболее ярких выразителей либерал-социалистической идеологии, режимов советского типа, во имя свободного рынка. Альтернатива 1968 г. очень быстро продемонстрировала свою бессмысленность, и альтернатива 1989 г. движется к тому же. Но между 1968 и 1989 гг. либеральный консенсус и надежда на постепенное улучшение положения большинства мировых трудящихся классов, которую он предлагал, были фатально подорваны. Но если они были подорваны, то тогда не получается и приручения этих трудящихся классов.

Подлинный смысл краха коммунистических режимов — в окончательном крахе либерализма как идеологии-гегемона. Без некоторой веры в ее обещания у капиталистической миросистемы не может быть устойчивой легитимности. Последними, кто серьезно верил в обещания либерализма, были коммунистические партии старого образца в бывшем коммунистическом блоке. Без продолжения их участия в обсуждении этих обещаний господствующие слои во всем мире потеряли любые возможности контроля над мировыми трудящимися классами иначе, чем силовыми методами. Согласие ушло, и ушло оно потому, что перестал осуществляться подкуп. Но одна только сила, как мы знаем со времен по крайней мере Макиавелли, не может обеспечить политическим структурам очень длительного выживания.

И вот мы подходим к смыслу кризиса Персидского залива, началу новой эпохи. В эту эпоху единственным эффективным оружием господствующих сил становится насилие. Война в Персидском заливе, в отличие от других случаев конфронтации Север — Юг в XX в., была в чистом виде осуществлением «Realpolitik»^[135]. Саддам Хуссейн начал ее в

своем стиле, а США и созданная ими коалиция отвечали ему тем же.

В предшествовавших конфликтах «Realpolitik», разумеется, тоже присутствовала. Она воодушевляла Съезд 1921 г. в Баку, так же как и вступление войск Коммунистической партии Китая в Шанхай в 1949 г. Она была частью Бандунгской декларации 1955 г., вьетнамской войны и конфронтации вокруг Кубы в 1962 г. Она всегда была составной частью стратегии антисистемных движений — вспомним хотя бы максиму Мао «политическая власть исходит из дула винтовки», — но сила всегда была лишь придатком к центральным организующим мотивам антисистемной идеологии. Юг, периферийные зоны, трудящиеся классы мира вели свои битвы под знаменем идеологии преобразований и надежды, идеологии, содержавшей ясный призыв к власти народа.

Мы доказывали, что формы, которые принимала эта идеологическая борьба мировых антисистемных движений, были менее воинствующими, чем они казались или провозглашались. Мы сказали, что антисистемные силы мира на самом деле стремились, большей частью невольно, к либеральным идеологическим целям гомогенизирующей интеграции в систему. Но, делая так, они по крайней мере предлагали надежду, даже преувеличенную надежду, и основывали приверженность своему делу на этих надеждах и обещаниях. Когда в конце концов было понято, что обещания не выполняются, последовали сначала весьма значимое восстание (1968 г.), а затем гнев разочарования (1989 г.). Восстание и разочарование были направлены в большей мере против предполагавшихся антисистемными либерал-социалистов, чем против классических либералов. Но это не имеет значения, поскольку либерализм добился своих целей через либерал-социалистов (и, несомненно, через либерал-консерваторов тоже) и никогда не мог быть эффективным в одиночку.

Саддам Хуссейн извлек уроки из этого краха либеральной идеологической оболочки. Он пришел к выводу, что «национальное развитие» — было всего лишь приманкой и оно невозможно даже для таких богатых нефтью стран, как Ирак. Он решил, что единственный способ изменить мировую иерархию власти — создать великие военные державы на Юге. Он видел в себе Бисмарка вождя панарабского государства. Вторжение в Кувейт должно было быть первым шагом в этом процессе, а в качестве побочного выигрыша мгновенно разрешало проблему задолженности Ирака (устранение главного кредитора плюс удачно награбленный капитал).

Если это было упражнение в чистой «Realpolitik», мы должны рассмотреть, в чем состояли расчеты. Каким образом Саддам Хуссейн

должен был оценивать свои риски и, соответственно, шансы на успех? Я не думаю, что он просчитался. Скорее я полагаю, что он рассуждал следующим образом: Ирак имеет 50-процентные шансы на краткосрочный выигрыш (если США будут колебаться с ответными действиями), но если Ирак сделает ход, США окажутся в ситуации, где невозможно победить, где они будут иметь 100-процентную вероятность поражения в среднесрочной перспективе. Для игрока «Realpolitik» это неплохой расклад.

Саддам Хуссейн проиграл свою краткосрочную азартную, с шансами пятьдесят на пятьдесят, игру. США ответили с использованием максимальной военной силы, и победить их, разумеется, было невозможно. Ирак как страна вышел из войны очень ослабленным, хотя и в меньшей степени, чем полагали США. Но политическая ситуация на Ближнем Востоке не изменилась коренным образом по сравнению с 1989 г., за исключением того, что политическая ответственность США сильно возросла без сколько-нибудь существенного возрастания их политических возможностей смягчать существующие напряжения. Каким бы ни было развитие событий в краткосрочном плане, продолжающаяся эрозия политической роли США в миросистеме в среднесрочном плане неостановима, принимая во внимание подрыв их конкурентных позиций на мировом рынке относительно Японии и Европейского Сообщества.

Вопрос, остающийся открытым на длительную перспективу, касается не того, что произойдет на Севере — это на самом деле как раз нетрудно предсказать. Когда начнется следующий длительный подъем мироэкономики, наиболее вероятно, будут существовать два полюса силы: первый полюс — ось Япония — США, к которому можно подключить и Китай, и второй полюс — панъевропейская ось, к которому подключится Россия. В ходе нового расширения и нового соперничества между державами центра, когда каждый из полюсов сконцентрируется на развитии своей основной полупериферийной зоны (Китай в одном случае и Россия, или перестроенный СССР, в другом), Юг в целом еще сильнее маргинализируется за исключением разбросанных там и сям анклавов.

Политическим последствием этого нового периода экономической экспансии будет напряженный конфликт Север-Юг. Но если Север потерял свое оружие идеологического контроля за ситуацией, не могут ли антисистемные силы — на Юге и те повсюду, кто поддерживает Юг (то есть, говоря старым языком, трудящиеся классы мира) — изобрести новое идеологическое измерение своей борьбы?

Поскольку идеологические темы прошлых лет, воплощенные в социалистических и антиимпериалистических учениях, выработали свой

ресурс, появились три основных способа борьбы. Каждый создал гигантские непосредственные сложности для господствующих слоев миросистемы. Но ни один из них не кажется бросающим серьезный идеологический вызов. Первый — это то, что я назвал бы необисмаркианским вызовом, примером которого является напор Саддама Хуссейна. Второй — фундаментальное отрицание просвещенческого Мироззрения; мы видели его в силах, ведомых аятоллой Хомейни. Третий — путь индивидуальных попыток социально-географической мобильности, главным выражением которого является массовая нелегальная все расширяющаяся миграция с Юга на Север.

Два момента, относящиеся к этим формам борьбы, особенно важны. Во-первых, каждая из них, видимо, многократно возрастет в ближайшие 50 лет и привлечет коллективное внимание наших политиков. Во-вторых, левые интеллектуалы мира реагируют на каждую из этих форм борьбы чрезвычайно двусмысленным образом. В той мере, в какой они кажутся направленными против господствующих слоев миросистемы и причиняющими им неудобства, левые интеллектуалы хотели бы поддержать эти формы борьбы. В той мере, в какой каждая из них лишена идеологического содержания и потому является скорее потенциально реакционной, чем прогрессивной по своим среднесрочным последствиям, левые интеллектуалы дистанцируются, и даже весьма заметно дистанцируются, от этих форм борьбы.

Вопрос в том, какой выбор имеют левые силы. Если 1989 г. представляет собой конец культурной эпохи, продолжавшейся от 1789 до 1989 гг., какими будут, какими могут быть новые идеологические темы наступающей эпохи? Позвольте мне предложить возможное направление анализа. Тематами современности, то есть только что закончившейся эпохи, были достоинства новизны и нормальность политических перемен. Эти темы последовательно и логично вели, как мы пытались доказать, к триумфу либерализма как идеологии, то есть к триумфу политической стратегии сознательной, рациональной реформы в ожидании неизбежного совершенствования государства. Поскольку в рамках капиталистической мирозкономики существуют (непризнаваемые) встроенные ограничители «совершенствованию» государства, эта идеология достигла своих пределов (в 1968 и 1989 гг.) и утратила свою эффективность.

Мы сейчас вступаем в новую эпоху, эпоху, которую я описал бы как период дезинтеграции капиталистической мирозкономики. Все разговоры о создании «нового мирового порядка» — всего лишь пустые заклинания, которым почти никто не верит и которые, во всяком случае, маловероятно

осуществить.

Но какие идеологии могут существовать, если мы стоим перед перспективой дезинтеграции (в противоположность нормальному прогрессивному изменению)? У героя либерализма, индивидуума, не будет возможности сыграть значительную роль, потому что ни один индивидуум не сможет долго выжить среди распадающихся структур. Наш выбор как субъектов может состоять лишь в формировании групп, достаточно больших, чтобы отбить уголки силы и убежища. Поэтому не случайно тема «групповой идентичности» выдвинулась на передний план в масштабах, не известных прежде современной миросистеме.

Если субъектами являются группы, на практике такие группы многочисленны, и они пересекаются самым замысловатым образом. Все мы — члены (даже очень активные члены) множества групп. Но определить тему групп как субъектов — недостаточно. В эпоху 1789–1989 гг. и консерваторы, и социалисты пытались, хотя и безуспешно, добиться социальной приоритетности групп. Консерваторы стремились к приоритетности определенных традиционных группировок; социалисты стремились к приоритетности коллектива (народа) как единой группы. Мы должны, в дополнение к этому, выдвинуть идеологию (то есть политическую программу), основанную на приоритетности групп как деятелей.

Мне кажется, что возможно представить построение лишь двух идеологий, хотя в строгом смысле слова ни одна из них не может быть полностью сконструирована. Кто-то может выдвинуть на первый план достоинства и законность «выживания наиболее приспособленных» групп.

Мы слышим эту тему в новой агрессивности поборников неорасистских идей, которые чаще облачаются в наряды меритократии, чем в одеяния расовой чистоты. Новые претензии уже не обязательно основываются на старых узких группировках (таких как нации или группы по цвету кожи), скорее на праве сильного (какими бы *ad hoc*^[136] ни были их группировки) захватывать добычу и защищать ее в своих укрепленных местностях.

Проблема с необисмаркианским и антипросвещенческим устремлениями на Юге состоит в том, что они склонны в конечном счете приходить к соглашению с похожими на себя иа Севере, становясь тем самым еще одной укрепленной местностью сильных. Мы явственно видим это в политическом развитии Ближнего Востока в последние 15 лет. Столкнувшись с угрозой, представляемой Хомейни, Саддам Хуссейн был поддержан и усилен всеми секторами мировых господствующих страт.

Когда Саддам Хуссейн попытался захватить чересчур большой кусок добычи, эти же силы повернулись против него, и наследники Хомейни радостно присоединились к господствующей группе. Эта легкая смена союзов говорит кое-что о политике господствующих слоев (в том числе и лицемерии их песнопений об озабоченности правами человека), но это же кое-что говорит и о Хомейни с его группой, и о партии БААС под руководством Саддама Хуссейна.

Есть и идеология, исходящая из приоритета групп в эпоху распада, альтернативная идеологии «выживания наиболее приспособленных» групп. Это признание равных прав всех групп на свою долю в перестроенной миросистеме при одновременном признании, что ни одна из групп не имеет исключительного характера. Сеть групп замысловато переплетена. Часть чернокожих, но не все чернокожие, являются женщинами; некоторые мусульмане, но не все мусульмане — чернокожие; некоторые интеллектуалы — мусульмане, и так до бесконечности. Реальное пространство каждой группы предполагает и пространство внутри групп. Все группы представляют лишь частичные идентичности. Наличие оборонительных границ между группами в тенденции имеют своим последствием создание иерархии внутри групп. И все же, разумеется, группы не могут существовать без каких-то защищающих их границ.

Вот на какой вызов мы должны ответить — создание новой левой идеологии во время распада исторической системы, в которой мы живем. Это не простая задача, и не такая, которую можно решить с сегодня на завтра. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы выстроить идеологии в эпоху после 1789 г.

Ставки высоки, потому что когда система распадается, что-то обязательно приходит ей на смену. Мы сегодня точно знаем о системных бифуркациях, что при них преобразование может идти в радикально различных направлениях, потому что маленький импульс в этой точке может иметь великие последствия (в отличие от эпох относительной стабильности, которую современная миросистема переживала примерно с 1500 г. до недавних пор, когда даже большие усилия порождают лишь ограниченные последствия). После перехода от исторического капитализма к чему-то еще, скажем около 2050 г., мы можем оказаться в новой системе (или множестве систем), являющейся (являющихся) неэгалитарной и иерархической, или же можем оказаться в системе, которая отличается высоким уровнем равенства и демократии. Это зависит от того, будут ли способны те, кто предпочитают именно последний исход, выдвинуть вместе разумную стратегию политических изменений.

Теперь мы можем обратиться к вопросу «кто кого исключает». В капиталистической мироэкономике система работает на социальное исключение (из получения благ) большинства путем включения всей потенциальной рабочей силы мира в систему организации труда, в многослойную иерархию. Эта система исключения через включение была бесконечно усилена широким распространением в XIX в. господствующей либеральной идеологии, которая оправдывала это исключение через включение и сумела впрямь даже мировые антисистемные силы в решение этой задачи. Эта эпоха, к счастью, завершена.

Теперь нам надо понять, сможем ли мы создать совершенно отличную миросистему, такую, которая включила бы каждого в получение своих благ, и могла бы сделать это благодаря тем механизмам исключения, которые являются частью построения осознающих себя групп при признании, однако, их взаимного пересечения и частичного перекрывания.

Ясная окончательная формулировка четкой антисистемной стратегии для эпохи дезинтеграции потребует для своей разработки по меньшей мере двух десятилетий. Все, что можно сделать сейчас — это предложить некоторые элементы, которые могли бы войти в эту стратегию; при этом, однако, нельзя быть уверенным, как все эти кусочки мозаики подойдут друг к другу, и никто не сможет утверждать, что их список исчерпан.

Одним из элементов конечно же должен быть решительный разрыв с прежней стратегией осуществления социальных преобразований через взятие государственной власти. Хотя получение государственной власти и может быть полезным, оно почти никогда не ведет к преобразованиям. Получение государственной власти должно оцениваться как необходимая оборонительная тактика, используемая в конкретных условиях, чтобы сдерживать ультраправые репрессивные силы. Но государственную власть следует признать *pis aller*^[137], ибо это всегда предполагает возможность заново легитимизировать существующий мировой порядок. Этот разрыв с либеральной идеологией, несомненно, будет самым трудным из шагов, которые надо предпринять антисистемным силам, несмотря на крах либеральной идеологии, о котором говорилось выше.

Полное нежелание заниматься трудностями системы — вот что предполагает такой разрыв с прошлой практикой. Это не функция антисистемных сил — разрешать политические дилеммы, которые навязывают господствующим слоям все более сильные противоречия системы. Самопомощь народных сил должна рассматриваться как нечто совершенно отличное от переговоров о реформах существующих структур. На самом деле все антисистемные силы, даже наиболее воинственные из

них, направлялись в эту ловушку во время либеральной идеологической эры.

Вместо этого антисистемные движения должны сосредоточиться на расширении влияния реальных социальных групп на различных уровнях и в разных видах общественной жизни и их блокировании (и постоянной перегруппировки) на более высоком уровне, но не в унифицированной форме. Фундаментальной ошибкой антисистемных сил в предыдущую эру было убеждение, что чем более унифицирована структура, тем она эффективнее. Строго говоря, исходя из стратегии первоочередности задачи завоевать государственную власть, эта политика была логична и по видимости приносила свои плоды. Это также является тем, что превратило социалистическую идеологию в либерал-социалистическую. Демократический централизм — вещь прямо противоположная тому, что нужно. Основа солидарности многочисленных реальных групп на более высоких уровнях (государство, регион, весь мир) должна быть мягче, более гибкой, более органичной. Семья антисистемных сил должна двигаться на разных скоростях в постоянной переформулировке тактических приоритетов.

Такая внутренне связанная, но не унифицированная, семья сил возможна лишь если каждая из составляющих ее групп сама является сложной по составу, внутренне демократичной структурой. А это в свою очередь возможно лишь в случае, когда на коллективном уровне не существует обязательных для всех стратегических приоритетов борьбы. Система прав, значимых для одной группы, не важнее другой системы прав, значимой для другой группы. Спор о приоритетах ослабляет и уводит с пути, возвращает на парковые дорожки унифицированных групп, в конечном счете сливающихся в едином монолитном движении. Битва за преобразование может вестись лишь на всех фронтах одновременно.

Стратегия борьбы на многих фронтах множеством групп, каждая из которых сложна по составу и внутренне демократична, будет располагать одним тактическим оружием, которое может оказаться неотразимым для защитников статус-кво; это оружие — принимать старую либеральную идеологию буквально и требовать ее полного осуществления. Например, имея дело с ситуацией массовой нелегальной миграции с Юга на Север, разве не будет подходящей тактикой требовать принципа неограниченно свободного рынка — открытых границ для всех, кто хочет приехать?

Столкнувшись с таким требованием, либеральные идеологи могут только отбросить свои песнопения о правах человека и признать, что они вовсе не имеют в виду свободу эмиграции, потому что не имеют в виду

свободу иммиграции.

Похожим образом можно на каждом из фронтов борьбы выдвигать требование демократизации принятия решений, так же как и устранения всех случаев неформальных и непризнанных привилегий. Я говорю здесь не о чем другом, только о тактике перенапряжения системы путем восприятия ее претензий и деклараций серьезнее, чем того хотели бы господствующие силы. Это прямо противоположно тактике разрешения трудностей системы.

Будет ли всего этого достаточно? Трудно знать это заранее, но вероятнее всего, самого по себе — недостаточно. Но это будет сильнее и сильнее загонять господствующие силы с их политикой в угол и вынуждать к более отчаянной ответной тактике. И все же исход будет оставаться неясным, пока антисистемные силы не смогут разработать свою утопистику — размышления и споры о реальных дилеммах демократического и эгалитарного строя, который они хотели бы создать. В прошлый период на утопистику смотрели неодобрительно как на уход от главной задачи обретения государственной власти и затем национального развития. Итоговым результатом стало движение, основанное на романтической иллюзии; именно поэтому оно стало объектом гневного разочарования. Утопистика — это не утопические мечтания, а трезвое предвидение трудностей и открытое придумывание альтернативных институциональных структур. Про утопистику думали, что она сеет рознь. Но если антисистемным силам надо быть неунифицированными и сложными по структуре, тогда альтернативные версии будущего — часть процесса.

1989 г. представлял собой агонизирующий конец эпохи. Так называемое поражение антисистемных сил на самом деле было великим освобождением. Оно устранило либерально-социалистические оправдания капиталистической мирозкономики и таким образом стало крахом господствующей либеральной идеологии.

Новая эпоха, в которую мы вступаем, может тем не менее оказаться даже более обманчивой. Мы плывем в морях, еще не нанесенных на карту. Мы гораздо больше знаем об ошибках прошлого, чем об опасностях ближайшего будущего. Потребуется неизмеримые коллективные усилия, чтобы выработать ясную стратегию преобразований. Между тем дезинтеграция системы идет быстро, а защитники иерархии и привилегий не тратят зря времени и ищут решения и исходы, которые изменили бы все, ничего не меняя. (Вспомним, что Лампедуза именно так оценил итоги гарибальдийской революции.)

Нет оснований ни для оптимизма, ни для пессимизма. Все остается в пределах возможного, но все остается неопределенным. Мы должны переосмыслить наши старые стратегии, мы должны переосмыслить наш старый анализ. Они были слишком отмечены господствующей идеологией капиталистической мироэкономики. Несомненно, мы должны сделать это как органические интеллектуалы, но органические интеллектуалы^[138], составляющие часть неунифицированной общемировой семьи множества групп, каждая из которых сложна по своей структуре.

Глава 14. Агония либерализма: что обещает прогресс?^[139]

Мы встречаемся в дни тройного юбилея: 23 лет со дня основания Университета Сейко в Киото; 25 лет всемирной революции 1968 г.; 52 года (именно сегодня, по крайней мере по американскому календарю) бомбардировки Перл-Харбора японским флотом. Позвольте мне начать с замечаний о том, что, по моему мнению, представляет каждый из этих юбилеев.

Основание Университета Сейко в Киото — символ самого важного поворота в истории нашей миросистемы: необычайного количественного роста университетских структур в 1950-х и 1960-х гг.^[140] В определенном смысле этот период был кульминацией обещанного Просвещением прогресса через образование. Само по себе это было чудесной вещью, и мы празднуем ее сегодня. Но, как и с другими чудесными вещами, и у этой были свои осложнения и свои издержки. Одно из осложнений состояло в том, что расширение высшего образования произвело большое количество выпускников, которые настаивали на предоставлении рабочих мест и доходах, соизмеримых с их статусом, и появились некоторые проблемы с удовлетворением этого требования, по крайней мере с необходимой скоростью и в необходимых объемах. Издержки состояли в социальных затратах на обеспечение этого расширяющегося высшего образования, что было лишь частью затрат на обеспечение в целом благосостояния для значительно выросших численно средних слоев миросистемы. Этим растущим расходам на социальное благосостояние предстояло лечь тяжким бременем на государственную казну, и сегодня, в 1993 г., мы повсюду в мире обсуждаем бюджетный кризис государств.

Это приводит нас ко второму юбилею — годовщине всемирной революции 1968 г. Эта всемирная революция в большинстве стран (но не во всех) началась в университетах. Одной из проблем, послуживших

растопкой для огня, без сомнения, было внезапное беспокойство этих будущих выпускников о перспективах получения работы. Но, разумеется, подобный узко эгоистический фактор не был главным центром революционного взрыва. Скорее это был лишь дополнительный симптом ключевой проблемы, связанной с реальным содержанием всей системы обещаний, содержащихся в просвещенческом сценарии прогресса, — обещаний, которые, на поверхностный взгляд, казалось, были выполнены в период после 1945 г.

А это приводит нас к третьей годовщине — нападения на Перл-Харбор. Именно это нападение вовлекло США во Вторую мировую войну в качестве формального участника. Однако на самом деле это не была война в основном между Японией и США. Япония, если вы простите, что я говорю так, была второразрядным игроком в этой глобальной драме, и ее нападение было незначительным вмешательством в давно шедшую борьбу. Война была прежде всего войной между Германией и США, и по сути дела была войной, не прекращавшейся с 1914 г. Это была «тридцатилетняя война» между двумя основными претендентами на наследие Великобритании как державы-гегемона миросистемы. Как мы знаем, США предстояло победить в этой войне и стать гегемоном, и с тех пор главенствовать в мире при этом внешнем триумфе идей Просвещения.

Исходя из всего сказанного, я организую свое выступление на основе этой системы событий, которые мы по сути отмечаем как юбилеи. Сначала я хочу обсудить проблемы эпох надежд и борьбы за идеалы Просвещения, 1789–1943 гг. Затем я постараюсь проанализировать эпоху осуществления, однако лишь ложного осуществления, надежд Просвещения, 1945–1989 гг. В-третьих, я перейду к нашей современной эпохе, «черному периоду», который начался в 1989 г. и продлится по крайней мере полвека. И, наконец, я поговорю о выборах, стоящих перед нами — сейчас и в ближайшем будущем.

Первым великим политическим выражением идей просвещения во всей его неоднозначности была, конечно, Французская революция. Сам вопрос, чем была Французская революция, стал одной из великих двусмысленностей нашей эпохи. Празднование ее двухсотлетия во Франции в 1989 г. стало поводом для серьезных попыток предложить новую интерпретацию этого великого события в замену господствовавшей долгое время «социальной интерпретации», ныне оценивающейся как «вышедшая из моды»^[141].

Французская революция сама по себе была лишь завершающим

моментом длительного процесса, не в одной только Франции, но во всей капиталистической мироэкономике как исторической системе. Потому что к 1789 г. изрядная часть земного шара уже почти три столетия находилась внутри этой исторической системы. И за эти три века большая часть ключевых институтов этой системы была создана и укреплена: осевое разделение труда с перетеканием значительной части прибавочного продукта из периферийных зон в зоны центра; ведущая роль вознаграждения тем, кто действует в интересах бесконечного накопления капитала; межгосударственная система, состоящая из так называемых суверенных государств, которые, однако, ограничены в своих действиях рамками и «правилами» этой самой межгосударственной системы; постоянно нарастающая поляризация миросистемы, носящая не только экономический, но и социальный характер, и готовая стать также и демографической.

Однако, этой миросистеме исторического капитализма все еще не хватало легитимизирующей ее геокультуры. Основные учения были выкованы теоретиками Просвещения в XVIII в. (а на самом деле еще раньше), но социально институционализироваться им предстояло только с Французской революцией. Ведь то, что сделала Французская революция, было привлечение народной поддержки, даже шумного одобрения, принятия двух новых мировоззренческих идей: что политические изменения являются нормой, а не исключением; и что источником суверенитета является «народ», а не монарх. В 1815 г. Наполеон, наследник и всемирный протагонист Французской революции, потерпел поражение, и во Франции (и повсюду, где были сметены «старые режимы») последовало явление, предполагавшееся как «Реставрация». Но Реставрация в действительности не устранила, а по сути дела и не могла уже устранить, широко распространившегося принятия этих мировоззренческих идей. Приходилось считаться с новой ситуацией, состоявшей в том, что родилась троица идеологий XIX в. — консерватизм, либерализм и социализм, — предоставив язык последующим политическим дебатам в капиталистической мироэкономике.

Однако из этих трех идеологий победителем вышел либерализм, причем уже во время событий, которые можно оценить как первую всемирную революцию в этой системе, во время революции 1848 г.^[142] Это произошло потому, что именно либерализм оказался наилучшим образом приспособлен, чтобы дать подходящую геокультуру для капиталистической мироэкономике, которая легитимизировала бы его другие институты одновременно в глазах профессиональных кадров системы, и, в

значительной степени, в глазах массы населения, так называемых простых людей.

Поскольку народ стал расценивать политические изменения в качестве нормы и считать, что именно он в принципе является носителем суверенитета (иначе говоря, субъектом, принимающим решения о политических изменениях), все становилось возможным. И именно это, разумеется, создавало проблему, с которой столкнулись те, кто пользовались властью и привилегиями в рамках капиталистической мирозкономики. Непосредственным средоточием их страхов в определенной степени стала небольшая, но растущая группа городских промышленных рабочих. Но, как в полной мере продемонстрировала Французская революция, деревенские непромышленные рабочие могут быть в перспективе ничуть не меньшим источником бед и страхов для власть и привилегии имущих. Как можно было бы удержать эти «опасные классы» от слишком серьезного восприятия этих новых норм и в результате — от вмешательства в процесс капиталистического накопления с подрывом основных структур системы? Вот в чем состояла политическая дилемма, остро поставленная перед правящими классами в первой половине XIX в.

Первым очевидным ответом были репрессии. И они действительно широко применялись. Однако урок всемирной революции 1848 г. состоял в том, что репрессии сами по себе в конечном счете оказывались неэффективны; они провоцировали скорее ожесточение, а не успокоение опасных классов. Пришло понимание, что репрессии, дабы быть эффективными, должны сочетаться с уступками. С другой стороны, и те, кто считался в первой половине XIX в. революционерами, тоже извлекли урок. Стихийные восстания тоже были неэффективны, поскольку их более или менее легко подавляли. Угрозы народного восстания необходимо было совмещать с сознательной долговременной организационно-политической работой, если в качестве задачи ставилось ускорение существенных перемен.

В конечном счете либерализм предложил себя в качестве непосредственного решения политических трудностей как правых, так и левых. Правым он проповедовал уступки, левым — политическую организацию. И тем и другим он проповедовал терпение: в долгосрочном плане удастся добиться большего (для всех) идя по «среднему пути». Либерализм был воплощенным центризмом, и его проповедь обладала притягательностью пения сирен. Ибо то, что он проповедовал, было не пассивным центризмом, а активной стратегией. Либерализм основывал свои убеждения на одной из ключевых посылок идеи Просвещения:

рациональные мысль и действие — путь к спасению, то есть к прогрессу. Люди (как правило, под людьми подразумевались только мужчины) по природе разумны, потенциально разумны, разумны в конечном счете.

Отсюда следовало, что «нормальные политические перемены» должны идти по пути, намеченному теми, кто был наиболее разумен — то есть наиболее образован, наиболее квалифицирован, и потому наиболее мудр. Такие люди могут начертить наилучшие пути, на которых следует осуществлять политические изменения; то есть именно такие люди могли бы указать необходимые реформы, которые надо предпринять и осуществить. Рациональный реформизм стал организующим понятием либерализма, которое определяло и колеблющуюся позицию либералов по поводу взаимоотношений индивидуума и государства. Либералы могли одновременно доказывать, что индивидуума не следует ограничивать диктатом государства (коллектива) и что действия государства необходимы, чтобы минимизировать несправедливость по отношению к индивидууму. Они, таким образом, в одно и то же время могли выступать и за *laissez-faire*, и за фабричное законодательство. Дело в том, что для либералов главное состояло не в *laissez-faire* и не в фабричном законодательстве самом по себе, но скорее во взвешенном и обдуманном прогрессе на пути к хорошему обществу, достичь которого наилучшим образом можно, пожалуй, только на пути рационального реформизма.

Эта доктрина рационального реформизма на практике доказала свою чрезвычайную привлекательность. Казалось, она отвечает потребностям каждого. Для тех, кто был склонен к консерватизму, она казалась способной приглушить революционные инстинкты опасных классов. Некоторое расширение избирательных прав здесь, элементы государства благосостояния там, плюс некоторое объединение классов в рамках общего национального самосознания — все это, взятое вместе, к концу XIX в. составило формулу, которая успокоила трудящиеся классы, сохраняя вместе с тем существенные начала капиталистической системы. Обладающие властью и привилегиями не потеряли ничего существенного для себя, зато могли спокойнее спать ночами (с меньшим количеством революционеров под окнами своих жилищ).

С другой стороны, для тех, кто был настроен радикально, рациональный реформизм, казалось, предлагал полезную промежуточную станцию. Он обеспечивал некоторые фундаментальные изменения здесь и сейчас, никогда не уничтожая надежды и ожиданий более основательных изменений позже. Прежде всего, то, что он предлагал, получали живые люди в течение своей жизни. И эти живые люди затем могли спокойнее

спать ночами (с меньшим количеством полицейских под окнами своих жилищ).

Я не хочу преуменьшать полтора столетия или около того непрерывной политической борьбы — частью насильственной, частью страстной, большей частью последовательной и почти целиком серьезной. Я хотел бы, однако, представить эту борьбу в некоторой перспективе. В конечном счете борьба велась в рамках правил, установленных либеральной идеологией. И когда появились фашисты — значительная по силе группа, полностью отрицавшая эти правила, они были отвергнуты и уничтожены — несомненно, не без трудностей, но все же они были отброшены.

Есть еще одна вещь, которую мы должны сказать о либерализме. Мы уже заявили, что в основе своей он не был антигосударственной идеологией, так как его реальным приоритетом являлся рациональный реформизм. Но, не будучи антигосударственной идеологией, либерализм в основе своей был антидемократичен. Либерализм всегда был аристократическим учением — он проповедовал «власть лучших». Будем справедливы — либералы определяли «лучших» не в зависимости от рождения, а скорее по уровню образования. Лучшими, таким образом, считалась не наследственная знать, а лучшие представители меритократии. Но лучшие — всегда группа, меньшая, чем все. Либералы хотели власти лучших, аристократии, именно для того, чтобы не допустить власти всего народа, демократии. Демократия была целью радикалов, а не либералов; по крайней мере она была целью тех, кто был настроен искренне радикально и искренне антисистемно. Именно для того, чтобы не дать этой группе стать преобладающей, выдвинули либерализм как идеологию. И обращаясь к консервативно настроенным, которые сопротивлялись предлагаемым реформам, либералы всегда утверждали, что только рациональный реформизм станет барьером на пути демократии, — это был аргумент, в конечном счете с симпатией выслушиваемый всеми умными консерваторами.

Наконец, мы должны отметить значительное различие между второй половиной XIX и первой половиной XX вв. Во второй половине XIX в. главным протагонистом в выдвижении требований опасных классов были все еще городские трудящиеся классы Европы и Северной Америки. Либеральная повестка дня работала с ними замечательно. Им предложили всеобщее (для мужчин) избирательное право, начало функционирования государства благосостояния, национальное самосознание. Национальное самосознание по отношению к кому? Несомненно, по отношению к

соседям, но еще важнее и основательнее — по отношению к небелому миру. Империализм и расизм составляли часть того пакета, который либералы предложили европейским/североамериканским трудящимся классам в обертке «рационального реформизма».

Однако тем временем началось политическое брожение «опасных классов» неевропейского мира — от Мексики до Афганистана, от Персии до Индии. Когда Япония нанесла поражение России в 1905 г., во всей этой зоне это поражение оценили как начало «отката» европейской экспансии. Это прозвучало как громкий предупредительный сигнал «либералам», которые, разумеется, были в основном европейцами и североамериканцами, что теперь «нормальность политических перемен» и «суверенитет» стали требованиями народов всего мира, а не только европейских трудящихся классов.

И тогда либералы обратили свое внимание на расширение понятия рационального реформизма до уровня миросистемы в целом. Именно в этом состояло послание Вудро Вильсона и его настаивание на «самоопределении наций» — учении, которое было глобальным эквивалентом всеобщего избирательного права. Именно в этом состояло послание Франклина Рузвельта и «четыре свободы», провозглашенные как цель войны во время Второй мировой войны, что позже было переведено президентом Трумэном в «четвертый пункт», первый кадр начатого после 1945 г. проекта «экономического развития слаборазвитых стран», доктрины, которая представляла собой глобальный эквивалент государства благосостояния^[143].

Цели либерализма и демократии, однако, вновь оказались в конфликте. В XIX в. прокламируемый универсализм либерализма сделали совместимым с расизмом путем «экстернализации» объектов расизма (за пределами «нации») при одновременной «интернализации» тех, кто *de facto* получил выгоды от универсальных идей, через институт «гражданства». Вопрос состоял в том, сумеет ли глобальный либерализм XX в. быть столь же успешным в сдерживании «опасных классов», находящихся в тех регионах, которые стали называться третьим миром, или Югом, как успешен национал-либерализм Европы и Северной Америки в сдерживании своих национальных «опасных классов». Проблема, разумеется, была в том, что на всемирном уровне оказалось некуда «экстернализовать» расизм. Противоречия либерализма возвращались к себе домой на ночлег.

В 1945 г. все это было далеко не очевидным. победа союзников над

державами Оси казалась триумфом глобального либерализма (в союзе с СССР) перед лицом фашистского вызова. Факт, что последним актом войны было сбрасывание США двух атомных бомб на единственную из небелых держав Оси, на Японию, вряд ли обсуждался в США (да и в Европе) как возможное отражение некоторых противоречий либерализма. Нет необходимости говорить, что иной была реакция в Японии. Но Япония проиграла войну, и ее голос в тот момент всерьез не воспринимался.

США стали, и с большим отрывом, экономически сильнейшей страной мироэкономики. А с атомной бомбой они были и крупнейшей военной силой, несмотря на численность советских вооруженных сил. США удалось за пять лет политически организовать миросистему, осуществляя четырехэлементную программу: а) урегулирование отношений с СССР, с гарантиями для него контролировать свой уголок мира в ответ на обязательство не вылезать оттуда (не в смысле риторики, а в терминах реальной политики); б) система союзов как с Западной Европой, так и с Японией, направленных на достижение экономических, политических и риторических целей, равно как и военных; в) модулированная, умеренная программа достижения «деколонизации» колониальных империй; г) программа внутренней интеграции в самих США, основанной на расширении реальных прав «гражданства» и скрепленной печатью объединяющей идеологии антикоммунизма.

Эта программа работала, и работала замечательно хорошо, примерно 25 лет, то есть прямо до поворотного пункта 1968 г. Как же тогда должны мы оценить эти необычные годы — 1945–1968? Были ли они периодом прогресса и триумфа либеральных ценностей? Ответ должен быть таким: в очень большой мере «да» и в очень большой мере «нет». Наиболее очевидными показателями «прогресса» были материальные. Экономическое расширение мироэкономики было необыкновенным, самым большим в истории капиталистической системы. И казалось, что оно происходило повсюду — на Западе и Востоке, Севере и Юге. Если быть точным, больше благ досталось Северу, чем Югу, и в большинстве случаев разрыв (и в абсолютном, и в относительном выражении) вырос^[144]. Поскольку, однако, в большинстве мест наблюдался реальный рост и высокая занятость, эпоха имела розовый отблеск. Это было тем более так, что параллельно с экономическим ростом, как я уже упомянул, сильно возросли расходы на социальные нужды, особенно расходы на образование и здравоохранение.

Во-вторых, в Европе опять был мир. Мир в Европе, но, конечно, не в Азии, где велись две длительные, изнурительные войны — в Корее и

Индокитае — и, разумеется, не во многих других частях неевропейского мира. Однако конфликты в Корее и во Вьетнаме были не похожи друг на друга. Корейский конфликт скорее может быть сопоставлен с блокадой Западного Берлина, два события почти совпали во времени. Германия и Корея были двумя великими разделами 1945 г. Обе страны были разделены между военно-политическими сферами США, с одной стороны, и СССР, с другой. В духе Ялты предполагалось, что линии раздела останутся не тронуты, какими бы ни были националистические (и идеологические) чувства немцев и корейцев.

В 1949–1952 гг. твердость этих линий была подвергнута испытанию. После сильной напряженности (а в случае Кореи и громадных людских потерь) исходом фактически стало более или менее сохранение статус-кво границ. Таким образом, в реальном смысле берлинская блокада и корейская война завершили процесс институционализации ялтинских соглашений. Вторым следствием этих двух конфликтов была дальнейшая социальная интеграция в обоих лагерях, что нашло свою институционализацию в создании сильных блоков: с одной стороны НАТО и Пакта об обороне США-Япония, с другой — Варшавского Договора и соглашений между СССР и Китаем. Более того, два конфликта послужили непосредственным стимулом еще большей экспансии в мироэкономике, обильно подпитываемой военными расходами. Восстановление Европы и японский рост стали двумя непосредственными главными получателями выгод от этой экспансии.

Война во Вьетнаме была совсем иного типа, чем корейская. Вьетнам был символическим местом (хотя далеко не единственным) борьбы национально-освободительных движений в неевропейском мире. В то время как корейская война и блокада Западного Берлина были частью мирового режима «холодной войны», борьба вьетнамцев (как и алжирцев, и многих других) была протестом против ограничений и структуры этого мирового режима «холодной войны». Тем самым в элементарном и непосредственном смысле она была продуктом антисистемных движений. Это совершенно отличалось от борьбы в Германии и в Корее, где две стороны никогда не были в состоянии мира, лишь заключали перемирие; то есть для каждой из сторон мир был *faute de mieux*^[145]. Войны за национальное освобождение, напротив, были односторонними. Ни одно из национально-освободительных движений не хотело войны с Европой/Северной Америкой; они хотели остаться предоставленными самим себе и следовать своими путями. Именно Европа/Северная Америка не желали оставлять их, пока не были в конце концов принуждены к этому. Таким

образом, национально-освободительные движения протестовали против сильных, но делали они это во имя выполнения либеральной программы самоопределения наций и экономического развития слаборазвитых стран.

Это подводит нас к третьему великому достижению этих необычайных лет, 1945–1968: всемирному триумфу антисистемных сил. Лишь кажется парадоксом, что самый момент апогея гегемонии США в миросистеме и глобальной легитимизации либеральной идеологии стал также моментом, когда все эти движения, структуры и стратегии которых формировались в период 1848–1945 гг. как антисистемные движения, пришли к власти. Так называемые «старые левые» в трех своих исторических вариантах — коммунисты, социал-демократы и национально-освободительные движения — все добились государственной власти, каждое движение в своей географической зоне. Коммунистические партии были у власти от Эльбы до Ялу, покрывая одну треть мира. Национально-освободительные движения были у власти в большей части Азии, Африки и Карибского бассейна (а их эквиваленты — в большинстве стран Латинской Америки и Ближнего Востока). А социал-демократические движения (или их эквиваленты) пришли к власти, по крайней мере время от времени формируя правительства, в большей части Западной Европы, Северной Америки и Австралии. Япония оставалась, пожалуй, единственным значительным исключением из этого глобального триумфа «старых левых».

Было ли это парадоксом? Было ли это результатом движения джаггернаутовой колесницы общественного прогресса, неизбежным триумфом народных сил? Или же это было массовой кооптацией этих народных сил в систему? И есть ли способы определить интеллектуальные и политические различия между двумя этими предположениями? Именно эти вопросы стали вызывать беспокойство в 1960-х. В то время как экономическая экспансия с ее очевидными выигрышами для уровня жизни по всему миру, относительный мир в обширных зонах мира и кажущийся триумф народных движений питали позитивные и оптимистические оценки мирового развития, более пристальный взгляд на реальную ситуацию обнаруживал серьезнейшие негативные явления.

Мировой режим «холодной войны» был режимом не расширения свободы человека, а великих репрессий внутри всех государств, оправданием которых служила предполагаемая серьезность хорошо отрежиссированной и поставленной геополитической напряженности. В коммунистическом мире были чистки и показательные процессы, ГУЛАГ, «железный занавес». В третьем мире были однопартийные режимы с несогласными в тюрьмах или изгнании. А маккартизм (и его эквиваленты в

других странах Запада), пусть и не отличавшийся такой тотальной жестокостью, был вполне эффективен, навязывая конформизм и ломая карьеры там, где это требовалось. Общественные обсуждения повсюду допускались лишь в жестко очерченных рамках.

Далее, с точки зрения материальных отношений, режим «холодной войны» был связан с ростом неравенства, как на международном, так и на национальных уровнях. Хотя антисистемные движения часто выступали против старого неравенства, они не стеснялись создавать его новые формы. *Номенклатура* коммунистических режимов имела свои параллели в третьем мире и в социал-демократических режимах стран ОЭСР.

К тому же было совершенно ясно, что это неравенство вовсе не характеризовалось случайным распределением. Оно коррелировало со статусными группами (определялся ли этот статус расовой, религиозной или этнической принадлежностью), и такая корреляция наблюдалась как на всемирном уровне, так и внутри всех государств. И, конечно же, существовала корреляция с возрастными и гендерными группами, как и с множеством других социальных характеристик. Короче говоря, были группы, оставшиеся вне получения выгод от развития, много таких групп, составлявших значительно больше половины населения мира.

Такова была реализация давних надежд в годы между 1945 и 1968, надежд, о которых стали думать как о псевдореализованных, что и заложило основу и привело к всемирной революции 1968 г. Эта революция была направлена в первую очередь против исторической системы в целом — против США как державы-гегемона этой системы, против экономических и военных структур, составлявших несущие конструкции системы. Но революция была не в меньшей, если не в большей, мере направлена против «старых левых» — против антисистемных движений, которые посчитали недостаточно антисистемными; против СССР как тайного партнера своего показного идеологического врага, США; против профсоюзов и других рабочих организаций, которые рассматривались как узко экономистские, защищающие интересы прежде всего особых статусных групп.

Между тем защитники существующих структур разоблачали то, что считали антирационализмом революционеров 1968 г. Но на самом деле либеральная идеология подорвалась на собственной mine. Настаивая более века, что функция общественных наук состоит в расширении границ рационального анализа (как необходимой предпосылке рационального реформизма), они слишком преуспели в этом. Как указывал Фредрик Джеймсон:

Развитие современной теории или философии в значительной степени... включало в себя удивительное расширение того, что мы считаем рациональным или осмысленным поведением. Мое ощущение таково, что после распространения психоанализа, но также с постепенным улетучиванием «инакости» со сжимающегося земного шара и из пропитанного СМИ общества, осталось очень немного «иррационального» в старом смысле «непостижимого»... Имеет ли такое гигантски расширенное понятие разума нормативную ценность в дальнейшем... в ситуации, когда его противоположность, иррациональное, съежилось фактически до несуществования, — это особый и интересный вопрос.^[146]

Потому что если фактически все стало рациональным, какая особая законность оставалась у общественной науки истеблишмента? Какие такие особые достоинства остались у конкретных политических программ господствующих элит? И что оказывалось самым разрушительным — какие особые способности могли предложить специалисты, которых бы не имели простые люди, могли ли господствующие группы предложить какие-то достоинства, которых бы не имели угнетенные группы? Революционеры 1968 г. обнаружили эту логическую дыру в защитной броне либеральных идеологов (и в не так уж сильно отличающемся варианте официальной марксистской идеологии) и ворвались в брешь.

Как политическое движение всемирная революция 1968 г. была не более чем огнем, пробежавшим по траве. Он резко вспыхнул и затем (трех лет не прошло) угас. Угольки — в форме множества соперничающих псевдомаоистских сект — тлели еще пять-десять лет, но к концу 1970-х все эти группы стали не более чем не очень разборчивыми примечаниями в историческом описании. Однако геокультурное влияние 1968 г. сыграло решающую роль, потому что всемирная революция 1968 г. отметила конец эпохи, эпохи автоматически центрального места либерализма, не просто как господствующей всемирной идеологии, но как единственной, которая могла провозглашать себя неизменно рациональной и потому научно узаконенной. Всемирная революция 1968 г. вернула либерализм на место, которое он занимал в период 1815–1848 гг., — всего лишь одной из соперничающих идеологий среди других. И консерватизм, и радикализм/социализм в этом смысле освободились из силового поля либерализма, которое удерживало их с 1848 по 1968 гг.

Процесс разжалования либерализма с его поста геокультурной нормы

во всего лишь одного из соперников на глобальном рынке идей был завершен в течение двух десятилетий, последовавших за 1968 г. Материальный блеск периода 1943–1968 гг. исчез во время начавшейся фазы «Б» (спада) длинного кондратьевского цикла. Это не значит, что все пострадали в равной мере. Страны третьего мира пострадали в первую очередь и больше всех. Подъем цен на нефть странами ОПЕК был первым способом попытаться ограничить ущерб. Значительная часть мирового прибавочного продукта была перекачана через нефтепроизводящие государства в банки стран ОЭСР. Непосредственную выгоду получили три группы: нефтепроизводящие государства, которые получали ренту; государства (в третьем мире и в коммунистическом мире) которые получали займы от банков стран ОЭСР, чтобы восстановить свой платежный баланс; государства ОЭСР, которые тем самым могли поддержать свой экспорт. Эта первая попытка потерпела крах в 1980 г. в связи с так называемым кризисом задолженности. Вторым способом попытаться ограничить ущерб стало военное кейнсианство Рейгана, которое питало спекулятивный бум 1980-х в США. Оно потерпело крах в конце 1980-х гг., утянув за собой СССР. Третья попытка была предпринята Японией вместе с восточноазиатскими «драконами» и рядом сопредельных государств; она состояла в попытке получить выгоды от неизбежного в условиях фазы «Б» кондратьевского цикла территориального перемещения производства. Сейчас, в начале 1990-х гг. мы видим, что эти усилия имеют пределы.

Нетто-результатом 23 лет экономической борьбы стало всемирное разочарование в обещаниях, связанных с концепцией развития, краеугольного камня в предложениях глобального либерализма. Несомненно, Восточная и Юго-Восточная Азия пока еще не разделяет этого чувства разочарования, но это не более чем временной лаг. Однако повсюду последствия велики, особенно негативны они для «старых левых» — во-первых, для национально-освободительных движений, затем для коммунистических партий (коллапс коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 г.) и, наконец, для социал-демократических партий. Эти провалы праздновались либералами как их великая победа. На самом деле скорее это был праздник на собственных похоронах. Потому что либералы оказались отброшены в ситуацию до 1848 г., отмеченную нарастающим давлением в пользу демократии — большей, чем ограниченный пакет из парламентских институтов, многопартийной системы и элементарных гражданских прав; на сей раз давлением в пользу более реальной вещи — подлинно эгалитарного разделения власти. А это

последнее требование исторически было кошмаром либерализма; именно для борьбы с ним либерализм предложил свой пакет ограниченных компромиссов, сочетающийся с успокоительным оптимизмом в отношении будущего. В той мере, в какой сегодня более не существует широко распространенной веры в рациональный реформизм посредством действий государства, либерализм потерял свою главную политико-культурную защиту от опасных классов.

Таким образом, мы подошли к нашей эпохе, которую я мыслю как предстоящий нам «темный период», который, можно сказать, символически начался в 1989 г. (продолжении 1968-го)^[147] и продлится по меньшей мере от 25 до 50 лет.

До сих пор я обращал главное внимание на идеологический щит, который был создан господствующими силами для защиты от притязаний, выдвигавшихся «опасными классами» после 1789 г. Я доказал, что таким щитом была либеральная идеология, и что она действовала как непосредственно, так и, даже более коварно, посредством подчищенного социалистического/прогрессистского варианта, который продал суть антисистемных требований за их суррогат ограниченной ценности. И, наконец, я доказал, что этот идеологический щит был в основном разбит всемирной революцией 1968 г., заключительным актом которой стал крах коммунистических режимов в 1989 г.

Почему же этот щит не сработал после полутора десятилетий столь эффективного функционирования? Ответ на этот вопрос лежит не в каком-то внезапном прозрении угнетенных, вдруг увидевших ложность идеологических заявлений. Очевидность лицемерия либерализма понималась изначально и часто решительно разоблачалась в XIX и XX вв. И тем не менее движения социалистической традиции вовсе не вели себя в соответствии с собственной риторической критикой либерализма. В большинстве случаев совсем наоборот!

Причину найти нетрудно. Социальной базой этих движений — движений, которые всегда очень громко претендовали на выступление от имени человеческих масс — на самом деле была узкая группа трудящегося населения, наименее обеспеченный сегмент «модернистского» сектора мироэкономики в том виде, как она сформировалась между 1750 и 1950 гг. Он включал в себя квалифицированные и полуквалифицированные городские трудящиеся классы, различные отряды интеллигенции, а также наиболее образованные и квалифицированные группы в тех сельских зонах, где наиболее заметным было функционирование капиталистической

мироэкономики. Все вместе они достигали немалой численности, но далеко не составляли большинства мирового населения.

«Старые левые» были мировым движением, опирающимся на меньшинство, сильное меньшинство, угнетенное меньшинство, но тем не менее численное меньшинство мирового населения. И эта демографическая реальность ограничивала возможности его реального политического выбора. В таких условиях оно сделало лишь то, что могло сделать. Оно выбрало роль шпоры, которой подгоняли выполнение либеральной программы рационального реформизма, и в этой роли весьма преуспело. Блага, которых оно добилось для своих основных участников, были реальными, хотя лишь частичными. Но, как заявляли революционеры 1968 г., большое количество людей осталось за пределами этого уравнения. «Старые левые» говорили универсалистским языком, но практиковали партикуляристскую политику.

Причина, по которой эти идеологические шоры были сброшены в 1968–1989 гг., состояла в том, что изменилась лежащая в их основе реальность. Капиталистическая мироэкономика столь настойчиво следовала своей логике бесконечного накопления капитала, что стала приближаться к своему теоретическому идеалу — превращению всего и вся в товар. Мы можем наблюдать, как это отражается во множестве социальных реалий: расширение механизации производства; снятие пространственных ограничений на обмен товарами и информацией; дерурализация мира; приближающееся истощение экосистемы; высокий уровень охвата процессов труда денежными отношениями; консьюмеризм/потребительство (то есть громадные масштабы превращения в товар самого процесса потребления)^[148].

Все эти процессы хорошо известны и на самом деле являются предметом постоянного обсуждения в мировых средствах коммуникации. Но рассмотрим, что они означают с точки зрения бесконечного накопления капитала. Прежде всего и главным образом они означают грандиозные ограничения возможной нормы накопления капитала. Есть три центральных фактора. Первый давно признавался аналитиками, но полной реализации достиг лишь сейчас. Урбанизация мира и рост как образования, так и плотности коммуникаций породили такой уровень всемирной осведомленности о политике, который одновременно делает проще политическую мобилизацию и затрудняет сокрытие уровня социально-экономического неравенства и роли властей в его поддержании. Такая политическая сознательность подкрепляется делегитимизацией любых иррациональных источников авторитета. Короче говоря, больше людей, чем

когда бы то ни было, требуют большего равенства вознаграждений и отказываются терпеть основное условие капиталистического накопления — низкую оплату труда. Это проявляется как в значительном общемировом возрастании уровня «исторической» зарплаты, так и в высоком и все нарастающем уровне требований к правительствам перераспределить основные социальные расходы (в особенности на здравоохранение и образование) и обеспечить устойчивые доходы.

Второй фактор — резко возросшие затраты правительств на субсидирование прибылей путем строительства инфраструктуры и разрешения предприятиям экстернализовать свои издержки. Это то, что журналисты описывают как экологический кризис, кризис растущих расходов на здравоохранение, кризис высоких расходов на большую науку и т. д. Государства не могут в одно и то же время продолжать расширение субсидий частным предприятиям и расширять обязательства перед гражданами по поддержанию благосостояния. Нужно в очень значительной степени поступиться либо тем, либо другим. При более сознательных и осведомленных гражданах эта классовая по сути борьба обещает быть грандиозной.

Третий фактор напряженности является результатом того, что политическая сознательность и осведомленность стали ныне всемирными. Распределение неравенства как на глобальном, так и на национально-государственных уровнях зависит от расовой/этнической/религиозной принадлежности. Поэтому комбинированным результатом политической осведомленности и бюджетного кризиса государств станет массовая борьба, которая примет форму гражданской войны, и глобальной, и в отдельных государствах.

Первой жертвой многочисленных напряжений падет легитимность государственных структур и тем самым их способность поддерживать порядок. По мере того как они будут терять эту способность, появятся издержки как в экономическом плане, так и в плане безопасности, что в свою очередь будет питать еще большее обострение напряженности, за чем последует дальнейшее ослабление легитимности государственных структур. Это не будущее — это уже настоящее. Мы видим его в гигантски возросшем чувстве незащищенности — озабоченность преступностью, озабоченность немотивированным насилием, озабоченность невозможностью добиться справедливости в судебной системе, озабоченность грубостью и жестокостью полиции — все это многократно умножилось в последние 10–15 лет. Я не утверждаю, что это новые явления, или даже что они стали намного интенсивнее, чем раньше. Но они

воспринимаются как новые или как ухудшившиеся, и уж во всяком случае как гораздо шире распространившиеся, большинством людей. А главным результатом такого восприятия становится делегитимизация государственных структур.

Такая разновидность нарастающего, самоподдерживающегося беспорядка не может продолжаться вечно. Но она может длиться 25–50 лет. А это форма хаоса в системе, вызванная истощением механизмов безопасности системы, или изменением их места в связи с тем, что противоречия системы подошли к рубежу, где ни один из механизмов, предназначенных восстанавливать нормальное функционирование системы, не может далее работать эффективно.

Но из хаоса произойдет новый порядок, и это подводит нас к последней проблеме: какие выборы стоят перед нами — сейчас и в ближайшем будущем. Тот факт, что это время хаоса, вовсе не означает, что в следующие 25–50 лет мы не увидим в действии основных процессов капиталистической мирозкономики. Люди и фирмы по-прежнему будут стремиться к накоплению капитала всеми известными способами. Капиталисты будут добиваться поддержки от государственных структур, как они делали это в прошлом. Одни государства будут конкурировать с другими государствами за то, чтобы стать главными местами накопления капитала. Капиталистическая мирозэкономика, вероятно, вступит в новый период экспансии, в результате которого всемирные экономические процессы приобретут еще более товарную форму и еще сильнее станет эффективная поляризация вознаграждений.

Следующие 25–50 лет будут отличаться не столько функционированием мирового рынка, сколько деятельностью мировых политических и культурных структур. Главное, что государства будут постоянно терять свою легитимность, и потому для них окажется трудно обеспечивать как минимальную внутреннюю безопасность, так и безопасность в межгосударственных отношениях. На геокультурной сцене не будет господствующего общепринятого дискурса, и даже формы культурной дискуссии сами будут предметом дискуссии. Будет мало согласия в том, какое поведение считать рациональным или приемлемым. Тот факт, что будет всеобщее замешательство, не означает, что не будет целенаправленного поведения. На самом деле будет много групп, стремящихся достичь ясных, ограниченных целей, но многие из них будут в прямом остром конфликте друг с другом. И могут быть немногочисленные группы, обладающие долгосрочными концепциями

того, как выстроить альтернативный социальный порядок, даже если их субъективная определенность будет иметь мало соприкосновений с объективной вероятностью, что эти концепции действительно будут обладать эвристической полезностью как руководство к действию. Короче, все будут действовать немного вслепую, даже когда и не думают, что дело обстоит именно так.

И тем не менее мы обречены на то, чтобы действовать. Поэтому первое, что нам нужно — это иметь ясное понимание, чего не хватало нашей современной миросистеме, что настроило такую большую часть мирового населения против нее или, по крайней мере, создало двойственное отношение к ее социальным достоинствам. Мне кажется совершенно ясным, что главные жалобы были связаны с громадным неравенством в системе, что означает отсутствие демократии. Это, несомненно, справедливо по отношению практически ко всем известным прежним историческим системам. От других систем капитализм отличал сам его успех как создателя материальной продукции, что, казалось, устраняет все оправдания неравенства, выражаются ли они материально, политически или социально. Неравенство казалось еще острее, потому что оно отделяло не просто очень узкую группу от всех остальных, а не меньше, чем одну пятую или одну седьмую мирового населения, от всех остальных. Именно эти два факта — рост общего материального богатства и то, что не просто горстка людей, но и намного меньше, чем их большинство, могло жить хорошо — так обострило чувства тех, кто остался за бортом.

Мы ничего не сможем внести в желаемое разрешение этого конечного хаоса нашей миросистемы, пока не покажем очень ясно, что желательной является только относительно эгалитарная, полностью демократическая историческая система. Конкретно мы должны активно и немедленно начать движение на нескольких фронтах. Один — это активное разрушение того европоцентристского высокомерия, которое пронизывало геокультуру в течение по меньшей мере вот уже двух веков.

Европейцы внесли великий культурный вклад в наше общее человеческое предприятие. Но просто неправда, что за десять тысяч лет они стали гораздо более великими, чем другие цивилизации, и нет никаких оснований полагать, что в грядущее тысячелетие станет меньше мест проявления человеческой мудрости. Активная замена современных европоцентристских пристрастий на более трезвое и сбалансированное чувство истории и его культурную оценку потребует острой и постоянной политической и культурной борьбы. Она взывает не к новому фанатизму, но

к тяжелой интеллектуальной работе, коллективной и индивидуальной.

Мы, кроме того, должны взять понятие прав человека и основательно поработать с ним, чтобы сделать его равно применимым к «нам» и к «ним», к гражданам и к чужакам. Право общностей на защиту своего культурного наследия не означает права на защиту своих привилегий. Одним из основных полей битвы станут права мигрантов. Если и вправду, как я предвижу для следующих 25–50 лет, очень большое меньшинство жителей Северной Америки, Европы и даже Японии будет состоять из недавних мигрантов или детей таких мигрантов (независимо от того, была ли миграция легальной), тогда нам всем нужна будет борьба за обеспечение таким мигрантам подлинно равного доступа к экономическим, социальным и — обязательно! — политическим правам в той зоне, куда они мигрировали.

Я знаю, что здесь будет грандиозное политическое сопротивление на основе защиты культурной чистоты и накопленного права собственности. В заявлениях государственных деятелей Севера уже доказывается, что Север не может взять на себя экономическое бремя всего мира. А почему, собственно, нет? Богатство Севера в очень большой части — результат перекачивания прибавочного продукта с Юга. Именно этот факт в течение нескольких веков вел нас к кризису системы. Это вопрос не благотворительности, исправляющей несправедливости, а рациональной перестройки.

Эти битвы будут политическими битвами, но не обязательно битвами на уровне государства. На самом деле именно из-за процесса делегитимизации государств многие из этих битв (пожалуй, большая часть) будут вестись на более локальных уровнях между группами, в которые мы по-новому самоорганизуемся. А поскольку эти битвы будут локальными и сложными, происходящими между множеством групп, существенное значение будет принадлежать сложной и гибкой стратегии союзов, но эта стратегия будет работать, только если мы будем все время помнить о наших эгалитаристских целях.

Наконец, борьба будет интеллектуальной, за переосмысление наших научных канонov, в поисках более холистических и изощренных методологий, в попытках избавиться от благочестивых и ложных заклинаний о свободной от оценок научной мысли. Рациональность — сама по себе ценностно нагруженное понятие, если вообще имеет какой-то смысл, и ничто не является или не может быть рациональным вне самого широкого, максимально охватывающего контекста человеческой социальной организации.

Вы можете подумать, что предложенная мной в общих чертах программа целесообразного социального и политического действия в следующие 25–50 лет чересчур туманна. Но она настолько конкретна, насколько это возможно, находясь в центре водоворота. Первое, определить, к какому берегу вы хотите приплыть. И второе, удостовериться, что ваши первые усилия продвигают вас в этом направлении. Если вы хотите большей точности, чем эта, вы ее не найдете, и утонете, пока будете искать.

Выходные данные

Immanuel Wallerstein
AFTER LIBERALISM
The New Press, New York 1995

Иммануэль Валлерстаин
ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА

Перевод с английского М. М. Гурвица, П. М. Кудюкина, П. В. Феденко
Под редакцией Б. Ю. Кагарлицкого

Введение и главы 1–6 перевел М. М. Гурвиц; главы 8–12 перевел П. М. Кудюкин; главы 7, 13–14 перевел П. В. Феденко.

Примечания к главам 1–7, 13–14, помеченные как прим. перев., написаны П. В. Феденко.

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса — Россия) и Фонда «Next Page» (Институт «Открытое общество» — Будапешт)

Редактор В. Д. Мазо

Подписано к печати 15.09.2003 г.

Формат 60 x 90/16.

Тираж 3000 экз. Печ. л. 16.

Издательство «Едиториал УРСС».

117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9

Лицензия ИД № 03175 от 25.06.2001 г.

Отпечатано в типографии ООО «Рохос»

117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.

Примечания

Контракт с Америкой — программа, принятая в 1994 г. депутатами Конгресса США, принадлежавшими к правому крылу Республиканской партии. Эта программа являлась своего рода манифестом воинствующих консерваторов, повлиявшим на политику президента Дж. Буша-младшего после возращения к власти республиканцев в 2000 г. — *Прим. науч. ред.*

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития.
Англ. назв. — Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD). — *Прим. издат. ред.*

В 1953 г. массовые протесты привели к политическому кризису в Восточной Германии. Коммунистическое руководство ГДР удержалось при вмешательстве советских войск. В 1956 г. советские войска подавили народное восстание в Венгрии. В 1968 г. военная интервенция против Чехословакии, в которой основную роль играл Советский Союз, положила конец периоду реформ в этой стране, известному как «пражская весна». В 1980-81 г. коммунистический режим в Польше пережил политический кризис, связанный с деятельностью профсоюза «Солидарность». Под давлением СССР режим ввел военное положение и запретил «Солидарность». — *Прим. перев.*

«Движение 26 июля» — революционное движение на Кубе. Сформировалось в ходе борьбы против диктатуры Фульхенсио Батисты, начавшейся 26 июля 1953 г. штурмом казарм Монкада под руководством Фиделя Кастро. «Движение 26 июля» затем вело партизанскую войну против правящего режима вплоть до победы революции в 1939 г. В 1961 г. самораспустилось и вошло в состав Объединенных революционных организаций. — *Прим. перев.*

Бандунгская конференция 1955 г. — конференция 29 стран Азии и Африки в Бандунге (Индонезия). Инициаторы — Бирма, Индия, Индонезия, Пакистан и Цейлон (с 1972 г. Шри-Ланка). Осудила колониализм, политику расовой дискриминации и сегрегации. На этой конференции была принята «Декларация о содействии всеобщему миру и сотрудничеству», содержащая пять принципов мирного сосуществования. — Прим. перев.

В середине 1920-х гг. великий русский экономист Н. Д. Кондратьев (1892–1938), изучив статистические данные, начиная с конца XVIII столетия, пришел к выводу о существовании «больших циклов» в развитии капитализма. Циклы эти неравномерны по времени и занимают обычно по 50–60 лет, но они воспроизводят одну и ту же динамику. Сначала наблюдается «повышательная волна», она же — фаза «А» (производство, цены и прибыли устойчиво растут, кризисы оказываются неглубокими, а депрессии непродолжительными). Затем наступает «понижательная волна» (фаза «Б»). Рост экономики неустойчив, кризисы становятся более частыми, депрессии затяжными.

Первый изученный Кондратьевым цикл начался в конце 1780-х гг. вместе с промышленной революцией и завершился по окончании наполеоновских войн. После 1817 г. в Европе наступает ухудшение конъюнктуры, экономическая депрессия сочетается с политической реакцией. Однако в 1844–51 гг. наступает перелом, сопровождающийся ростом революционного движения и всплеском вооруженных конфликтов. Окончательно новый экономический подъем оформляется к концу 1850-х гг. после Крымской войны и последовавшего за ней промышленного кризиса. «Повышательная волна» продолжается до начала 1870-х. Затем следует очередная эпоха экономических трудностей, завершающаяся к 1890-м гг. Подъем, обозначившийся в конце XIX столетия, оказался недолговечен. С 1914 г. явно проступают признаки нового спада. Уже в начале 1920-х гг. кондратьевские данные свидетельствуют о приближении большой депрессии, которая и обрушилась на мир в 1929–32 гг.

При Сталине Н. Д. Кондратьев был репрессирован и погиб. — *Прим. науч. ред.*

20 декабря 1975 г. сенат США направил в Министерство обороны США поправку к биллю об иностранной помощи, содержащую расширение запрета на помощь антикоммунистическим движениям. Автором поправки был профессор-политолог Дик Кларк, сенатор от штата Айова, глава подкомитета по делам Африки. Критике подверглась помощь США движениям НФЛА и УНИТА в Анголе в их борьбе за власть с движением МПЛА, поддерживаемым СССР. Кларк считал, что последствия вьетнамской войны должны стать толчком для «тщательной переоценки внешней политики США». — *Прим. издат. ред.*

Термин «военное кейнсианство» появился в начале 1980-х гг. в связи с деятельностью администрации Р. Рейгана, которая отвергала теорию Дж. М. Кейнса, но на практике следовала ей, накачивая средства в экономику через военный бюджет. — *Прим. науч. ред.*

Тадеуш Мазовецкий — польский католический публицист, общественный и государственный деятель. Пекле многолетней борьбы против коммунистического режима в 1989 г. возглавил первое некоммунистическое, коалиционное правительство Польши как представитель «Солидарности». В 1990 г. ушел в отставку. — *Прим. перев.*

Соотношение сил (фр.). — Прим. издат. ред.

Вьетминь (полное название Вьетнам доклад донг-минь — Лига борьбы за независимость Вьетнама), в 1941-51 гг. единый национальный фронт Вьетнама. Создан по инициативе коммунистической партии Индокитая. — *Прим. перев.*

Wallentein Immanuel. The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy // The Politics of the World-Economy: The States, the Movements and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 37–46.

Каждая из позиций, кратко обобщенных ниже, рассматривалась более подробно во многих очерках, написанных за последние пятнадцать лет, значительная часть которых вошла в книгу: *Wallentein Immanuel. Geopolitics and Geoculture: Essays in a Changing World-System*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

В числе других, см.: *Arthur W. Brian*. Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events // *Economic Journal*, XLIX, № 394, March 1989. P. 116–131; и *Arthur W. Brian, Ermoliev Yu. M. and Kaniovski M.* Path-Dependent Processes and the Emergence of Macrostructure // *European Journal of Operations Research*, XXX, 1987. P. 292–303.

EACT — Европейская ассоциация свободной торговли (European Free Trade Association — EFTA). — *Прим. издат. ред.*

НАФТА — Североамериканское соглашение о свободе торговли (North American Free Trade Agreement — NAFTA). — *Прим. издат. ред.*

Славное тридцатилетие (фр.). — *Прим. перев.*

Деклассированный (фр.). — Прим. перев.

Более подробное изложение этой попытки и ее краха содержится в двух других очерках, вошедших в данное издание: «Концепция национального развития, 1917–1989: элегия и реквием» и «Крах либерализма».

Вестфальская система международных отношений оформилась в Вестфальском мире 1648 г., который подвел черту под Тридцатилетней войной 1618–1648 гг. Базовыми принципами этой, системы были полная независимость существующих государств от какой-либо внешней инстанции (император Священной Римской империи, папа) и недопустимость вмешательства одного государства во внутренние дела другого. — *Прим. перев.*

Священный Союз был заключен Австрией, Пруссией и Россией в Париже 26 сентября 1815 г. после падения Наполеона 1. Его целью являлось обеспечение незыблемости решений Венского конгресса 1814-15 гг. Основным принципом союза было установление единой христианской системы в Европе, монархи которой должны взаимодействовать исходя из принципов Библии. Поддержавшие союз державы обязались гарантировать статус-кво и предотвращать дальнейшие потрясения. Все спорные вопросы должны были решаться на международных конгрессах. К Священному Союзу постепенно примкнули почти все европейские монархи. Англия, хотя формально и не входила в него, но на первых порах поддерживала его политику. Фактически, это был союз монархов, которые объединились для совместной борьбы против революционных выступлений собственных народов. — *Прим. науч. ред.*

Томази ди Лампедуза, Джузеппе (1896–1957) — итальянский писатель, автор романа «Леопард». — Прим. издат. ред.

Частные охотничьи угодья (фр.). — *Прим. издат. ред.*

Тет — праздник Нового года у вьетнамцев, приходится на двадцать четвертое число двенадцатого месяца по лунному календарю. Празднование длится несколько дней. На праздник Тет 31 января 1968 г. северовьетнамские войска и партизаны глубокой ночью одновременно атаковали более 100 военных баз и гражданских объектов по всей территории Южного Вьетнама, включая даже территорию американского посольства. Несмотря на то, что в военном отношении коммунисты потерпели поражение, наступление Тет оказало мощнейшее психологическое воздействие на американское общество. Доверие к официальным победным реляциям было подорвано, и начался рост антивоенных настроений. — *Прим. перев.*

Яппи (англ. yuppie) — or young urban professional, что означает «молодой горожанин, профессионал, продвигающийся по служебной лестнице». Слово появилось в начале 1980-х гг.; им стали называть молодых преуспевающих и хорошо оплачиваемых профессионалов. — *Прим. издат. ред.*

«Господа, обогащайтесь!» (фр.). — *Прим. перев.*

В англосаксонском мире бытует поверье, конечно шуточное, будто бы там, где радуга касается земли, зарыт горшок золоте. Незадачливых политиков и реформаторов можно назвать *rainbow duatn'* «гоняющиеся за радугой»: стремясь найти клад, они пытаются поймать радугу. Разумеется, такие начинания обречены на неудачу. — *Прим. перев.*

В широком смысле (лат.). — Прим. перев.

Старый порядок, дореволюционная монархия (фр.). — *Прим. издат. ред.*

Идеологии представляли собой лишь один из трех способов справиться с новой ситуацией. Двумя другими были общественные науки и антисистемные движения. Я подробно обсуждаю эту тему, пытаясь определить взаимосвязь между тремя этими путями, в работе: *The French revolution as world historical event // Unthinking social science: The limits of nineteenth-century paradigms*. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 7–22.

Хартия, на которую согласился Людовик XVIII, была главным политическим условием его «реставрации». В своем заявлении, сделанном в Сент-Оуэне, будущий король заявил, что собирается «утвердить либеральную конституцию, которую назовет „хартией“». Бастид (*Bastid* 1953, 163–164) отмечает, что «термин Хартия, имевший в былые времена многочисленные и разнообразные значения, прежде всего, ассоциируется с воспоминаниями об общинных свободах», далее добавляет, что «тем, кто разделял либеральные взгляды, он по вполне понятным причинам напоминал английскую Великую хартию вольностей 1215 года». Как писал Бастид, «Людовик XVIII никогда бы не смог получить общественное признание, если бы тем или иным образом не удовлетворил надежды на обретение свободы». Когда в 1530 г. Луи-Филипп в свою очередь тоже заявил о принятии Хартии, на этот раз король должен был скорее «уступить пожеланиям» (*consentir*) подданных, чем «пожаловать» (*octroyer*) ее.

«За редкими исключениями либералы всегда апеллировали ко всему человечеству в целом» (*Manning* 1976 6, 80).

В «Картезианском монастыре в Парме» революционер Ферранте Пала всегда представляется как «свободный человек».

Хаменац отмечает, что хотя те, кто выступал в оппозиции к июльской монархии, делились на позже поддержавшие революцию 1848 г. четыре фракции, которые могут быть причислены к числу «левых», к ним в целом обычно применялся термин «республиканцы», а не «социалисты» (Hamenatz 1952, 47 и далее).

Как отмечал Тюдеск (*Tudaq* 1964, 235): «Оппозиция легитимистов июльской монархии представляла собой оппозицию знати установленному порядку...» Не противоречили ли, таким образом, легитимисты заявлению Бональда о том, что «истинная природа общества... составляет то, чем это общество, гражданское общество, является в настоящее время»?

Позвольте делать (фр.). — Прим. издат. ред.

См. рассуждения о взглядах Бональда в работе Нисбета (*Nisbet* 1944, 318–319). Нисбет использует термин «корпорации» в значении «ассоциации, основанные на принципах служебной или профессиональной принадлежности».

Цит. по рус. пер. — *Прим. издат. ред.*

«И сен-симонизм, и экономический либерализм эволюционировали в том направлении, которое сегодня мы называем экономическим рационализмом» (*Mason* 193I, 681).

Первая парламентская реформа, предоставляющая право голоса средней и мелкой торгово-промышленной буржуазии; в результате представительство в парламенте получили к новые промышленные центры. — *Прим. издат. ред.*

Галеви цитирует статью, опубликованную в «Квартальном обзоре» в апреле 1835 г. (том LIII, с. 265), озаглавленную «Обращение сэра Роберта Пиля»: «Когда раньше премьер-министр считал целесообразным обращаться к *народу* не только при вступлении в должность, но для изложения принципов и даже деталей тех мер, которые он был намерен предпринять, и просить — не парламент, а народ, — о сохранении королевских prerogatives и о том, чтобы к выбранным им министрам относились если не с безоговорочным доверием, то, по крайней мере, справедливо?» (Halevy 1950, 178, сноска 10).

Поскольку ленинизм перестроился из программы революционного свержения правительств организованным рабочим классом в программу национального освобождения ради достижения целей национального развития (конечно, «социалистического»), по существу, здесь прослеживается параллель с вильсонианством, которое являлось официальной версией либеральной идеологии. См.: «Либерализм и легитимация национальных государств: историческая интерпретация» в настоящем издании.

См., в частности: The French Revolution as a Word-Historical Event // Unthinking Social Science. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 7–22.

«К 1830-м годам революционеры-романтики почти буднично говорили о *le people, das volk, il popolo* или *lud*, как о некоей возрождающей жизненной силе истории человечества. Новые монархи, пришедшие к власти после революции 1830 года, — Луи-Филипп и Леопольд I, скорее искали поддержки „народа“ как короли „французов“ и „бельгийцев“, чем как правители Франции и Бельгии. Даже реакционный царь Николай I три года спустя после подавления польского восстания 1830–1831 годов заявил о том, что его собственная власть зиждется на „народности“ (а также самодержавии и православии), причем слово, которое он использовал, — *народность*, также означающее „дух народа“, было точным переводом польского термина *narodowosć*». *Billington James H. Fire in the minds of Men: Origins of Revolutionary Faith. London: Temple Smith, 1980. P. 160.*

Прекрасное описание этой аморфной массы людей применительно к июльской монархии во Франции можно найти в работе: *Ptammatz John*. The Revolutionary Movement to France. 1815–1879. London: Longman Green, 1952. P. 35–62.

«К. 1840 г. присущие индустриализации социальные проблемы — новый пролетариат, ужасы неуправляемой опасной урбанизации, развивавшейся чрезвычайно быстрыми темпами, — стали постоянным предметом серьезных обсуждений в Западной Европе и кошмаром для политиков и чиновников». *Hobsbawm Eric J. The Age of Revolution, 1789–1848. New York: World, 1962. P. 207.*

Смысл существования (фр.). — Прим. издат. ред.

Подробнее я останавливался на этой теме в очерке «Три идеологии или одна? Псевдобаталии современности» (см. настоящее издание).

«Оппозиция легитимистов июльской монархии была оппозицией знати существующему пори ку...» *Tudesq Andre-Jean*. *Les grands notables en France (1840–1849)*. *Pans*: Presses Univ. de France, 1964. P. 1, 235.

Здесь и далее цит. по рус. пер. — *Прим. издат. ред.*

Cecil Hugh, lord. Conservatism. London: Williams and Northgate, 1911. P. 192.

Эту дилемму очень точно сформулировал Филипп Бенетон: «По сути дела, самой большой слабостью консерватизма был традиционализм. Консерваторы сталкивались с противоречиями тогда, когда традиция, защитниками которой они выступали, прерывалась на длительный период и/или уступала дорогу другим (не консервативным) традициям...

Эти противоречия объясняют... определенные колебания консервативной политической мысли... между фатализмом и радикальным реформизмом, между ограничением государственной власти и призывами к усилению государства». *Beneton Ph. Le conservatisme. Paris: Presses Univ. de France, 1988. P. 115–116.*

'Хотя немногие либералы были столь же последовательны, как Бентам, Бребнер показывает, как от индивидуалистической антигосударственной позиции можно перейти на позицию коллективистскую. Основная проблема здесь заключается в том, как общество определяет совокупность индивидуальных интересов. Как писал Бребнер, для Бентама ответ заключался в том, что «индивидуальный интерес должен быть искусственно определен или создан всемогущим законодателем, применяющим удачный расчет „самого большого счастья для самого большого числа людей“». В результате Бребнер приходит к выводу: «Кем же когда были фабианцы, как не сторонниками Бентама более поздней эпохи?» *Brebner J. Buntett. Laissez-Faire and State Intervention in Nineteenth-Century Britain // The Tasks of Economic History. Supplement VIII, 1948. P. 61, 66.*

Hobhouse L. T. Liberalism. London: Oxford University Press, 1911. P. 146. Именно вывод Бентама/Хобхауза, к которому они пришли в отношении либеральной идеологии, объясняет, почему Рональд Рейган обрушивался с нападками на «либерализм», хотя на деле сам принадлежал к одному из направлений либеральной идеологии. Является ли подход Бентама и Хобхауза типичным? Они дают более точную оценку практики либералов, чем другие либеральные идеологи. Как отмечает Уотсон: «Ни об одной политической партии Англии в девятнадцатом веке нельзя сказать, что она верила в (доктрину ночного сторожа государства] или пыталась воплотить ее на практике». *Watson George. The English Ideology: Studies in the Language of Victorian Politics. London: Allan Lane, 1973. P. 68–69.*

Schapin J. Salwyn. Liberalism and the Challenge of Fascism. New York: McGraw Hill, 1949. P.vii.

Мандатная система была учреждена Лигой Наций для юридического оформления статуса бывших заморских колониальных владений Германии и ряда территорий бывшей Османской империи на Ближнем Востоке. Непосредственное администрирование мандатных территорий поручалось конкретным державам-победительницам в Первой мировой войне. Мандатные территории подразделялись на три группы, или класса, — «А», «В» и «С» — сообразно с уровнем их экономического и политического развития и с их географическим положением, что определяло степень их зависимости от государств-мандатариев. В класс «С» включались Юго-Западная Африка (теперь территория Намибии, мандатарий — Южно-Африканский Союз), бывшая германская Новая Гвинея (мандатарий Австралия), Западное Самоа (мандатарий Новая Зеландия), Науру (коллективный мандатарий Австралия, Великобритания и Новая Зеландия) и тихоокеанские острова к северу от экватора — Каролинские, Марианские и Маршалловы (мандатарий Япония). Территории класса «С» управлялись по законам государства-мандатария в качестве составной части последнего. Государствам-мандатариям вменялось в обязанность гарантировать права коренного населения и запрещалось создавать на мандатных территориях военную инфраструктуру, но в остальном контроль управляющих государств над территориями этого класса фактически ничем не ограничивался. — *Прим. перев.*

Присоединение партий к Третьему Интернационалу (иначе: Коммунистический Интернационал, или Коминтерн) было подчинено ряду критериев, которые излагались в составленном В. И. Лениным документе, известном как «Условия приема в Коммунистический Интернационал», или «21 условие». — *Прим. перев.*

Более детально я рассматриваю эту проблему в очерке: The National and the Universal: Can There Be Such a Thing as World Culture? // Geopolitics and Geoculture. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 184–199.

Этот вопрос рассматривается в работе: *Anighi C, Hopkins T. K., and Wallersiein I.* 1989: Continuation of 1968 // Review 15, № 2, Spring 1992. P. 221–242.

Sir W. Ivor Jennings, *The Approach to Self-Government*. Cambridge: At the University Press, 1956. P. 56.

Литература на эту тему весьма обширна. Два ее обзора см. в: *Love Joseph L.* Theorizing Underdevelopment: Latin America and Romania, 1860–1950 // Review 11, № 4 (Fall 1988); и *Chandra Bipan.* Colonial India: British versus Indian Views of Development // Review 14, № 1 (Winter 1991). P. 81–167.

Я более подробно рассматриваю значение событий 1968 г. в работе: 1968, Revolution in the World-System // Geopolitics and Geoculture: Essays in the Changing World-System. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. P. 65–83.

Раздавите гадину! (фр.). — *Прим. перев.*

События, в России обычно называемые «Войной за независимость североамериканских колоний», в Соединенных Штатах чаще всего именуются «американской революцией». — *Прим. перев.*

Законодательный акт, подписанный президентом Авраамом Линкольном в разгар Гражданской войны в 1862 г.; упразднял рабство повсеместно на территории страны с Нового года. — *Прим. перев.*

Кларет Дэрроу — выдающийся американский адвокат, прославившийся многими делами, имевшими большой общественный резонанс. В числе прочих выиграл в 1925 г. процесс в г. Детройте против школьного учителя Скопса, подвергнутого судебному преследованию за преподавание дарвиновского учения о происхождении человека вопреки принятой церковной доктрине. — *Прим. перев.*

Смотри об этом далее. С. 175. — *Прим. перев.*

1973 г. Верховный Суд США признал незаконными действовавшие в ряде штатов ограничения на добровольные аборты в первые три месяца беременности. — *Прим. перев.*

А все-таки она вертится! (*ит.*). — *Прим. перев.*

См. более подробную аргументацию в моей статье: The French Revolution as a World-Historical Event // *Unthinking social science: The limits of nineteenth-century paradigms*. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 7–22.

Этот аргумент подробнее развивается в статье «Либерализм и легитимация национальных государств: историческая интерпретация» в настоящем издании.

Disraeli Benjamin, Earl of Beaconsfield. Sybil, or the Two nations. 1845
(reprint, London: John Lane, The Bodley Head, 1927).

Ibid., 641.

Whig interpretation of history. Выражение, пущенное в оборот сэром Гербертом Баттерфилдом в одноименной книге (1931), для обозначения видения история как генерируемой конфликтом между прогрессом и реакцией, в котором первый всегда в конце концов одерживает победу, обеспечивая всевозрастающее процветание, просвещение и освобождение рода человеческого. — *Прим. перев.*

См. главу «Концепция национального развития, 1917–1989: элегия и реквием» в настоящем издании.

Более полный анализ мировой революции 1968 г. см. в моем эссе: 1968, revolution in the world-system // Geopolitics and geoculture: Essays in the changing world-system. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 6S-83.

Превосходное изложение см.: *Jerry L. Avorn et al.* Up against the Ivy wall: A history of the Columbia crisis. New York: Atheneum, 1968.

См. мое развернутое обоснование в главе «Крах либерализма» в настоящем издании.

См.: *Kabaĸa K, Tabak F*. The restructuring of world agriculture, 1873–1990
// McMichad B (ed.). Food and agricultural systems in the world-economy.
Weapon, CT: Greenwood Press, 199*. P. 79–93.

Know-nothing movements. Изначально так называлась тайная политическая организация в США, возникшая в 1830-х гг. и враждебно относившаяся к росту политического влияния новых иммигрантов (тогда — преимущественно католиков). Прозвище связано с тем, что члены организации обязались не разглашать сведения о деятельности организации и отказывались отвечать на вопросы. Впоследствии название стало применяться ко всякому движению, занимающему реакционную политическую позицию, основанную на нетерпимости, невежестве и ксенофобии. — *Прим. перев.*

О следствии этого для социального анализа см. специальный выпуск:
The «New Science» and the historical social sciences. Review IS, no. 1, Winter
1992.

Обзор дискуссий в связи с принятием этого текста можно найти в: *Gauchel Marcel. Rights of Man // A Critical Dictionary of the French Revolution*, ed. Furet F. and Ozouf M. Cambridge: Harvard Univ. Press, Belknap Press, 1989. P. 818–828. Текст оригинала см.: *Tulard J. et al. Histoire et dictionnaire de la Revolution française, 1789–1799*. Paris: Robert Laffont, 1987. P. 770–771. Английский перевод напечатан (но без преамбулы) в: *Brownlie /., ed. Basic Documents on Human Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1971. P. 8–10.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 217 А (III).

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1514 (XV). О развитии «норм о деколонизации» в миросистеме после 1945 г. см. короткие комментарии: *Goenz G. and Dtehl P. F.* Towards a Theory of International Norms // *Journal of Conflict Resolution* 26, Ne 4 (Dec. 1992). P. 648–651.

Douai Merlin de. Droit des gens // Tulard J. et al. Histoirc et dictionnaire de la Revolution fransaise, 1789–1799. P. 770.

Я уже излагал аргументацию по этому поводу и не буду ее здесь повторять. О нормальности политических изменений см.: The French Revolution as a World-Historical Event // *Unthinking Social Science*. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 7–22. О суверенитете народа см.: Liberalism and the Legitimation of Nation-States: An Historical Interpretation // *Social Justice* 19, № 1 (Spring 1992). P. 22–33.

The Modern World-System, vol. 3. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s. San Diego: Academic Press, 1989. P. 52.

Средний путь (лат.). — *Прим. перев.*

См.: *Schlesinger Arthur. St. The Vital Center The Politics of Freedom.*
Boston: Houghton Mifflin, 1949.

Эти две темы я также развивал более подробно в нескольких работах. См. в особенности «Три идеологии или одна? Псевдобаталии современности» (в наст. изд. — *Ред.*). Здесь я лишь коротко резюмировал эти работы, чтобы далее обсудить тему данного очерка — роль идей, касающихся прав человека и прав народов в политическом развитии современного мира.

Холмс Оливер Уэнделя (1841–1935) — крупный американский юрист и государственный деятель: член Верховного суда США, лидер его либерального крыла. — *Прим. издат. ред.*

Литература по этой теме насчитывает многое тома. В качестве образца см.: *Samuel Raphael*, ed. *Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity*, 3 vols. London: Routledge, 1989; *Weber Eugen*. *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914*. Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 1976; *Upset Seymour Martin*. *The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective*. New York: Basic Books, 1963.

McNeil William. Introductory Historical Commentary // The RU of Great Powers: Peace, Stability and Legitimacy, ed. Geir Lundestad. Oslo: Scandinavian Univ. Press, 1994. P. 6–7.

Буквально «и не далее», «дальше нельзя», здесь — «предельный, крайний» (*лат.*). — *Прим. перев.*

Said Edward. Orientalism. New York: Pantheon, 1978. P. 207, 254.

См.: The Congress of the Peoples of the East (перевод и комментарии
Брайана Пирса). London: New Park Publishers, 1977.

Запрет на профессию (нем.). — Прим. перев.

В самом деле, с 1993 г. Medians du Monde издают политический журнал, называемый «Ingerences: Le D'esir d'Humanitaire» («Вмешательство: Желание человечности»).

Право почвы (*лат.*) — приобретение права на гражданство фактом рождения на территории государства. — *Прим. перев.*

См. мой очерк: *Wallerstine. Development: Lodestar or Illusion? // Unthinking Social Science. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 104–124.*

Стоит попутно заметить, что редакционная группа из 7 человек и Наблюдательный Комитет из 18 человек (отчасти они совпадали) были созданы, насколько я могу судить, исключительно из американских ученых. Иллюстрация состояния социальной науки.

Я обсуждал это в работе: Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System // Geopolitics and Geoculture. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 158–183. См. также другие очерки в: Section II, Geoculture: The Underside of Geopolitics.

Смысл, разумное основание (фр.). — *Прим. перев.*

Философское понятие, обозначающее потребность человечества в технологическом прогрессе и преобразовании природы с помощью науки. — *Прим. науч. ред.*

Эктон Джон Эмерич Эдвард (1834–1902) — английский историк, автор книг «Lecture on the Study of History» (1895) и изданной посмертно «Lectures on Modern History» (1905). Из многих афоризмов Эктона наиболее известен «Власть имеет тенденцию развращать; абсолютная власть развращает абсолютно». — *Прим. издат. ред.*

Разделяй и властвуй (лат.). — Прим. перев.

Аномия — насилие над законом. Состояние общества, характеризующее дезинтеграцией норм, регулирующих поведение людей и обеспечивающих общественный порядок. — *Прим. издат. ред.*

Автор здесь явно использует текст Шекспира из «Двенадцатой ночи» (акт 2, сцена 5): «Иные рождаются великими, иные достигают величия, а иным величие жалуются» (рус. пер. М. Л. Лозинского). — *Прим. черев.*

Люе Генри Робинсон (1898–1967) — американский издатель, сторонник Республиканской партии; в 1941 г. выдвинул идеологическую доктрину «американский век» («American Century»), которая объявляла своей целью политическое, экономическое и культурное господство США в мире, будто бы предначертанное этой стране самой судьбой. — *Прим. издат. ред.*

Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций. —
Прим. перев.

Кооперативное общество по повсеместному оказанию американской помощи. — *Прим. перев.*

В решении Верховного суда США по делу «Плесси против Ферпосона» в 1896 г. была подтверждена конституционность закона о сегрегации в общественном транспорте. Дело «Браун против Совета по образованию» считается одним из важнейших в истории судопроизводства в США; в 1955 г. Верховным судом было вынесено решение о немедленной десегрегации. — *Прим. издат. ред.*

От исп. *macho* — самец; поведение с подчеркиванием мужской отваги и силы. — *Прим. перев.*

20 декабря 1975 г. Сенат США направил в Министерство обороны США поправку к биллю об иностранной помощи, содержащую расширение запрета на помощь антикоммунистическим движениям. Автором поправки был профессор-политолог, сенатор от штата Айова Дик Кларк — глава подкомитета по делам Африки. Критике подвергалась помощь США движениям НФЛА и УНИТА в Анголе в их борьбе за власть с движением МПЛА, поддерживаемым СССР. — *Прим. издат. ред.*

Луис Джо, наст, имя Бэрроу Джозеф Луис (1914–1981) — боксер, в 1937–1949 гг. чемпион мира в тяжелом весе. — Прим. издат. ред.

Продвижение, открытое для талантов (*фр*). Имеется в виду фраза из «Декларации прав человека и гражданина», звучащая в русском переводе следующим образом: «[Граждане] должны одинаково быть допускаемы ко всем занятиям, местам, общественным должностям в зависимости от их способностей и без каких-либо различий, кроме различий в их добродетелях и талантах». — *Прим. перев.*

Подписанный президентом А. Линкольном 22 сентября 1862 г. законодательный акт, провозглашавший целью Гражданской войны Севера и Юга ликвидацию рабства; с 1 января 1863 г. все рабы мятежных штатов Юга объявлялись свободными. — *Прим. издат. ред.*

Великая хартия (вольностей) (нет.). — *Прим. перев.*

Мюрдаль Гуннар Карл (1898–1987) — шведский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 г., исследовал положение чернокожего населения США; его книга «An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy» (1944) повлияла на решение Верховного суда США признать неконституционным право штата вводить сегрегацию, которая обеспечивала «раздельные, но равные» права определенной части населения. — *Прим. издат. ред.*

Гордыня (др. гр.). — *Прим. перев.*

Меннониты — протестантская секта, проповедующая смирение и отказ от насилия. — *Прим. издат. ред.*

Имеется в виду одна из крупнейших экологических катастроф — авария у берегов Аляски в 1989 г. нефтеналивного супертанкера «Экссон Валдиз», принадлежащего нефтяному концерну «Экссон». В результате разлива нефти на сотни километров вокруг все живое было уничтожено. — *Прим. издат. ред.*

Идея прокладки канала в районе Ниагара-Фоле, города на западе штата Нью-Йорк, принадлежала Уильяму Т. Лаву, по имени которого и был назван проект будущего канала. Начавшееся строительство было остановлено и в 1920 г. уже прорытый участок был превращен в свалку химических отходов. В 1953 г. химическая компания «Хукер», владелец этого участка, засыпала его землей и за символическую цену в 1 доллар продала городу. На этом месте вырос небольшой поселок. В 1978 г. жители поселка заметили странные выделения токсичных газов из земли; газы, как выяснилось, содержали канцерогенные вещества. Среди жителей поселка стали распространяться болезни крови, появлялись на свет дети с врожденными уродствами. Это была экологическая катастрофа. Жителей поселка в конце концов эвакуировали. — *Прим. издат. ред.*

Соображения автора относятся к английскому слову *revolution*, которое способно иметь вполне физический смысл, как в случае *revolution of the Earth* «вращение Земли» или *two revolutions per minute* «два оборота в минуту». — Прим. перев.

Kiernan V. G. Revolution // A dictionary of Marxist thought, 2d rev. ed., ed. T. Bottomore. Oxford: Blackwell, 1991. P. 476.

Инициатором создания «Коалиции Радуги» был Джесси Луис Джексон (р. 1941) — активный деятель Демократической партии, один из лидеров движения за гражданские права негров. — *Прим. издат. ред.*

Встреча «дать» и «получить» (фр.). — *Прим. перев.*

Сенгор Леопольд Седар (1906–2001) — сенегальский поэт, ученый, государственный деятель. — *Прим. издат. ред.*

Грамши Антонио (1891–1937) — основатель и руководитель коммунистической партии Италии, считал, что народные массы должны стремиться к участию во властных структурах и таким образом — к достижению гегемонии в государстве. — *Прим. издат. ред.*

Роджер Скратон в «A Dictionary of Political Thought» указывает, что (английские) термины *Marxist* и *Marxian* теперь, в общем, не являются синонимами. *Marxian* (здесь переданное как «марксовский») означает «относящийся к той или иной теории, излагавшейся Марксом: к примеру, к теории эксплуатации и прибавочной стоимости или к теории исторического материализма». *Marxist* (традиционно переведенное «марксистский») означает «относящийся к теории или (что более обычно) практике марксизма: т. е. образующее некоторую часть сложного революционного движения, черпающего свое первоначальное вдохновение из трудов Маркса». Как следствие, замечает Скратон: «Марксовский экономист вполне может не быть экономистом-марксистом — он даже может быть противником всякой революционной деятельности. Кажется, есть даже марксовские консерваторы, так же, как есть марксисты, верящие очень немногим теориям Маркса». — *Прим. перев.*

Конъюнктуры, стечения обстоятельств (*фр.*). — *Прим. перев.*

Длительная временная протяженность (фр.). — Прим. перев.

Токвиль Алексис де (1805–1859) — французский историк, политолог, член Французской академии с 1841 г. Его книга «L'Ancien Regime et la Revolution» (1856) изменила взгляд на Французскую революцию, которая, как подчеркивал Токвиль, была не резким разрывом с прошлым, а скорее «завершением задачи, над которой трудились десять поколений». — *Прим. издат. ред.*

Бентам Иеремия (1748–1832) — английский философ, социолог, основатель утилитаризма — одного из течений английской философии. Бентам делает попытку оценивать действия людей, государственные институты и законы с точки зрения удовольствия и боли, ими приносимыми. Автор книг «A Fragment on Government» (1776) и «An Introduction to the Principles of Morals and Legislation» (1781). — *Прим. издат. ред.*

Реальная политика (нем.) — внешнеполитическая концепция, выдвинутая историком и политологом Хансом Иоахимом Моргентау; отдавала предпочтение силовому подходу для достижения поставленных целей. — *Прим. издат. ред.*

К случаю (лат.). — Прим. перев.

Необходимое зло (фр.). — Прим. перев.

Термин, принадлежащий Антонио Грамши и обозначающий интеллектуала, органически связанного с определенным классом и являющегося выразителем коллективного сознания этого класса. — *Прим. науч. ред.*

Эта лекция была прочитана по случаю 25-й годовщины основания Университете Сейко в Киото, 7 декабря 1993 г. (Kyoto International Conference Hall: sponsored by «Asahi Shimbun», Tokyo.)

См.: Meyer John W. *et al.* The World Educational Revolution, 1950–1970 // Meyer I. W. and Hannan M. T., eds. National Development and the World System: Educational Economic and Political Change, 1950–1970. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

См. замечательный и очень детальный отчет об интеллектуальных спорах во Франции вокруг двухсотлетия: *Kaplan Steven*. Adieu 89. Paris, 1993.

Процесс, в ходе которого либерализм завоевал центральное место и превратил своих соперников, консерватизм и социализм, из оппонентов в подлинные свои придатки, обсуждается в очерке «Три идеологии или одна? Псевдобаталия современности» (см. настоящее издание).

Природа обещаний либерализма на всемирном уровне и двусмысленность ответа, данного ленинизмом глобальному либерализму, исследованы в моем очерке «Концепция национального развития, 1917–1989: элегия и реквием» (см. в настоящем издании).

См. обзор данных в: *Passe-Smith John T.* The Persistence of the Gap: Taking Stock of Economic Growth in the Post-World War II Era // Selligson M. A. and Passe-Smith J. T... eds. *Development and Underdevelopment: The Political Economy of Inequality*. Boulder, CO: Lynne Reiner, 1993. P. 15–30.

За неимением лучшего (фр.). — *Прим. перев.*

Jameson F. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University Press, 1991. P. 268.

См.: Arrighi G., Hopkins T. K. and Wattentein I. 1989: The Continuation of 1968 // Review, vol. IS. 12. (Spring 1992). P. 221–242.

Эти пункты подробно развернуты в очерке «Мир, стабильность и законность, 1990–2025/7050» (см. в настоящем издании).